

БОРИС ГРИНЧЕНКО



В ТЕМНУЮ НОЧЬ  
ПОД ТИХИМИ  
ВЕРБАМИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**





БОРИС ГРИНЧЕНКО

В ТЕМНУЮ НОЧЬ  
ПОД ТИХИМИ ВЕРБАМИ

**ПОВЕСТИ**

ПЕРЕВОД С УКРАИНСКОГО  
К. ТРОФИМОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1961

**Вступительная статья  
МАКСИМА РЫЛЬСКОГО**

**Художник  
С. СОКОЛОВ**

## ДВЕ ПОВЕСТИ БОРИСА ГРИНЧЕНКА

Украинский писатель и ученый Борис Дмитриевич Гринченко (1863—1910) был разносторонним культурным деятелем. Он — автор нескольких сборников стихотворений, многих рассказов, нескольких повестей и драматических произведений, переводчик Шиллера, Гете, Гейне, Гюго, Пушкина, фольклорист и этнограф, неутомимый популяризатор различных областей науки. Очень велика его заслуга как редактора капитального украинско-русского словаря, собранного редакцией журнала «Киевская старина» («Словарь украинского языка») <sup>1</sup>.

Испытав на себе в молодые годы влияние народнических теорий, Гринченко, сочувственно относившийся к жизни и страданиям трудового народа и исповедовавший довольно, правда, расплывчатый гуманизм, не вступил на революционный путь, не стал поборником решительного и коренного изменения существовавшей в то время политической и социальной системы, как его современники Грабовский, Франко, Леся Украинка, Коцюбинский. Он отстаивал постепенные реформы, видел залог улучшения народной жизни в широком распространении образования, в кооперации, в просветительстве («просвітянство»), склонен был к проповеди «малых дел». В некоторых публицистических высказываниях Гринченка справедливо видят элементы национальной ограниченности. Нельзя при этом, однако, не помнить об искреннем уважении Гринченка к русской литературе и ее классикам, о его настойчивом стремлении приобщить украинскую читательскую общественность к мировой культуре. Лучшие рассказы Гринченка из быта крестьян и рабочих свидетель-

---

<sup>1</sup> Словарь этот переиздан фотомеханическим способом (по изданию 1907—1909 гг.) издательством Академии наук Украинской ССР в 1958—1959 гг.

ствуют о том, что в его творчестве и мировоззрении довольно сильна была демократическая струя.

Сам неутомимый труженик, Гринченко видел своего рода папачею для национального и социального освобождения и возрождения народа в труде. В одном из популярных в свое время стихотворений он восклицал:

Праця єдина з недолі нас вирве  
Нумо до праці, брати!  
Годі лякатись! За діло святе  
Сміло ми будемо йти!

Но хотя дальше поэт утверждает —

Ми на роботу на світ народились,  
Ми для борні живемо,—

не совсем, однако, понятно, какую именно работу и особенно какую борьбу имеет он здесь в виду. Знакомство же со всем творчеством Гринченка убеждает нас, что речь шла здесь не о революционной работе и борьбе, а о «культурничестве», о труде в области народного образования, о просвещении темных масс.

Художник в своем творчестве часто бывает шире и глубже исповедуемых и проповедуемых им идей. Мы знаем примеры великие, достаточно назвать Льва Толстого. Но сказывается это подчас и на художниках гораздо меньшей величины. Гринченко не обладал высоким писательским дарованием, но он был умен, наблюдателен, хорошо знал быт и нравы той среды, о которой писал, и две предлагаемые ныне русским читателям, связанные между собой тематически и сюжетно повести, особенно вторая («Под тихими вербами»), дают простор для широких социальных обобщений...

Под повестью «В темную ночь» стоит дата — 1900 год, под повестью «Под тихими вербами», — 1901. Гринченко описывал в этих повестях современную ему жизнь украинской деревни. Речь, стало быть, идет о годах, непосредственно предшествовавших первой российской революции — революции 1905—1907 годов.

В первой из этих повестей намечается, а во второй достаточно ясно развивается одна из острейших проблем того времени — проблема классового расслоения «послереформенного», дореволюционного села. Не достигая той силы анализа общественных явлений и той глубины проникновения в психологию героев, которые проявлены были Панасом Мирным в романе «Пропащая сила» («Хіба режуть воли, як ясла повні») и Коцюбинским в повести «Fata morgana», Гринченко непретенциозно и правдиво рисует картину обнищания основной массы крестьянства и обогащения путем темных махина-

ций небольшой кучки кулаков. Процесс экономического расслоения показывает он на примере семьи Сивашей, один из представителей которой, Денис, хозяйственно «обрастает» и входит в объединение деревенских мироедов, а брат Дениса — Зинько — возглавляет кружок крестьян-тружеников, пытающихся бороться с кулацким засильем. По иному пути — пути преступника, вора, конокрада, поджигателя — пошел третий из братьев Сивашей, отставной солдат Роман. В главах о жизненном пути Романа явственно ощущается тенденция Гринченка противопоставить город с его «тлетворным» влиянием патриархальному украинскому селу. Впрочем, патриархальность этого села Гринченко не идеализирует. В одном из своих стихотворений он горько заявил:

Убогії ниви, убогії села,  
Убогий, обшарпаний люд.  
Смутні картини, смутні, невеселі,  
А інших не знайдеш ти тут.

Здесь нельзя не видеть переклички с гневными строками Шевченка об украинской деревне его времени. Таковы же, в общем, и картины деревни в предлагаемых читателю повестях.

Вопреки взглядам народников, имевших значительное влияние на Гринченка и видевших в общинном укладе прогрессивную силу, Гринченко в остро критическом плане изображает деревенскую общину («громаду»), служившую в конце концов слепым оружием в руках волостного старшины, писаря, богатеев. Для изображения этих сельских заправил и кулаков автор не шадит темных красок.

Рассуждения главного, положительного героя обеих повестей Зинька Сиваша о царящей в мире несправедливости и о способах борьбы с темными силами старого общества довольно беспомощны и наивны. Но в этом образе в той или иной степени отражены черты возникающей в те годы интеллигенции. Черты эти, разумеется, гораздо более четко обрисованы Коцюбинским (Марко Гуша в повести «Гата торгана»), причем Коцюбинский показывает не просто прогрессивные, а прямо уже революционные элементы в деревенской среде. Правда, его повесть отражает более позднее время — канун и период революции 1905—1907 годов. Однако борьба Зинька и его товарищей против кулацкой своры, несмотря на то что она не приносит ощутительных результатов, а самого Зинька приводит к физической гибели, не может не вызвать у читателей сочувствия. Мир Зинька и его друзей, его очаровательно-милый жены Ганики — безусловно симпатичен, хотя и довольно ограничен. Мир новоявленного богача Дениса — старшина, писарь, деревенский лавочник и т. д. — страшен и отвратителен.

С беспощадной правдивостью показана Борисом Гринченком в его повестях, особенно во второй из них, *власть земли*, приводящая одного из персонажей к преступлению, к братоубийству. Этот мотив — не исключение в дореволюционной литературе (и украинской и русской), с большой силой выразила его Ольга Кобылянская в повести «Земля». Современного советского читателя, особенно молодого, не могут не поразить страницы повести «Под тихими вербами», где описывается убийство Панасом Момотом его брата — Грицька. Тут Гринченко достигает незаурядной силы художественной изобразительности. Но напрасно было бы видеть здесь какое-то сгущение красок. Пишущий эти строки сам помнит случай, когда в дни его юности один односельчанин зарубил топором своего брата из-за земельного надела.

Много места уделяет Борис Гринченко в своих повестях суеве- риям, царившим тогда в деревенской среде. Суеве- рия эти прочно живут в сознании не только стариков, но и молодой даровитой жены Зинька — Ганики. Нынешний читатель спросит: да неужели же такое могло быть на пороге XIX и XX столетия? И автор данной статьи опять-таки может засвидетельствовать, что в детские его годы рос- сказни о ведьмах, о русалках, о «нечистой силе» были излюбленной темой на вечерних деревенских посиделках...

Весьма любопытны в повестях описание ночлежного дома в про- винциальном городе и своеобразного быта и обычаев состоящей из деклассированных элементов воровской шайки, в которую попадает Роман.

Образ несчастной батрачки Левантини пополняет галерею обез- чеченных и обездоленных женщин, которая в украинской литературе представлена Катериной Шевченка и ее многочисленными сестрами по несчастью — Христей в романе Панаса Мирного «Гулящая» («Повія») и т. д.

Светлые страницы посвящены автором повестей народному твор- честву, причем — и это имеет большую познавательную ценность — Гринченко показывает процесс зарождения фольклорных произведе- ний, изображает конкретных их творцов. (Ганика поет стихи Шев- ченка на свой мотив, импровизирует собственную песню; Васюта читает сочиненные им сатирические «вирши» о Миките Тонконоженке, который «лезет в паны»...)

Далекий от революционных взглядов и настроений, Гринченко, однако, ядовито высмеивает суд и судебные порядки царской России (суд присяжных в повести «В темную ночь», следовательно в повести «Под тихими вербами»). Не исключена возможность некоторой вну- тренней связи этих сатирических страниц с появившимся в 1899 году романом Льва Толстого «Воскресение».

Положительные идеалы Гринченка, выраженные в этих повестях, не очень ясны и тем более не очень широки и глубоки. Но в критическом изображении дореволюционной деревни он безусловно правдив. Познавательное значение повестей «В темную ночь» (название очень выразительное) и «Под тихими вербами» (название дано по контрасту) представляется мне несомненным. Нельзя отказать Гринченку и в яркости реалистического письма,— повести, несмотря на их недочеты, к которым относится некоторая прямолинейность, «лобовой показ» жизненных явлений, читаются с неослабным вниманием. Советский читатель, знакомый уже по русским переводам с творениями Шевченка, с книгами Котляревского, Марка Вовчка, Панаса Мирного, Коцюбинского, Франка, Леси Украинки, Тобилевича, Кобылянской, Стефаника и других украинских писателей дооктябрьского времени, обогатится знакомством с еще одним явлением нашей литературы, которому никак нельзя отказать в определенной значительности.

*Максим Рыльский*



**В ТЕМНУЮ НОЧЬ**

*Часть первая*

**ЧУЖИЕ ЛЮДИ**



1

В хате Филиппа Сиваша за столом сидели брат Охрим с женой, сват Манойло со свахой Килиной, кум Терешко Тонконоженко, сосед Струк со своей сердитой Стручихой, дядя — старый Корней Грабенко да своя семья. Филипп пригласил гостей не потому, что сегодня воскресенье; у него большая радость — средний сын Роман вернулся с военной службы. Дочерей у Сиваша не было. Бог дал трех сыновей. Парни словно соколы: старший, Денис, уже давно женат, хороший хозяин, весь в отца; средний — Роман и младший — Зинько. Роман знал, что его заберут в солдаты, и не захотел жениться, чтобы не оставлять жену одну, — мол, обзаведется семьей тогда, когда вернется домой. Зиньку давно пора бы жениться, в солдаты ему не идти, да и жребий он уже тянул, но что поделаешь с ним, не хочет. Говорит: «Нет мне пары». Отец сердился: «Наверное, в своих книгах начитался такого!» Мать хотя и сетовала на то, что никто ей не

помогает по хозяйству, но не очень, поскольку трудолюбивая и кроткая жена Дениса, Домаха,— вон та белокурая молодница, что сейчас хлопчет у печи,— во всем угождала свекрови. А в остальном на Зинька обижаться нельзя: и тихий, и трудолюбивый, и непьющий парень... Правда, не такой рьяный хозяин, как Денис, однако хозяйственный. Но больше всех мать любила Романа. Он с детства был очень живым, любознательным и послушным мальчиком, маминым любимчиком. А потом его в солдаты взяли, в чужой стороне горе мыкал,— как тут не пожалеть? Вот и сейчас старая Параска, совсем забыв, что ей нужно взять на шестке и подать на стол миску с варениками, стоит возле печи, влюбленными глазами смотрит на сына и думает:

«Боже, какой красивый! Брови, как шнурочек, усы черные, закрученные кверху. Паныч, да и только!»

И отец радовался приезду сына. Сам он прожил уже пятьдесят шесть лет, но его черные волосы только начинали серебриться, а вот эти трое сыновей — такие косари, что трава перед ними никнет. Хозяйство у него хорошес, а теперь еще лучше станет. С такими сыновьями и разбогатеть можно. Радостный и подобревший Филипп малость охмелел и, угощая гостей, говорит:

— Выпейте, люди добрые, за здоровье моих сыногей!.. Они у меня как золото!.. Хотя старших бог прибрал, но зато этими щедро наградил, спасибо!..

— Что правда, то правда, сосед. Дай боже, чтобы все было гоже! Глядя на таких сыногей, как у тебя, у каждого отца сердце радуется,— произнес высокий и сухощавый Струк, беря у Филиппа рюмку.

Остальные, поддакивая ему, кивали головами, а сыновья сидели, довольные такой похвалой. Старший — мужчина в годах, с бородой, здоровый, как рабочий вол; младший — еще молодой парень с маленькими черными усиками и с задумчивыми, ясными глазами; они очень напоминали отцовские, только у того уже поблекли за долгие годы забот и труда. А в глазах сына светились молодость и задор. Но взоры гостей были устремлены на Романа. Он сидел в красном углу, важный, в пиджаке, подстриженный по-городскому, с зачесанными набок волосами, с красивыми блестящими усами. Лицо его покраснелось, ведь он выпил не одну рюмку водки; впрочем, он мог выпить много. Роман был еще не пьян, хмель

только начинал ударять ему в голову, и он становился разговорчивее и хвастливее.

— Чего это ты, племянничек,— спросил его дядя Охрим,— после службы не сразу вернулся домой? Без малого год проболтался где-то.

— Такое дело случилось,— ответил Роман,— как вышел я со службы, зараз должность мне предложили очинь даже хорошую: триста рублей жалованья.

— О, это хрoшая должность — триста рублей! — отозвался сват Манойло.— А что это за должность?

— Да такая — швейцаром при палате. Ну, я там начал служить, а потом затосковал по дому. Невжли, думаю, я на своей родине не могу приличной для себя должности получить? Бросил все и пришел.

— И хорошо сделал, сынок,— сказала мать,— вот и нас порадовал.

— Теперь, сват, только женишь детей — и горе забудешь! — сказал Манойло Филиппу.

— Да я с дорогой душой,— улыбнулся Филипп,— дело за сыновьями!

— Погодите, батюшка, женимся,— вот только должность получим,— ответил Роман.

— Образованный человек завсегда может себе должность найти,— отозвался кум Дениса Терешко. Он когда-то, еще во времена крепостного права, был дворовым у господ и любил иногда шегольнуть своей «образованностью». Ему очень нравилось, как говорил Роман, и самому хотелось вставить словцо, дабы люди знали, что и он не лыком шит. Отец и остальные гости подумали: «Гляди, каким ученым Роман стал! Так и шпарит по-господски!» Им казалось, что Роман очень хорошо владеет господским языком. Лишь седовласому молчаливому Корнею Грабенко и Зиньку не нравилось, что солдат коверкает слова.

А Филипп и его жена все приглашали да потчевали. Лица гостей раскраснелись, вспотели, языки заплетались, хотя голоса становились все громче и громче. Только Зинько совсем был трезв, он вовсе не пил водки. Роман пока еще держался. Но и ему хмель ударил в голову, даже мутить стало, и он вышел из хаты. Зинько тоже пошел, будто бы за ним, а на самом деле потому, что не любил смотреть на пьяных.

Было воскресенье, и на улице гуляли люди. Шли

парни в праздничных свитках, подпоясанные красивыми поясами, они смеялись и приставали к девушкам, а те с громким хохотом проходили мимо, только их яркие разноцветные ленты развевались во все стороны. Возле хат, на завалинках и на бревнах сидели молодницы, грызя семечки, а кое-где и мужики с трубками в зубах разговаривали о всяких новостях, о хозяйских и домашних делах. Возле двора Сиваша, откуда доносился шум, лежали брезна,— старательный хозяин Филипп давно уже приготовил лес для хаты сыну. Через низенький тын заглядывало несколько детских и девичьих белокурых, украшенных по-праздничному головок — им не терпелось увидеть солдата. А во дворе соседа Струка, у самого тына, стояли две девушки: дочь Струка и его наймичка Левантина.

— А, дивчата! — крикнул Роман.— Надо вам праздник устроить. Брат Зинько! Получай рубль да сбегай в лавочку! На весь рубль купи канхветов, пряников, орехов — для наслаждения девушкам. А ты, мальчик,— бросил он парнишке, заглядывавшему через тын,— получишь пятак: катай к музыканту Матвею, пушай сюда идеть. Пушай дивчата знают, когда вернулся со службы Роман Филиппович Сивашов!

Мальчишка побежал к музыканту, а Зинько как-то неохотно пошел в лавку.

— Дивчата! Хадеть сюда, веселиться будем! — приглашал Роман.

Девушки застеснялись, хотя дочь Струка уже выбежала со двора на улицу, таща за собой Левантину. Роман вышел за ворота. Вместе с девушками стояло несколько парней. Роман пригласил и их.

— Хадеть, чтобы дивчатам веселей было!

Парни не хотели идти без девушек, а те не решались идти без них. Наконец бойкая белокурая Ефимия схватила подругу за рукав и потащила ее во двор Сивашей.

— Коль идти, так идти! Что там канитель разводить!

Следом за ней двинулись и остальные девушки, парни. Вскоре пришли музыканты — две скрипки и бубен. Зинько принес лакомства. Роману хотелось сегодня показать себя. Он забежал в хату, вынес бутылку водки, налил музыкантам, хотел было и девушек угостить, но они важничали и, отворачиваясь, говорили:

— Вот еще! Разве мы пьем ее! Такую горькую!

И отказались от водки.

На вечеринках вскладчину некоторые из них были не прочь выпить по рюмке, но здесь стеснялись.

— Не хотят горького, дадим сладкого! — воскликнул Роман, беря конфеты, пряники и орехи.— Получайте, дивчата!

Девушки все еще стеснялись, и ни одна из них не решилась взять угощение первой.

— Эх, вы! Такие несмелые! — подшучивал Роман. Увидев рядом стоящую Левантину, он насильно ткнул ей в руки кулек с конфетами и сказал:

— Раздавай подругам!

Нежное продолговатое лицо Левантины тотчас залилось румянцем. Она держала в руках конфеты и не знала, как от них избавиться. А Роман стоял прямо перед ней, улыбаясь в усы, глядя на нее своими смелыми лучистыми глазами. Левантина опустила темные глаза, длинные черные ресницы легли на ее розовые щеки. Роман засмеялся и отошел, а Левантина еще больше смутилась. Девушки стали подталкивать ее, говоря шепотом:

— Ну чего стоишь? Раздавай!

Но она точно не слышала и продолжала стоять на одном месте, а девушки смеялись.

— Вот еще!.. Манежится! — воскликнула Химка и вырвала у нее из рук кулек с конфетами.— Давайте я, дивчата, раздам!

И она начала угощать всех. Каждой хотелось взять побольше, но брали понемногу, стеснялись. А тем временем зазвучала скрипка, ударил бубен. Любительница поплясать Химка даже о конфетах позабыла.

— Ой-ой, не утерплю!.. Ой, танцевать хочу!

Парни в это время уже успели выпить с Романом по рюмке. Сразу же нашелся партнер Химке.

— Эй, гуляй душа! — вскрикнул он и топнул ногой о землю. Химка танцевала хорошо и легко, парень изо всех сил старался не ударить в грязь лицом перед ней. Молодежь окружила их кольцом. Чем дальше, тем с большим вдохновением плясали они, увлекая и других. Вот из толпы выбежала и вторая пара. Первый парень устал и скоро вышел из круга, но Химка продолжала отплясывать. Она с таким увлечением кружилась, что ее ленты развевались во все стороны. Затем схватила Романа за руку, увлекая его в стремительном танце, посмеиваясь и подмигивая

ему веселыми глазами. Но Роман, проходя мимо Левантины, стоявшей тут же, схватил ее и закружил в безудержном вихре танца. Взволнованная от такой неожиданности девушка вначале никак не могла попасть в такт, но вскоре, прислушиваясь к музыке, приловчилась и танцевала так, как нужно. Но ей почему-то было стыдно, и она, потупив взор, все думала о том, что Роман, танцуя с ней, смотрит на нее своими смелыми, необыкновенными глазами, даже боялась взглянуть на него. Левантина все больше и больше робела, ей казалось, что остальные следят за ней, удивляясь, что она так долго танцует с Романом. Наконец, не выдержав любопытных взглядов, устремленных на нее, выбежала из круга. Она не осталась и с девушками, а тотчас втихомолку юркнула через перелаз во двор своего хозяина.

А музыканты все ускоряли и ускоряли темп игры. Парни и девушки отплясывали так, что все подворье гудело, яркие разноцветные ленты мелькали в воздухе, бряцали бусы на тяжело дышавших грудях, с украшенных венками голов падали на землю цветы, и танцующие топтали их ногами.

Заслышав музыку и пляски, гости Сивашей вышли поглядеть на молодежь. Старый Сиваш вначале недовольно ворчал, что не следовало было устраивать веселье во дворе, но мать заступилась за Романа:

— Эх, старик! Молчи уж! Только сегодня сын домой пришел, повеселиться захотел, а ты сердишься! Может, он тут себе пару найдет. Давай-ка лучше сядем на завалянке да посмотрим, как молодежь веселится, может, и мы помолодеем.

Филипп только рукой махнул. Гости постарше посмотрели на молодежь и начали прощаться, потому что уже смеркалось. Парни и девушки потанцевали еще немного и ушли со двора на выгон веселиться. Дома родители ругались, что уже вечер на дворе, а дочери и сыновья не идут доить коров и поить скотину. Но молодежи было не до того: Роман опять послал за водкой, угостил на этот раз и девушек; на выгоне еще долго слышались музыка и пение, танцы и громкий смех.

Но Зинька там не было. Увидев, как Левантина побежала домой, и зная, что у нее во дворе никого нет, он пошел к себе на ток, оттуда в сад, а затем к Струку во двор — в надежде увидеть там девушку.

Мать бранит его за то, что он до сих пор не женился. А что, если и в самом деле невесту трудно сыскать? Есть и красивые девушки, и трудолюбивые, даже богатые... да все они не по душе. Ему нужна такая жена, чтобы мог он с ней обо всем поговорить, всю душу свою открыть... А он здесь так живет, что не с кем душу отвести. Правда, о хозяйстве и о чем-нибудь другом можно поговорить и с отцом, и с матерью, и с братом, но ему этого мало. Ему хочется все знать, во всем разбираться: как оно, что и к чему. Когда-то Зиньку захотелось выучиться грамоте, и так захотелось, что не успокоился он до тех пор, пока не научился. Школы в то время в их селе не было, и он отдал дьяку, наверно, десять рублей, пока тот не выучил его. Теперь Зинько научился читать, но только почему-то не все понятно в этих книгах. А ему хотелось бы все понять побольше, узнать... обо всем... Хотя бы и о том — почему так люди живут? Вот живет бедняк горемыка, ему и есть нечего, а там богатый, что деньгам счету не знает. Один кровавым потом умывается, трудится и приобретает, другой — лентяй, лодырничает... или еще пьянствует... а то и воровать будет... Неужто нельзя лучшие порядки завести? Наверное, об этом и в книгах пишут, да только он не знает, в каких книгах. Разве могут они попасть в такое маленькое село? Здесь о таких книгах никто и не слышал. Хотел было Зинько расспросить кого-нибудь об этом, но кого? Дьяк только божественное знает; писарь — одни волостные дела; торговец все на счетах прикидывает да записывает доходы. К батюшке Зиновий не посмел пойти, а к учителю ходил, но тот... хотя читает книги и образованный, но когда Зинько спросил его о том, что его волнует, а именно — как бы лучший порядок в селе завести, — он только рукой махнул: «Это, говорит, не твоего ума дело, за порядком начальство следит. А ты, коль хочешь хорошо жить, — трудись, не пьянствуй, — вот и все!» Зинько и сам знает, да разве в этом дело...

Куда же это Левантина запропастилась? Наверное, в хате спряталась? Ему хотелось поговорить с ней. Она тихая, работающая, добрая девушка... Н собой хороша... вот бы ему такую жену, да только чтоб не была робкой... забитой. Однажды он заговорил с ней про дождь, что он образуется из пара, а она только засмеялась и убежала... Как же он будет разговаривать с ней, делиться

мыслями, что занимают его? А впрочем... она еще молодая... Сирота, с детских лет батрачит, а грамоте никто не обучал ее... Даже удивительно, что она выросла такой хорошей девушкой!.. А если бы Зинько женился на ней, то, может, и ее читать научил бы... И увлек своими мечтами... Так Зинько думал о Левантипе. Он давно присматривается к девушке, несколько раз беседовал с ней. Она краснела, хотя с удовольствием разговаривала с ним. Но Зинько был очень робким и вел себя с Левантипой не так, как другие парни с девушками, которых любят.

Ему очень хотелось поговорить с ней... Ну хотя бы для того, чтобы забыть об этих пьяных гостях!.. Не любит этого Зинько. Но Левантины нигде не было — ни в саду, ни во дворе. Может, куда пошла... Зинько перескочил через тын в свой сад.

Вдруг мать окликнула его. Управившись с хозяйством, Зинько пошел спать в сад — стеречь яблоки. Да только уснуть не мог... все те же мысли тревожили его. Может, Роман?.. Станный он какой-то... Не нравилось Зиньку, что он так важничает, язык коверкает... А впрочем, наверное, он много видел, много знает. Еще бы! Он в больших городах жил, в солдатах писать научился. Наверное, Роман сумеет растолковать ему то, чего он не знает, в чем сам не в силах разобраться. Надо бы поговорить с ним... Не сегодня, конечно. Сегодня Роман, должно быть, еще не скоро с гулянья вернется.

Небо давно уже блестело над землей в своем звездном наряде, а Зиновий все еще не спал. Мысли роились у него в голове, набегали одна на другую, как волна на волну... В хатах давно уже спят, успокоились и девушки и парни на улице... И деревья дремлют, склонясь над ним, уснула и зеленая трава, щекочущая его лицо, когда он прикасается к ней... А в высоком и глубоком-глубоком небе мерцали, переливались живым светом звезды, казавшиеся огромными и умными блестящими глазами... Они светят так ярко, словно хотят заглянуть Зиньку в душу, увидеть, что там творится. Они смотрят такими большими-большими глазами... Как у Левантины... когда она поет грустную песню... Она смотрит и поет... И становится так хорошо, хорошо... И тогда Зиньку кажется, что перед ним склоняются ветви и звезды улыбаются ему...

Зинько уснул, не зная, что это Левантина только что вышла в свой сад и запела... Очарованная сиянием бескрайнего неба, упоенная сладким ароматом чарующей ночи — тихой, как сон младенца, ласковой, как взгляд матери...

## II

На следующий день Роман проснулся поздно. У него болела голова, вчера он все же здорово выпил. Лежа на соломе в овине, думал о вчерашнем дне и досадовал на себя, что завел дружбу с парнями и девушками. С девушками — это еще ничего, Роман равнодушен к женскому полу, а вот на гулянье, может, и не следовало идти. Не к лицу ему дружить с ними. Да вчера вот выпил лишнего и забыл... Ничего, не беда, он еще покажет им, что они неровня ему.

Роман встал и пошел в хату. Отец с Денисом и Зиньком уже позавтракали и отправились в поле — вывозить последние копны. Мать хлопотала у печи.

— Выспался, сынок? — ласково спросила она. — Садись завтракай.

— Да вот только умоюсь.

Умылся, расчесал волосы, сел за стол. Мать подала ему галушки с салом. Роман еще палец о палец не стукнул, он только что встал, потому и не проголодался. А галушки были из простой гречневой муки и казались ему невкусными. Съел галушку, вторую и положил ложку на стол.

— Что же ты, сынок, не ешь? — удивилась мать.

— Что-то есть не хочется, — ответил Роман и встал из-за стола. — Нужно пойтить проведать старых знакомых.

— Пойди, сынок, пойди проведай!

Роман надел пиджак, картуз с белым донышком, потом посмотрел на сапоги:

— Эх, ваксы просюсть!.. Ну да пушай, другим разом! — И вышел из хаты.

Выйдя со двора, Роман остановился — не знал, куда идти. У него когда-то были друзья, — теперь все они женаты, хозяйева, — да ему и не хотелось к ним идти: что интересного он услышит от них? А может, все-таки пойти, чтобы видели, каким он стал теперь? Да их, должно быть, нет дома, все на работе. Ну, раз уже вышел со

двора, то придется по селу, а там, может, и забредет к кому-нибудь. И он пошел по селу. Шел не спеша, будто осматривал каждую хату, а на самом деле следил, видит его кто-нибудь или нет. Но почти все крестьяне находились в поле, дома лишь одни старухи остались. По улице бегали дети. Один из малышей, увидев на Романе пиджак и сапоги с блестящими голенищами, крикнул старшей девочке, стоявшей на противоположной стороне улицы:

— Смотри! Смотри! Барин идет.

Роман улыбнулся, — ему это нравилось. Но девочка посмотрела на него и ответила мальчишке:

— Дурной! Со ты говоришь? Это не барин, а солдат Сивасенко, мне мама говорила.

«Ишь чертова кукла! — подумал Роман. — Слова еще не умеет произнести, а уже разглагольствует». Он сердито посмотрел на девочку и крикнул:

— Ну, разболталась тут! — и пошел дальше. Перепуганная девочка молчала до тех пор, пока Роман не удалился, а потом подбежала к мальчику и сказала:

— Господи, какой страсный!..

А «страсный» направился дальше. Подошел к лавке, возле которой стояли трое мужчин и одна женщина. Роман знал, что нужно поздороваться с ними, но подумал: «Буду я еще унижаться да перед всяким фуражку снимать!» — и прошел мимо односельчан, словно и не заметил их.

— Кто же это прошел? — спросил один из мужиков.

— Да это солдат Сиваша.

— Ишь ты как зазнался: идет и не здороваётся. — И мужики и женщина стали осуждать Романа за его непочтительность; но этого он не слышал, уже свернул на другую улицу. Там среди соломенных крыш выделялся небольшой домик под железом. Вверху над дверью Роман увидел табличку с надписью: «Народное училище».

«А дай-ка зайду к учителю!» — подумал он, хотя сто и не знал.

Вошел в коридор, где в стенах торчали большие гвозди и колышки, на которые школьники вешают свою одежду. Остановился, не зная, какую дверь открывать, потому что их было две. Одна была немного приоткрыта, и оттуда доносился разговор. Кто-то сердитым голосом кричал:

— Почему ты сапог не почистил?

— Двор убирал,— отвечал старческий мужской голос.— Что я вам, лакей? Я — сторож.

— Коль нанялся сторожем, должен быть учителю и лакеем. Каждый день сапоги чисть!

— Да что это и впрямь такое? Я общине пожалуюсь.

— Плевать мне на твою общину! Пойди сейчас к Сучку и купи две колоды карт!

Из дверей вышел, бормоча что-то себе под нос, седой сторож.

— Учитель дома? — спросил Роман.

— Да вон! — показал старик на дверь, а сам направился куда-то.

— Кто там? — слышался из-за двери голос.— Верно, опять кто-нибудь притащил малыша! Ну и идиоты! Хоть не говори им, что еще рано!

Дверь открылась от толчка ногой, и на пороге появился, заложив руки в карманы брюк, молодой человек с закрученными вверх усами, без пиджака и жилета, в одной рубашке.

— Чего тебе? — спросил он, но, увидев, что Роман одет не по-мужицки, изменил тон:— Вам что нужно?

— Мое поштенне! — сказал Роман, протягивая руку.— Сивашов.

Учитель подал ему руку и пригласил в комнату. В небольшой комнатухе, с кроватью, столом и несколькими стульями, царил беспорядок: разбросана одежда, на полу окурки, на стене гитара, ружье, а на столе недопитый стакан чаю и бутылочка с этикеткой «Ром»; под столом спала собака. Учитель пригласил гостя сесть и надел пиджак.

Роман сел, положив ногу на ногу, вытащил коробку с папиросами, раскрыл ее и протянул учителю:

— Не вгодно ли — хорошее различение.

Учитель взял папиросу, и они закурили. Роман, еще больше коверкая свой язык перед «образованным человеком», стал объяснять, зачем пришел. Вернулся, мол, из города, ну а в селе «скучно», ибо всюду одна мужва и нет такого человека, чтобы с ним можно было «образованному» поговорить... только и есть, что учитель, урядник да еще писарь... Так вот он и зашел.

Учитель стал догадываться, кто к нему пришел,— поначалу он подумал совсем другое. Сам учитель был из

таких же мужиков, как и Роман. После окончания двухклассного сельского училища он попал в учительскую семинарию. Когда ее окончил, его хотели было направить учителем в родное село, однако он наотрез отказался, потому что там все с ним запанибрата будут. Он относился к категории тех учителей, которые, выйдя из «мужиков» в «господа», из кожи вон лезут, стараясь обойти мужиков, избегают их, как чертей, не желают знаться с ними и высматривают себе либо дочь богатого управляющего, либо зажиточного мироеда из крестьян, или хотя бы вдову какого-нибудь полубарина, чтобы, женившись, бросить нелюбимое и скучное занятие учителя и перейти совсем на «господское положение». Роман казался ему ничтожеством, — учитель на людей ниже писаря, урядника и лавочника Сучка даже внимания не обращал. Только он еще не был уверен, действительно ли Роман мужик. Вот фамилия его... Сивашов... Сивашов... что-то в нашем селе нет Сивашовых... Но тут же догадался:

— Так вы, должно быть, сын Филиппа Сиваша?

Роман немного покраснел и стал объяснять, что хотя это и так, но на службе его звали «Сивашов», потому что, ежели простой человек, так он будет Сиваш, а как «образованный», то — Сивашов.

Учитель теперь начинал понимать, что нечего ему заводить знакомство с этим типом — лишь повредишь, унизишь себя перед знакомыми «господами». К тому же он сегодня был расстроен: вчера с вечера и чуть ли не до рассвета играл у батюшки в карты, проиграл семь рублей. У него сейчас за душой ни копейки, так как летом доходов меньше: зимой школьники (они у него вымуштрованные) частенько приносят ему всякие колбасы, сало, а иногда даже и сахар, и потому на питание собственных денег ему не приходилось тратить. Теперь же за все надо платить! Хорошо, если сегодня (он собирается пригласить к себе всю компанию) отыграется, вернет свое, а если нет? Все это раздражало учителя, и он сердито сказал Роману:

— Ну, мне теперь некогда... Я очень занят...

Оскорбленный, Роман покраснел и встал.

— Как завгодно...

Он опять было протянул руку, но учитель не подал своей. Совсем обескураженный, Роман поспешил выйти

из комнаты, услышав, как вслед ему учитель пробормотал:

— Всякий тебе хамлюга лезет знакомиться!

Как только Роман вышел на улицу, возмущение его прошло, он лишь зол был на учителя, что тот его так унизил... «К кому бы еще пойти?» — подумал он и, увидев тут же, напротив школы, волостное правление, направился туда.

Ему повезло: писарем оказался его старый приятель. Еще мальчиком отец отдал его в городскую школу, — там он и научился писать. Он сам хорошо умел говорить «по-образованному» и был рад встрече с Романом.

— Садись, браток, садись! У нас в волости никого нет: старшина, староста и всякое начальство поехало снопы возить, дак я сам тут и старшина, и староста, и все.

Роман присел к столу, покрытому старым, забрызганным чернилами зеленым сукном. Писарь, Григорий Павлович Копаница, был ровесник Романа, но успел разжиреть на волостных хлебах, и его засаленный пиджачок был узковат в плечах. Он покручивал свою рыжую бородку и охотно рассказывал Роману о том, сколько у него забот в волости: старшина, мол, глупый, и ему приходится все делать и за него и за себя; а жалованье маленькое, «посторонний доход» тоже не очень-то большой, — на домик кое-как собрал, не больше...

Потом заговорил Роман — о том, как он жил в городе на военной службе, затем на службе в палате; только он рассказал, что был там не сторожем, а «таким служащим, што, знаешь, надзирает за зданием».

Затем разговор у них зашел о мужиках, и писарь стала ругать их: мол, стали они непослушны, все норовят, чтобы за них работали даром, как будто не понимают, что писарю, кроме годовой платы, нужно за каждую «бамажку» — за «пашпорт», или за прописку, или еще за что-нибудь — отдельно заплатить... А мужик, ежели иногда и пообещает принести меру картошки, то обязательно пришлет только полмеры, и так во всем...

Долго они беседовали, пока писарь не сказал:

— Ну, знаешь что, Роман Филиппович? Хадем ко мне обедать! Уважу-ка я тебя ради нового знакомства!

Роман очень обрадовался этому приглашению.

Выходя из волости, они встретили урядника Ивана Ильича, который был немного старше их обоих, представительный, с подстриженной клинообразной бородкой. Писарь познакомил его с Романом и тоже пригласил к себе на обед. Хотя тот уже пообедал, но, поскольку сейчас ему нечего было делать, согласился...

Писарь жил в хорошем домике, с городской обстановкой: со стульями, диваном, комодом, старым буфетом, с ярко раскрашенными рисунками под стеклом, висевшими на стенах. Сразу бросалось в глаза, что «посторонний доход» был не таким уж и малым. Гостей встретила жена писаря — молодая, дородная, цветущая кокетливая молодница.

— Уляша,— сказал весело писарь,— подавай-ка нам обед поживее! Да повкуснее!

— Будет вкусно, будет и быстро! — приветливо улыбаясь, ответила молодница и побежала на кухню.

Вскоре они уселись за стол. Писарь вытащил из кармана бутылку водки.

— Доброхотное даяние? — спросил, подмигнув, урядник.

— Да от пакостного Омелька,— ответил хозяин,— нужно было бы больше, но уж пушай будет и столько.

— Всякое даяние благо, а возместить можно, ежели не теперь, так в четверг,— посоветовал урядник.

— Истинно! — согласился писарь.

Выпили по рюмке, хозяйка тоже одну опрокинула, и только принялись было за борщ, вдруг в снях кто-то затопал.

— Хозяин дома? — спросил кто-то басом.

— А, Михайло Григорьевич! — сказал писарь.— Заходите! Заходите! Дома! — и открыл дверь.

В светлицу вошел невысокий, полный рыжий мужчина, в хорошей чумарке<sup>1</sup>, с картузом в руках. Роман знал его: это был лавочник Сучок. Хозяева стали приглашать его к столу. Он с достоинством протяжно произносил каждое слово, уверяя, что уже пообедал, а зашел сюда по делу, по потом все-таки сел за стол. Снова выпили и принялись за вкусный борщ... Покуда ели, разговаривали мало, однако потом, когда выпили по четвертой рюмке (и жена писаря Уляша каждый раз по полрю-

---

<sup>1</sup> Чумарка — род поддевки.

мочки), все повеселели и разговорились. Роман видел, как Уляша все подмигивала уряднику да потчевала его. Сучка она не упрашивала, тот и сам хорошо ел, тяжело соя. Пообедав, закурили и пошли в сад — хэ-зяин с Сучком впереди, следом за ними Роман, а позади всех урядник с женой писаря. Роман, оглянувшись случайно, увидел, как урядник обнимал Уляшу, а та, смеясь, грозилась ему пальчиком, показывая, что их могут заметить, и Роману сразу стало завидно, что не он обнимает краснощекую с веселыми глазами жену писаря.

А в саду расселись на траве и опять заговорили каждый о своих делах, и все почему-то поносили мужиков: и тому мужик не угодил, и другому... Сучок говорил, что мужик хитрее черта, а урядник доказывал, что хотя хитер, но глуп, и в подтверждение своих слов рассказал о дурном Фоме, который съел мыло. Все страшно хохотали, а подзадоренный рассказчик одну за другой выкладывал небылицы: о том, как мужику заменили его хохлацкую голову чертовой; о том, как солдат и хохол кипели в аду в котле. Черт сказал: «Солдат!» А солдат: «Ась?» — «Ну, вылазь!» Тогда он обращается к хохлу: «Хохол!» — «Що-о?» — «Ну, сиди еще! Вот тебе за хохлацкий язык — в аду посиди!»

Все снова разразились хохотом, а жена писаря даже завизжала тоненьким голоском:

— Ах, прелить! Ах, прелить!

Она когда-то служила у господ горничной и научилась у них таким словечкам.

Потом все вернулись в дом, пили чай и опять вели оживленный разговор...

Сучок ушел, так как ему нужно было в лавку, но Роман и урядник гостили до самого вечера.

Роман возвращался домой. В хатах уже горел свет. Когда он вошел в дом, все уже сидели за столом и ужинали.

— Вот и наш бродяга пришел! — ласково улыбаясь, произнес отец. — Где это ты весь день шатался?

— Да разве мало тут хороших знакомых! — И Роман стал рассказывать о том, что ходил он к учителю, с которым здорово поговорил, а потом зашел к писарю; с каким почетом принимали его там... Мать радовалась,

слушая, как почитают в селе ее сына, а остальные молчали.

— Садись-ка, сынок, поближе к столу, поужинай! — приглашала его мать.

— Да я таких блюд наелся у писаря, что уже мне вашей вечери не хочется.

Матери не понравилось, что сын пренебрегает ее ужином, но Роман не заметил этого и опять принялся рассказывать о писаре: как тот живет богато и как хорошо быть писарем.

— Все это хорошо,— отозвался Зинько,— но надо, чтобы писаря поступали по справедливости, а то вот и этот такой, что готов две шкуры с тебя содрать.

— Ну это, братуха, пустяк дело,— ответил Роман,— на то и щука в море, чтоб карась не дремал. Каждый со своего ремесла может себе барыш брать.

— Пускай и барыш, но не поборы,— отозвался отец,— а то и этот прежде был таким тощим, что свитка на нем висела, а теперь, вишь, в каких достатках живет от этих барышей. Ты, Роман, лучше с ним не водись: хорошему у него не научишься, а люди будут плохо о тебе думать.

— А мне ноль внимания...— ответил Роман, пожимая плечами.— У нас своя кунпанья. Ну, что там разбалакувать: время спать.

Взял он свою одежду и пошел спать в овин. Укладываясь на соломе, вспомнил, какие высокие и мягкие подушки, покрытые цветастым покрывалом, видел он у писаря. И ему стало завидно, захотелось иметь такую же уютную светелку, мягкие подушки, вкусную еду с водкой и румяную жену... А отцовская хата казалась такой убогой и чужой... да и люди в этой хате... Велика ли радость, что они его родственники, коль они такие... мужики! И верно, урядник и писарь смеются над мужиками, ведь живут они совсем «без понятия, как настоящая необразованная животная». Разве он может так жить? Ведь он теперь стал совсем иным человеком.

Все думал об этом Роман и никак не мог уснуть. Наряду с тем, что он видел сегодня, у него в памяти всплывал город, улицы, освещенные фонарями, светлые комнаты палаты, где он служил сторожем, цирк... Вот куда бы он каждый день ходил! А тут вот — тесная хата со скамьями и ухватами... Отец или Деннис как скажут

слово — ну, один срам!.. Неотесанная мужза — даже смердит! А там, в городе, совсем другие люди... А девки! И он стал вспоминать городских горничных и кухарок, за которыми ухаживал... Эх, черт возьми! Машка, должно быть, плачет теперь!.. Смотри еще и ребенок появится!.. Да разве одна Машка? Были и до нее...

Он не мог больше лежать, поднялся, набросил на плечи пиджак и вышел из овина. В конце сада, который начинался сразу-за током, кто-то пел молодым звонким голосом.

«Кто это поет в нашем саду?» — подумал Роман и, перескочив через тын, пошел по саду. Оказывается, пели не у них, а в саду соседа Струка. Роман перелез через тын и направился к реке, откуда доносилась песня. Вскоре он увидел девушку. По-видимому, пришла она сюда набрать воды, потому что на земле стояли ведра, — наверное, забыла о них, очарованная ночной тишиной и нежным, манящим плеском темных волн у своих ног... Она стояла и пела.

«Должно быть, наймичка Струка», — подумал Роман и вспомнил ее нежное лицо с длинными ресницами и тонкий стан, — он закружил ее тогда, во время танца, обняв за талию рукой. Лицо ее покраснелось, грудь высоко вздымалась... потом она вырвалась от него, убежала...

Роман незаметно подкрался к девушке. Она так была увлечена пением, что не слышала, как он подошел к ней. Испугалась:

— Ах боже! Кто это?

Хотела бежать, но парень придержал ее за рукав.

— Это я... Роман.

— Зачем ты... вы здесь?

— Услышал, как поешь, да и пришел!

— Такое скажете! Чего бы это вам ко мне ходить!

— Того, что хорошенька! — И он хотел обнять ее, но она уклонилась. — Как тебя звать?

— Левантинной...

— Хорошо! — и все-таки обнял, прижал ее к себе. Она тут же высвободилась из его объятий и, бросив ведра, как дикая козочка, убежала, скрывшись за деревьями.

«Ишь какая прыткая! — подумал Роман. — Бойкая! А красивая дивчина... нужно приударить за ней!»

Подождал еще немного, надеясь, что она вернется за ведрами. Но Левантина не пришла. И Роман пошел в свой овин.

Туда же вскоре пришел спать и Зинько.

— Я думал, что ты уже спишь, Роман, а оказывается, еще гуляешь?

— Не спится какось.

— Вот и мне порой не спится. Думы спать не дают.

— Думы? — спросил Роман, и Зиньку показалось, что тот спросил с насмешкой: — Што за думы?

— Да разные... Вот вчера все думал о том, как бы так сделать, чтобы всем людям хорошо жилось на свете? Ну хотя бы сказать и о земле... Столько людей родилось и родится, столько их расплодилось на этом свете... Людей становится больше, а земли столько же... Сейчас тяжело жить людям, а дальше — еще труднее... И может произойти такое, что земля не будет уже давать хлеба столько, сколько нужно людям... Что же тогда делать? Хоть с голоду погибай!

— Вот штука! — ответил Роман. — Не станет тут чего есть, прикажут переселяться в другие места, и шабаш!

— Вот и я говорю: а если и в других местах то же самое будет? и по всей земле? Как же тогда?.. Может, в книгах об этом пишется? Тебя хорошо учили в солдатах, Роман, ты должен знать.

— В каких это книгах? — ответил Роман. — Вот будут еще такие книги печатать! Про то начальство само знает, как и что.

— Нет, — не соглашался Зинько, — вот я читал одну книгу о чужих странах, и в ней...

— А, пустяк унимания! — перебил его Роман. — Лучше давай спать!

Он отвернулся, словно спать собирался. Роман был малограмотным, книг не читал, разве что анекдоты про Балакирева. Теперь ему было ясно, что Зинько грамотнее его и знает куда больше, чем он, — и ему стало не по себе. А Зинько понял, что Роман не такой грамотный, как казалось ему раньше.

На другой день утром отец пришел в овин, разбудил Зиньку и Романа, велел им идти на ток молотить. Зинько сразу же встал и пошел работать, а Роман долго еще валялся в овине. Ему не хотелось заниматься молотью, даже больше того — было стыдно приниматься за чер-

ную работу. Что это отцу взбрело в голову? Неужто старик думает, что он будет рыться в навозе, волам хвосты крутить? Вот не пойду, и баста!

Однако на сей раз он не захотел ссориться с отцом и пошел на ток. Солнце лишь показывалось из-за горизонта, было прохладно, сыро. У Романа даже дрожь пробежала по телу. На току уже рабогали отец и братья.

— А что, брат, холодно? — спросил Денис. — У вас там, в городе, небось люди еще спят. Ну да ничего! Вот помахаешь цепом, сразу согреешься, даже пот прошибет.

Роман ничего не ответил брату, взял цеп и стал поближе к Зиньку. Ударили четыре цена: три смело и дружно, а один как-то невпопад. Роман совсем разучился молотить — не попадал в такт, вместо того чтобы ударять по снопу бичом — бил рукояткой, бич поднимался вверх и отскакивал назад. Он рассердился и размахнулся изо всех сил. Бич оторвался, подскочил и больно ударил его по руке. Роман бросил цеп и выругался.

— Эх, сынок! — сказал отец. — Да я вижу, тебе долго еще надо приучаться, чтобы снова стать настоящим молотильщиком.

— На кой черт я буду приучаться? — сердито ответил обозленный Роман. — Разли вы думаете, што я тут вместе с вами буду лупить цепом по колосьям?

— А ты думаешь, что хлеб сам будет расти да тебе в рот ползти?

— И без етого дурацкого дела сыт буду!

— А ну, как?

— Разли я сибе службы не найду? Вот пойду в икономию и прикажчиком поступлю.

— Что ж, это неплохо, — спокойно ответил ему отец. — Только бы приняли.

— Ишо бы! Им образованные люди нужны.

— Да... говорила и Ганна, что она рада выйти за пана, так он, клятый, не берет! — засмеялся Денис.

— А ну вас, с вашими мужицкими выдумками! — рассердился Роман, бросил цеп и ушел с тока.

Отец и сыновья переглянулись, но никто из них ничего не сказал, и цепи снова замелькали, ударяя по тучным снопам пшеницы так, что эхо далеко-далеко разносилось в свежем, звонком воздухе веселого, солнечными лучами согретога утра.

Сердитый Роман, не заходя в дом, ушел со двора решив заглянуть к уряднику. Там он подоспел к чаю напился всласть; затем посидели и поболтали. Роману хотелось, чтобы хозяева пригласили его на обед, но они то ли не догадались, то ли просто не захотели приглашать. Пришлось идти домой обедать. Вернулся и гостей, когда дома все давно пообедали, и ел один Роман, чтобы угодить сыну, зарезала и сварила курицу. Проголодавшись, Роман быстро проглотил ее, не оставив ни кусочка. Поев, снова ушел из дому.

Узнав о том, что сегодня вернулся с солдатской службы Гриценко, он поплелся к нему. Они служили в разных полках, но это не важно: раз солдат — это все равно что товарищ.

Гриценки жили бедно и не приглашали гостей, как Сиваши, но и у них тоже было несколько человек: двое-трое родственников. Белобрысый плюгавенький солдатик сидел за столом и весь сиял от радости. Он все расспрашивал о хозяйстве, о родственниках, о товарищах, интересуясь всем, что произошло в селе в его отсутствие. Романа усадили за стол, угошали...

Вернулся Роман домой только вечером и сразу же улегся спать. На другой день ушел с самого утра, бродил по дубравам и явился после обеда, чтобы снова есть одному. Он уже кончал обедать, когда в хату вошел отец.

— А где ты, Роман, был, не в экономии ли случайно?

— Где надо, там и был! Еще успеем в икономию... Современно все сделается.— Ответил и вышел из хаты.

— Что же мы, старуха, делать-то будем с сынком-солдатиком? — спросил Филипп у жены, когда Роман вышел.

— А что же нам делать? — ответила Параска вопросом, словно не понимая, что это касалось ее любимчика.

— Где и откуда будем добывать денег этого барчука кормить?

— Вот еще что выдумал! Сынок только приехал, устал, а ты и отдохнуть ему не дашь! Отдохнет, да и за работу возьмется.

— Нет... говорит, что не хочет браться, а пойдет в икономию наниматься.

— А может быть, и наймется! Он же у нас образованный.

— Нужны там такие!

— Ты уж не трогай его! Погоди немного — увидишь, что все уладится. А ругать его не следует, еще больше обозлишь.

— Ладно, я подожду, помолчу пока что,— увидим, какой толк из этого выйдет.

Отец и впрямь ничем больше не попрекнул Романа.

### III

Три дня прошли спокойно; на четвертый Роман попросил у отца рубль.

— Зачем тебе? — спросил отец.

— А што же, я без копейки жить буду? Покуда дошел — израсходовался. И папирос не на што купить!

— Э, хлопче! Если мы будем тратить деньги на папские папиросы, то скоро у нас все хозяйство вылетит в трубу,— ответил отец.— Нет у меня денег.

Роман хлопнул дверью и отправился в село. Он страшно злился на отца и братьев, называл их неотесанной мужвой, не понимающей, как нужно вести себя с образованным человеком. Однако хорошо знал, что если отец сказал, то уж так и будет: денег не даст.

Надо все же пойти в экономию попытать счастья. Имение большое, и людей там служит много. Роман направился прямо в контору к управляющему.

— Ну, что скажешь? — спросил тот.

Роман стал объяснять ему, где служил на военной службе и что хотел бы получить более подходящую, чем простая хлебопашеская, работу.

— Какую же это работу? — спросил управляющий.

— Хотел бы я быть приказчиком.

— Ах, вот что! Приказчики нам не нужны, они у нас есть. Да ты ведь и с хозяйством незнаком. Был в солдатах, служил где-то швейцаром, а теперь лезешь в приказчики! — И управляющий отвернулся было от него, занявшись своим делом, но тут же снова заговорил: — Разве что... вот в контору мне нужен один человек... Только хорошо грамотный. Ты грамотен?

— Так тошно.

— Садись пиши.

Роман сел и взял ручку, а управляющий, не глядя на него, а записывая что-то в большую книгу, стал дик-

товать ему. Ни перо, ни пальцы не слушались Романа, и он едва успел вывести первые два слова, как тот уже продиктовал ему около двух десятков.

— Позвольте, я не слышал, как вы сказали...— прервал его Роман.

— Не отставай! — И управляющий снова продиктовал ему все сначала.

Роман уловил лишь несколько слов, а все остальное позабыл.

— Позвольте,— не успеваю.

Управляющий посмотрел на его писанину и увидел, что из всего продиктованного написано несколько первых слов большими кривыми каракулями: Роман почти не умел писать.

— Пойди прежде научись писать, а потом приходи. В контору не годишься. Если хочешь, становись работать на молотилку.

— Нет, на молотилку не хочу.

— И ладно, лентяи мне не нужны. Уходи!

Роман вышел расстроенный и злой.

У него в кармане еще осталось немного денег, он зашел в монопольку<sup>1</sup>, купил водки и выпил с горя тут же возле хаты на улице.

На другой день утром старуха Сиваниха полезла в скрыню, долго там что-то перекаладывала на дне, а потом вытащила какой-то узелок, взяла оттуда рубль и, когда Роман вошел в хату, отдала ему.

— Возьми, сыночек, рубль. Отец-то не даст, а ведь тебе деньги нужны.

— Вот спасибо, мама! Хотя вы по-человечески ко мне относитесь,— не так, как отец.

— Но ты, сынок, ищи работу, а то у вас с отцом и Денисом будет скандал.

— Ходил я уже в икономию.

— Ну и что же?

— Взяти бы с дорогой душой, дак все приказчики у них есть. Хотя я и солдат, ну невозможно ради мина человека прогнать.

— Правда... Вот горюшко!.. А может быть, еще где-нибудь поискать?

---

<sup>1</sup> Монополька — магазин для продажи водки; монопольное право на торговлю ею принадлежало государству.

— Найдем! Не торопитесь! Все будет у свою порцию и на небольшом расстоянии.

А Роман про себя подумал: «Наверное, у матери не один узелок с рублями. Нужно так подладиться, чтобы они попали мне в руки».

Прошло еще недели полторы. За это время Роман познакомился поближе с торговцем Михаилом Григорьевичем Сучком. Раньше он только заходил к нему в лавку, а потом — и домой. Однажды его даже оставили победать. Еда была хорошая, поэтому, наверное, такими толстяками были Михаил Григорьевич, и его жена Агафия, и дочь Горпуша, девушка лет девятнадцати. Роман рассказывал Сучку о том, что он пока что ничего не делает, присматривается, чем бы заняться: то ли на службу поступать, то ли коммерцию завести, намекая на то, что у него есть деньги для этого. Он, разумеется, врал, — и врал для того, чтобы Сучок смотрел на него как на солидного человека. А тот и верил и не верил, но все же к себе в дом приглашал.

Познакомился Роман еще с дьячком и с каким-то «служащим» на железнодорожной станции. Туда Роман ходил узнавать, не нужен ли жандарм, — хотел устроиться; но на такие должности брали только унтер-офицеров, а он был простым солдатом. Роман частенько заходил к своим знакомым и был рад, если ему удавалось там выпить чаю или съесть что-нибудь вкусное, потому что дома этого не было. Дома он по-прежнему ничего не делал; купил себе удочки и ходил на реку ловить рыбу. Улов приносил матери, а она ему варила похлебку, которую он называл «вухой», или жарила рыбу в сметане. Он подлаживался к матери, выманивал у нее денежки, и она давала ему из своих сбережений, куда было что давать. Он ей рассказывал о том, что его всюду очень хорошо принимают и вот-вот он найдет службу, но сейчас пока что нельзя, ибо... И он врал...

А по селу прошел слух о том, как Роман ходил к управляющему наниматься в приказчики и как тот заставил его что-то писать. Парни и девушки на улице стали посмеиваться над Романом, — понятно, не в глаза, потому что он на гулянья не ходил. Но однажды об этом услышала Левантина. Она стала защищать его.

— Чего вы насмехаетесь над человеком? Если ему не везет, так, значит, он уже и плохой? А может быть, это все неправда!

— А почему ты защищаешь его? — закричали девушки и парни и начали подтрунивать над Левантиной. Они понимали, что она равнодушна к Роману. Девушка возмутилась:

— Тьфу на вас! С ума спятили! Чего это вы с ним ко мне привязались? Да пропадите вы пропадом вместе со своим Романом!

Видя, что она сердится, парни и девушки оставили ее в покое.

А когда Левантина вернулась домой и гнев ее прошел, ей опять стало жаль Романа. И почему все так смеются над ним? Он такой интересный!.. Немного смешной со своим «образованным» разговором, но это бывает со всеми солдатами, которые приходят со службы, а поживут дома — и снова начинают говорить как люди. Только плохо, что рукам он волю дает. Вот уже второй раз встретил ее в саду. В первый она сильно оттолкнула его, и теперь он присмирел, хотя и не очень. Во второй раз она уже не убегала от него, они немного постояли, поговорили...

Так думала Левантина о Романи, вспоминая его красивые усы, черные брови и стройный стан.

И Роман думал о Левантине. Она ему очень нравилась. Если бы нарядить ее в господскую одежду, она выглядела бы как настоящая барышня. Куда там! Да что там барышня, — ведь не всякая могла бы сравниться с ней! Недаром ее дразнят в селе барышней. А все потому, что мать родила ее, будучи девушкой, когда служила прислугой у господ. Поговаривали тогда о каком-то барчуке. Мать уже померла, а дочь, как и она, теперь батрачит у богатых хозяев.

Роман был неглупым и вскоре заметил, что Левантине не нравится его слишком развязное поведение и непростая речь. В городе девушки к этому привыкли, а здесь — нет. И Роман решил вести себя с ней так, как обычно ведут себя сельские парни... Начал разговаривать с ней по-простому, по-деревенски.

Девушка заметила, что Роман изменил свое отношение к ней, и сама стала обходиться с ним ласковее. И все то плохое, что говорили о нем люди, она пропускала мимо

ушей. Мало ли что злые языки наговорят!.. Разве и ее не осуждали? А он ей душевно рассказывает о себе. Правда, он сейчас не служит, ну и что же? Придет время, получит службу, барином жить будет. А то, что дома ничего не делает, не беда,— он уже отвык от крестьянской работы; кроме того, хочет научиться лучше писать, и поэтому не может браться за черную работу, чтобы пальцы не огрубели и не одеревенели, ибо тогда и ручку не сможет удержать в руке. Роман не обманывал Левантину; он и в самом деле несколько раз садился учиться писать, но ненадолго, потому что считал это скучным занятием. Он и в солдатах учился по принуждению.

Расспрашивал Роман Левантину и о ее жизни. Тяжелой была эта жизнь. До семи лет мать носила девочку с собой по чужим людям, а когда пошел восьмой годок, ее отдали в прислуги. Трудно жилось им с матерью: все по чужим домам да у чужих людей. Всюду помыкают тобой да куском хлеба попрекают. А она никогда не ела свой хлеб даром; не успела она сама еще научиться ходить, как хозяйева уже заставляли ее младших детей нянчить или гусей и телят пасти. Мать получала за работу деньгами, а маленькая Левантина своими крохотными руками трудилась только за кусок хлеба. Матери же, потому что у нее был ребенок, платили меньше, чем другим. А когда умерла мать, бедной девочке свет стал не мил. Мать хотя и накричит на нее и побьет, бывало, но и пожалеет. Левантине тогда казалось, что ей и солнышко улыбалось. Порой Левантина сердилась на мать за то, что та изредка наказывала ее,— а сейчас целовала бы ей руки, если бы и побила. Но тяжелая земля придавила грудь матери. В найме, говорят, и отца родного не пожалеешь. А сиротку и по-давно некому пожалеть. Ходила по снегу босая, ела такую черствую корку, что и собаки не стали бы есть. Парни и девушки во время гулянья всегда подтрунивали над ней, всякое выдумывали. «Отгадайте, кто быстрее всего на свете бегаёт? — Левантина, когда хозяйка подзатыльниками ее угощает». Барышней да приبلудой дразнили...

Левантина и Роману кое-что из этого рассказала. И ему стало жаль ее: такая молодая и красивая, а приходится прислуживать чужим людям. Она была очень благодарна ему за внимание и решила поведать ему

о том, как тяжело ей жить у Струков, как издевается над ней сердитая и сварливая хозяйка. Однажды Роман встретил Левантину на лугу, когда она сидела там и горько плакала. Жена Струка ни за что ни про что избила ее скалкой: кто-то из хозяйских детей разбил лампадку, висевшую под образами, а хозяйка подумала на нее. Левантина плакала, жалуясь на сзую судьбу, а Роман утешал ее ласковыми словами и обнимал. Она теперь не отстранялась от него. Не опомнилась, как он стал целовать ее и она поцеловала его... Плакала, целовала, называя его братом, милым и родненьким.... Она почувствовала себя вдруг так хорошо... Забыла про хозяйку со скалкой, все на свете забыла... Сидела с ним, обнявшись, щебетала, глядя в его освещенные луной глаза...

С той поры Левантина считала Романа своим женихом и относилась к нему так же, как и все остальные девушки в селе к своим возлюбленным. И, по обычаю, принятому в селе, он стал ходить к ней ночевать на сеновал, где они душевно разговаривали длинными ночами. И ей казалось, что нет уже того Романа, который вначале нахально приставал к ней. Он совсем переменился и, как другие сельские парни, был честен и искренен с ней. И чем дальше, тем она все больше и больше привязывалась к нему.

А Роман, возвращаясь от Левантины домой, каждый раз думал: до каких пор это будет продолжаться? Его извращенной городской жизнью натуре уже наскучила честная любовь, в нем просыпалось животное чувство...

Бедная девушка еще ни о чем не догадывалась. Отдавая ему всю душу, она не замечала того, что уже стоит на краю пропасти: лишь один шаг на этом пути — тотчас разверзнется земля, и, страшно вскрикнув, как подстреленная птица, она полетит в эту пропасть, хватаясь руками за воздух, рана свое тело о последнюю в ее жизни скалу, да и опустится на дно бездыханным, изувеченным трупом...

Отец пока еще не тревожил Романа и сыновьям велел не задевать его. С Зиньком легко договориться, характер у него покладистый, да и сам он того же мнения, что и отец. Но Денис возмущался, злился: он, такой старательный хозяин, работал до кровавого пота,

никогда не знал и не знает отдыха, а этот дармоед, лентяй будет тратить деньги, нажитые его трудом, будет даром есть хлеб, заработанный его руками! Да хотя бы уже молча ел, а то нос еще задирает, важничает! Где это видано? Как это можно терпеть?!

Денис не мог примириться с этим, он спорил с отцом и с матерью. Он принадлежал к тем крестьянам, которые, кроме своего хозяйства, ничего не видят, все силы, мысли и чувства подчиняют одному: накопить как можно больше да зажить побогаче. Работая не покладая рук, не шадя ни себя, ни своих близких, они не понимают иных мыслей, стремлений, кроме тех, которыми сами живут. Поэтому Зинько казался Денису каким-то чужаковатым с его мечтами о книгах и о всяких других, не имеющих отношения к хозяйству делам. А уж людей, становящихся на их тяжелом пути, мешающих им своей бесхозяйственностью, ленью достигнуть большего, — таких людей они ненавидят больше, чем самых опасных преступников и лиходеев. Против них с воплем восстает каждая капелька их трудового пота, каждый мускул изнуренного тяжким трудом тела. И от таких мужиков пощады не жди...

Но отец запретил трогать Романа, — сам хотел с ним, когда придет время, поговорить. До сих пор Денис слушался отца, и в этот раз покорился ему, хотя сердце его кипело от злости и он так посматривал на Романа, что тот без слов хорошо понимал, каким чертом на него глядит Денис. Братья мало разговаривали, мало виделись, но между ними выростала слепая ненависть, — пока только немая, дожидавшаяся часа, чтобы вырваться наружу, вспыхнуть. И этот час наступил.

Однажды Роман, проведя бессонную ночь с Левантиной, проспал почти до обеда, а войдя в дом, встретился с отцом и Денисом.

— А что, Роман, как у тебя со службой? — спросил отец.

— Придет когда-нибудь и служба! — нехотя ответил Роман.

— Придет она или нет, это еще неизвестно, — не сдержался Денис, — а пока получается, что ты живешь, как пан, а мы на тебя работаем.

— Подумаешь! На то я богу и государю служил, чтобы теперь вилами навоз грести?!

— Чепуху болтаешь, Роман! — отозвался отец. — Вель наши-то солдаты занимаются крестьянским трудом — вон и Петр, и Карпенко, и Гриценко, — чем же ты лучше их?

— Коль занимаются, пусть и занимаются, а я не могу.

— Ишь! — не утерпел снова Денис. — Благородный господин!.. Они не привычны к мужицкой работе; беленькие ручки боятся замарать! Так не живи с мужиками, а уходи к господам!

— Денис, замолчи! — сказал отец. — Я сам поговорю с ним.

Но уже было поздно.

— Ты мне не указ! — сердито посмотрел Роман на Дениса. — Можешь ты иметь понятие, необразованная мужва!

Денис окончательно вскипел. Побледнев, он вскочил со скамьи, сжал кулаки и сказал, задыхаясь от злости:

— Батя, гоните его из дому, не то я сейчас ему морду набью!

— Ты смеешь поднимать на меня кулаки? — воскликнул Роман и бросился на Дениса.

— Роман! Денис! Перестаньте! Что вы делаете? — уговаривал отец. Мать закричала, а белокурая жена Дениса, Домаха, так и застыла на месте возле полатей.

Но братья ни на что не обращали внимания. Они стояли друг против друга белые как мел, сжимали кулаки, тяжело дыша.

— Батя, выгоните Романа из дому, не то я сейчас проучу его!

— Ты смеешь меня бить? — говорил, задыхаясь от злости, Роман. — Ты негодяй, хам!

— Я — негодяй? Ах ты солдатская сволочь!.. — крикнул Денис, но в этот момент Роман кулаком ударил его по лицу и не дал ему договорить.

Денис дико завопил, как раненый зверь, и бросился на Романа. Но тот — здоровый, откормленный, не обесиленный трудом — повалил его наземь и схватил за грудки.

Бабы заголосили, ребяташки, хватаясь за подол матери, завопили, отец пытался было оттащить Романа, но не мог справиться с ним: озверев, тот схватил за горло Дениса, который силился оторвать его руку от своей шеи.

В этот момент в хату вошел Зинько. Увидев дерущихся братьев, он подбежал к Роману и изо всех сил толкнул его. От неожиданности тот упал на бок, и Зинько оттащил его в сторону.

— Роман! Что ты делаешь? Или ты бога не боишься? — воскликнул он.

Роман вскочил на ноги и все еще стоял со сжатыми кулаками, готовый снова наброситься на Дениса.

— Пускай не лезет!.. — хрипло, сквозь зубы произнес он.

Денис, застонав, поднялся с пола и сел на скамью. Домаха прислонилась к нему и стала голосить. Роман плюнул и вышел из хаты.

Он шел по улице и злился на себя за то, что вернулся из города в село. Как хорошо ему служилось там! Конечно, службу он оставил не по собственной воле, хотя и скрывал это от односельчан. Он и в самом деле служил «при палате» — правда, не швейцаром, а сторожем. Если бы швейцаром, может, ничего бы и не случилось. И надо же было ему поругаться однажды со швейцаром (будучи пьяным), а тот пожаловался на него, и рассказал, что поймал Романа, когда он продавал казенные дрова. Правда, Роман спервоначалу дал швейцару рубль, и тот молчал, а потом все же выдал. Велика беда — продал охапку дров! А сам швейцар разве этого не делал? Только прятать концы в воду хорошо умел! Конечно, после этого Роману тяжело было найти в городе службу, но все-таки легче, чем здесь. А теперь-то как ему жить?!

Роман увидел монопольку, зашел туда и купил бутылку водки. В монопольке нельзя было распивать спиртное, и он пошел к жившему рядом еврею, который принимал у себя мужиков словно своих гостей, получая за каждую выпитую бутылку мзду; еврей даже сам бегал за водкой. Роман зашел туда и встретился с писарем. Хотя тот уже был на подпитии, однако не отказался, когда Роман стал угощать его. Достали закуски, распили бутылку, и писарь послал за второй. Роман пожаловался ему на отца и братьев.

— Чудак ты, Роман Филиппович! — ответил ему писарь. — Коль приходится тебе часто с ними ссориться, пускай лучше отец отделит тебя, и дело с концом. Тогда — как захочешь, так и будешь жить.

Эта мысль понравилась Роману. Боялся он, что отец не согласится. Однако писарь убедил его, что отец вынужден будет отделить его.

Роман возвращался домой поздно вечером совсем пьяным, намереваясь потребовать от отца дать ему надел земли. Но, подойдя к дому, увидел, что кругом темно. Потрогал дверь, заперта. Выругался и пошел спать на сеновал.

На другой день утром вошел в хату, когда все были дома. Какое-то время сидел молча на лавке, не глядя ни на кого, постукивая пальцами по столу. Все молчали, а отец удивленно поглядывал на него, предполагая, что может быть, сын раскаялся и пришел помириться с братом, но тоже молчал — ждал, покуда Роман сам заговорит.

— Знаете что, батя? — начал Роман. — Коли нам так жить, то уж лучше отделите меня. Отдайте мою долю, и тогда я буду сам по себе жить, а вы сами по себе.

При этом он говорил таким тоном, словно отец был виновен в том, что произошло вчера. Старик Сиваш помолчал, а потом спросил:

— А что ты будешь делать со своей долей?

— Это уж мое дело — что схочу, то и сделаю, — ответил Роман все тем же тоном.

— Да она еще не твоя, так ты уж мне скажи, чтобы я знал, для чего даю.

— Батя! — вмешался Денис.

— Молчи! — прервал отец, побаиваясь повторения вчерашнего. — Я и без тебя знаю, что делать. А коли не можешь попридержать язык, выйди из хаты!

— Может, хозяйничать будешь, Роман, на своем участке? — снова спросил отец.

— Не желаю я хозяйничать. Куммерцню заведу, — ответил Роман.

— Куммерцню?.. Какую же это куммерцню?

— Какую схочу, такую и заведу, а вы обязаны мне мою долю выделить.

— Обязан, говоришь? — спокойно произнес отец. — А если не выделю?

— Тогда пойду в волость, и вас заставят выделить.

— Ну, покуда там заставят, а сейчас я вот что тебе скажу: повремени еще малость; научись уважать отца и братьев да не бросаться на них с кулаками; научись сначала работать, беречь заработанное добро да не шляться

в шинок к еврею. Я и выделю тебе твою долю, когда увижу, что ты хозяином стал. А до тех пор пока этого не будет, нашего добра тебе не видать.

Сказав это, отец повернулся и вышел в сени.

— Но я этого не дозволю! Это грабеж! — крикнул Роман, поднялся и вышел из хаты.

— А что, уже ушел?.. — спросил Зинько.

— Ушел! — насмешливо ответил Денис, радуясь, что все так обошлось.

— А мне кажется, батя, — сказал Зинько, — было бы лучше, если бы вы отделили Романа.

— Почему так было бы лучше? — неохотно спросил отец. — Выделить, чтобы он взял да и промотал трудом кровавым заработанное добро?

— Да уж, батя, ежели сам он себя не направит на путь истинный, то вы его не исправите. Ведь в хозяйстве и его доля есть, и он работал. А может, когда сам будет хозяйничать, возьмется за ум, да и человеком станет.

— Гляди! Такой станет! — с издевкой произнес Денис. — Сразу видно!

— Да ведь и мы его лучшим не сделаем, а только будем ссориться, ругаться да драться. А ежели получит свою долю, что уж там он с ней сделает — его дело, но зато у нас в семье будет тихо и мирно, — настаивал Зинько.

Мать тоже вмешалась в разговор, поддерживая младшего сына:

— А Зинько правду говорит, старик. Послушайся его! И нам лучше будет, и Роману.

— Пусть сначала покорится да остепенится! — сказал отец. — А моту ничего не дам, и слушать об этом больше не хочу!

И вышел из хаты, чтобы заняться делом, оба сына за ним следом.

Роман между тем опять сидел у еврея. И сегодня нашлись друзья. Когда Роман вышел на улицу, в голове у него уже сильно шумело. Он шел и думал:

«Черт его знает, что делать! Отец — упрямый как пень. И сход будет на его стороне, а не на моей. Эх, если бы отдубасить его так, как Дениса, может, тогда сговорчивее будет!»

Роман до такой степени был озлоблен против отца, что готов был избить его. Куда податься? Что придумать?

И опять пришла в голову мысль, не покидавшая его в последнее время. Боялся только начинать, не надеясь, что ему повезет. Однако боялся, когда был трезвым. Теперь же ему казалось, что дело не совсем безнадежное.

«Если он купец, так уже большая цаца? А Роман — солдат! Пишется: «Сучков». Хе! Такой Сучков, как Роман — Сивашов! Да и Горпуша его в девках засиделась и некрасивая. Пусть еще благодарит, что посватает. Пускай поскорее выдает ее за него замуж, а то в девках и поседеет. А его, Романа, Сучков к себе в компанию примет. Роман будет торговать. Ого-го! Он такой порядок наведет, что куда! А не пожелает в компанию принять — пусть деньжат даст! Обязательно даст! Одинаединственная дочь — да чтобы не дал? Да еще для такого зятя!»

Роман свернул направо, ко двору Сучка.

Войдя в дом, он никого не встретил. Громко кашлянул. Из соседней комнаты выглянула Агафия Сучкова.

— Мое нижайшее! — поздоровался Роман. — Как бы мне Михаила Григорьевича увидеть.

— Он в лавке, пойдите туда.

— Невозможно в лавке: дело секретное, нужно наедине.

— Что же там за дело! — поинтересовалась Агафия и вышла к Роману. — Говорите и мне!

— Отличное дело! Будете и вы, Агахфия Ивановна, знать современно, а теперь позовите мне Михаила Григорьевича.

Агафии не терпелось поскорее узнать, что там за дело, и она пошла в лавку. Вскоре оттуда пришел Сучок.

— А по какому это вы делу? — спросил он, когда они поздоровались и сели.

— Пречудесное дело! Вот послушайте, Михаил Григорьевич, что я вам скажу!

— Говорите!

— Есть у вас куммерция?

— Есть.

— А помощник у вас в куммерции есть?

Сучков вздохнул.

— Нету!.. Не дал господь сына.

Он всегда печалился, что у него нет сына.

— А я вам нашел помощника, да еще и хорошего. .

— Кто же это? — спросил Сучок, удивившись.

— А кто же? Я!.. Разве плохой кумпаньон?

— Оно понятно... — неуверенно ответил Михаил Григорьевич. — Да... только как же? У вас есть свой капитал, или еще что-то, раз хотите в компанию?

— Зачем капитал? Мы и без капитала такую устроим штуку, что первый сорт! Потому что я сам — капитал. Выдайте за меня вашу Горпушу, и я буду вашим помощником.

Сучок вытаращил на Романа глаза. А тот, не замечая его удивления, спрашивал:

— А что, верно? Хорошо придумано?

— Да оно-то хорошо... да только, видите ли, мы еще не думаем выдавать дочь замуж.

— Тоже сказали! А доколе она будет у вас оставаться в девках? Она и так уже перезрела.

— Найдутся люди! — ответил, немного обидевшись, Сучок и добавил: — Знаете что, Роман Филиппович? Оставьте вы эту затею, ничего у вас не выйдет!

— Не выйдет? Вы думаете, что я не сумею торговать? Вы только дайте мне с Горпушей денег, а я уж такую торговлю начну, что только держись! Ого-го!

— Из этого тоже ничего не выйдет! — решительно сказал Сучок и поднялся. — До свидания, мне нужно в лавку.

— Да постоит, Михаил Григорьевич, вы понимаете, что я вашу Горпушу сватаю? — спросил его Роман.

— Почему же, понимаю. Даже очень хорошо понимаю.

— Ну, так чего же вы?

— Не хочу выдавать ее за вас.

— А почему? — с раздражением спросил Роман. — Человек я образованный, культурный... А что родители у меня мужики, так это ничего: на что они мне тогда.

Сучок чем дальше, тем больше злился и сопел. Он уже слышал о том, как ведет себя Роман, лодырничает, знал о его драке с братом, убедился, что денег у него нет и теперь он нацелился промотать, растратить все денюжки, которые он, Сучок, скопил. Лицо у торговца покраснело от гнева, и он, сам того не ожидая, заорал на весь дом:

— Да что тебе в голову взбрело? Ах ты голодранец! Еще примазываться осмелился к порядочным людям! Ступай, ступай откуда пришел!

Он так раскричался, что Роман, не проронив ни слова, вышел из его комнаты. Только в сенях опомнился.

— Ты тоже не очень! — крикнул он, повернувшись к Сучку.— Смеешь ты солдата, который своей кровью вас, хамов, защищал, так оскорблять? Наплевать мне на тебя и твою дочь!

— Вон! Пошел во-он! — затопал ногами Сучок, но Роман уже вышел во двор, а потом и на улицу. Стыд и злость терзали Романа: его отвергли, унизили и, обиднее всего,— отняли последнюю надежду. Все они одинаковы: и отец, и Денис, и этот Сучок! Из-за них житья нет, пристроиться негде! Их бы всех!..

Роман и сам не знает, чтобы им сделать такое да так отблагодарить, чтобы за живое задело, чтоб завизжали, как поросята!.. Они все, все эти проклятые мужлань!.. Какими глупыми и противными теперь казались они ему.

Он так расстроился, что не пошел ни домой, ни в шинок. Долго бродил за околицей села, по яру, и только под вечер вернулся домой.

Пошел прямо в сад и встретил там Зинька.

— А я тебя ждал, брат,— сказал тот.

— А что? — нехотя спросил Роман.

— Хотел поговорить с тобой.

— Говори! — равнодушно произнес Роман, ложась на траву под деревом.

— Видишь, Роман, что я думаю,— начал Зинько, сядя рядом с ним. — В семье у нас нелады... А дальше еще больший разлад начнется. Тебе неприятно, но и отцу нелегко... Он отделил бы тебя, если бы не боялся, что ты все добро промотаешь. Ты вот и сделай так, чтобы отец успокоился, поверил тебе.

— А как это сделать? С таким отцом рази что сделаешь?

— Ты не прав, Роман, нечего напраслину возводить на отца, ежели сам поступаешь глупо: пренебрегаешь своими, баринном хочешь жить... Хорошего из этого ничего не выйдет.

— Много ты понимаешь!

— Может, кое-что и смыслю. Вот ты посуди сам. Службы у тебя нет и, наверное, еще долго не будет; отделять тебя отец не хочет. Приходится тебе пока у нас жить. А какая это жизнь, если что ни день, то ссоры?

— Пушай меня не трогают!

— Да кто же тебя трогает? Ведь надобно трудиться, нельзя даром хлеб есть. И Денису обидно: он же трудится. Вы уже подрались однажды, а дальше хуже будет. Что хорошего в этом? Лучше бы ты, Роман, помирился с отцом да с братом и помогал хоть немного по хозяйству... покуда найдешь себе службу. А отец увидит, что ты остепенился, и отделит тебя... Хоть бы пришел покрутился на току, а уж я пособлю тебе, они и не заметят, только бы скандалов у нас не было.

Доброта Зинька растрогала Романа. Прогуливаясь сегодня по буеракам, он много думал о том, как ему вести себя с родными. И ничего не мог придумать, хотя чувствовал, что дальше так продолжаться не может. Он ответил Зиньку:

— Как же я покорюсь? Меня люди высмеют.

— Чудной ты! А разве сейчас над тобой не смеются? Да все село над тобой потешается. Почему же теперь ты не боишься этих насмешек? А я тебе так скажу: сейчас над тобой смеются и глупые и умные, а потом, ежели и будут смеяться, да только дураки.

Роман задумался, потом сказал:

— Ну, пушай... Может, я и соглашусь... Не ради них, а ради тебя, что ты такой ко мне добрый... Но как это сделать? Не пойду же я им на поклон!..

— И не ходи. Вот завтра возьми да и выйди на работу. И трудись. А потом все и уладится..

— Пушай подумаю, может, и выйду...

И в самом деле, на следующий день Роман вышел вместе с Зиньком городить тын. Денис посмотрел на него исподлобья, отец удивился, но никто и слова не проронил. А Зинько очень обрадовался, вертелся возле него, шутил и старался отца и Дениса втянуть в разговор. Даже мать пришла на помощь Зиньку. Однако отец и Денис словно в рот воды набрали...

Роман весь день трудился. У него заболели спина, руки, ноги. На другой день он опять пришел на ток, но молотил только до завтрака, а потом на работу не пошел и слонялся без дела. Зинько и уговаривал его и просил, но ничего не помогло,— Роману работа эта казалась очень тяжелой. Отец по-прежнему сердился на него и не прощал. К тому же Роману было стыдно перед односельчанами: к их труду он относился с презрением, а сейчас вынужден был трудиться наравне со всеми.

А тем временем по селу разнесся слух о его сватовстве к дочери Сучка. Узнала об этом и Левантина. Однажды она со слезами на глазах стала упрекать Романа в том, что он собирается бросить ее и жениться на дочери Сучка.

— Да что ты! — сказал Роман. — Это все ерунда! Я был тогда выпивши и для смеха пошел к Сучкам, хотел подшутить над ними. А они, чудачки, подумали, что я и впрямь на их Горпушу, эту ступу, заглядываюсь.

Он стал целовать Левантину, ласкать и убеждать, что ни на кого ее не променяет и скоро посватает — вот только службу найдет... Все это она уже слышала не раз, но... кого любишь, тому хочется верить. И она верила ему и говорила:

— Смотри же, Романушка, не измени мне! Если ты меня не пожалеешь, то кто же пожалеет? Находи поскорее службу, потому что...

Левантина умолкла, а Роман снова стал ее ласкать, и она забыла о своем горе.

Идя от нее домой, Роман думал о том, что надо бы найти поскорее службу да удрать отсюда. А то смотри еще Левантина ребенка родит, тогда хлопот не оберешься.

На другой день он отправился к соседнему помещику, владельцу большого леса. На этот раз ему повезло. Лес охраняли два сторожа. Один неожиданно оставил службу и ушел домой как раз в тот день, когда пришел Роман. Приняв во внимание его солдатский билет, управляющий взял его помощником сторожа. Роману не нравилась эта служба, но другой не было. Жить ему приходилось в лесу в одном домике с другим сторожем. Тот каждую ночь посылал Романа в лес на обход. Вначале Роман охранял лес, а потом это занятие осточертело ему, да и по Левантине он соскучился. Однажды ночью, вместо того чтобы обходить лес, он отправился к Левантине (а туда было верст восемь) и с той поры частенько навещался к ней ночью. А крестьяне села, где находилось именно помещика, которому принадлежал лес, решили подкупить Романа. У крестьян не было собственного леса, поэтому они ходили иногда тайком от сторожей воровать господский лес, а порой, если сторож был сговорчивым, скупали у него колоды по дешевке: дадут, бывало, ему рубль или полтинник, да и нарубят сколько им нужно.

Лес большой, и не сразу заметишь каждое срубленное дерево. А сторож будто бы этого и не замечал. Романа им не пришлось долго уговаривать, и он стал таким образом добывать себе деньги. Забыв всякую предосторожность, он разрешал крестьянам рубить столько леса, что стало заметно, как он убывает. А тут еще один мужик, не сойдясь с Романом в цене, выдал его. Все сразу выяснилось. Романа прогнали со службы и денег не заплатили... Правда, он не много заработал, ибо не прожил там и месяца. Пришлось снова ему возвращаться к отцу.

#### IV

Односельчане теперь не давали прохода Роману, насмехались над ним, бранили за безделье и за то, что задирает нос. Его приятели — писарь, урядник, дьячок и другие — дружили с ним до тех пор, покуда у него деньги водились и он угощал их водкой. Но у Романа давно уже опустели карманы, уплыли и сбережения матери. Романа стали называть бродягой, лодырем. Друзья отворачивались от него, встречаясь на улице. А о том, чтобы кто-нибудь пригласил его в гости, теперь он и думать не мог.

Роману было стыдно не потому, что он дорожил доверием своих друзей, нет: от обиды, что прежде они дружили с ним, а теперь отказались от него. Он все бы отдал, лишь бы раздобыть хоть немного денег и снова привлечь на свою сторону изменивших ему друзей... привлечь, похвастаться немного, чтобы заткнуть всем рты, а тогда можно и из села уйти.

К тому же он еще и обносился. У него-то и вся одежка, что на нем! Как-то ночью, перелезая через тын, разорвал свой «паджак». Хотя мать и заштопает его, но он целым не будет, раз начал рваться... вон уже и локти просвечивают... Деньги нужны до зарезу, а где их взять?

...Это произошло спустя несколько дней по возвращении Романа из лесу домой. Как-то раз лунной ночью, пробираясь от Левантины домой, он заметил на току намолоченную пшеницу. И тут у него мелькнула мысль:

«А что, если набрать пшеницы да отнести к Рябченку?»

Почему ему в голову пришел Рябченко, он и сам не знал. Просто почему-то вспомнил о нем.

Рябченко... Был у них такой в селе. Хозяйством он мало занимался, иногда сапожничал, а больше всего, поговаривали люди, якшался с ворами. Точно доказать это никто не мог, но каждый из односельчан знал, что если он сам и не ворует, то перепрятывает краденое. Не раз у него делали обыск, но ничего не обнаруживали.

Вот о нем и вспомнил Роман. Этот купил бы пшеницу, если ему принести. Конечно, оно как будто бы и воровство... а впрочем... какое там воровство? Ведь он один из трех братьев, и ему тоже принадлежит какая-то доля. Разве он повинен в том, что отец и брат Денис не выделяют ему его части? Если они не дают, он может и сам взять.

Так рассуждал Роман, лежа на сеновале, а потом встал да и пошел в сарай искать мешок. Нашел мешок, подошел к куче намолоченной пшеницы и остановился. Взять или не взять? Эх, была не была!..

Наполнил мешок пшеницей и хотел было уже нести к Рябченку. Да нет же, нужно вначале спросить его...

Украдкой, осторожно перелезая через тыны, по огородам прошел к хате Рябченка. В доме было уже темно. У Романа тревожно забилося сердце, когда он слегка постучал в окно. Никто не отзывался. Он постучал сильнее.

— Кто там? — послышался голос из хаты.

— А выйди-ка, дяденька, сюда!

Немного погодя дверь открылась и просунулась лохматая голова.

— Кто это? Это ты, Роман?

— Я.

— Чего тебе?

— Пусти в сени, я не хочу стоять на виду.

Лохматая голова спряталась, и Роман вошел в темные сени.

— Говори, зачем пришел?

— Хочешь пшеницы?

Рябченко не сразу ответил. Он понимал, что это за пшеница, но колебался, — сомневаясь, не подведет ли его Роман. Может быть, с умыслом пришел, чтобы урядника потом привести? Темная фигура Романа ничего ему об этом не говорила, а лица не видно было.

— Какой пшеницы? — спросил он наконец.

— Из дому.

— Не врешь?

— Зачем бы это я стал врать?

Рябченко, немного подумав, согласился:

— Хорошо!

— По сколько дашь?

Рябченко назвал полцены.

— Дешево.

— Найди подороже!

Роман знал, что дороже он не продаст, и сказал:

— Хорошо, сейчас принесу.

— Немного погодя, когда луна зайдет!

— Да она уже заходит.

Покуда Роман вернулся домой, луна и в самом деле скрылась.

В эту ночь Роман отнес к Рябченку три мешка пшеницы, и у него в кармане зазвенели деньги. Тогда он спокойно уснул.

На другой день Денису показалось, что пшеницы малость поубавилось, но затем подумал, что, наверное, ошибся, и никому об этом не сказал.

Роман купил себе черкасиновый пиджачок, и у него ничего не осталось из денег, вырученных за пшеницу. Опять надо было идти к Рябченку. Но в этот раз на току уже не было зерна, и пришлось ему взять из кладовой, из закромов, подобрав к замку старый ключ. С этим ключом он и после заглядывал в кладовую, но делал это осторожно, чтобы никто не видел.

Однажды утром старик Сиваш налаживал дверь в сарае. Солнце еще не взошло, было зябко, и он надел кожух. А когда солнце поднялось и немного потеплело, он снял кожух и забыл его в сарае. Там он пролежал весь день.

На другой день Роман собрался идти в какое-то поместье искать службу. Поднялся рано, все еще спали. Было прохладно, а его поношенное пальтишко висело в хате. Спал он в сарае — и вдруг увидел возле дверей отцовский кожух... надел его.

В имении его не приняли на работу: там уже знали, каким он был сторожем в лесу.

— Эх, жисть распроклятая!.. — сокрушался он, возвращаясь домой. Солнце пригревало, кожух пришлось снять с себя и нести в руках. — И на кой черт я понал-

расну ноги бил? Да еще и кожух тащи! Пойду-ка в город и продам его, чтобы не зря ходить! Никто ведь не видел, как я надевал его.

Повернулся и пошел в город. От имения туда было версты четыре. Он быстро прошел этот путь и направился прямо на базар. Там евреи торговали поношенной одеждой, сидя каждый на ворохе свиток, кожухов, поддевок, пиджаков, штанов и других старых лохмотьев, лежащих на земле или на грязном рундуке. Покупателей не было, одни евреи и еврейки бойко тараторили друг с другом. Роман подошел к одному из них.

— Еврей, купи кожух!

Тот посмотрел на кожух.

— Сколько хочешь?

— Десятку давай!

— Отдай его своему отцу, может быть, на портянки пригодится.— И он отбросил кожух в сторону.

— А ты сколько дашь?

— Два.

— Пускай твой отец подавится ими!

Роман пошел к другому еврею. Но первый еврей по своему что-то сказал второму.

— Ну, се такой козух, со одна смусина от другой смусины, как наш город от Одесс.

— Что ты врешь? Он еще совсем новый, мало ношенный.

— Если бы новый, я бы дал тебе за него десять рублей, а раз он такой старый, как беззубый пес, я дам тебе за него десять злотых.

С трудом продал Роман почти новый кожух за три рубля. Хорошо пообедал, выпил пива и отправился домой.

А дома отец утром стал искать кожух и вспомнил, что забыл его в сарае. Пошел туда, а его там нет.

«Наверно, этот лодырь надел», — подумал Сиваш и не стал больше искать.

Но Роман пришел вечером в одном пиджаке.

— Ты разве не надевал кожух? — спросил его отец.

— Стану я надевать ваши кожухи! На кой черт он мне нужен!

Тогда все бросились искать пропажу, один лишь Роман спокойно сидел. Не найдя кожуха, старый Сиваш стал ругать Романа:

— Если ты, лодырь, ничего не делаешь, то, уходя из сарая, хоть дверь закрывай! Наверно, собаки затащили, а кто-нибудь потом и подобрал.

Роман рассердился:

— Что я, обязан за всеми смотреть и после каждого убирать? Сами бросают где вздумается, а я отвечаю!

Все были очень удивлены: кто бы это мог украсть? Кажется, нет и поблизости вороватых людей, а украли.

Спустя некоторое время Роман снова отличился. В сенях висел огромный кусок сала — пуда два. Дверь в сенях заперлась на засов. Ночью он потихоньку открыл засов, полез по лестнице на чердак, снял сало и, не мешкая, потащил его к Рябченку. Но тот не захотел взять его:

— Будет обыск, может быть и у меня тоже, найдут... Сала не хочу, это не пшеница. Спрячь где-нибудь, пусть полежит, потом возьму.

Роман ушел от него злой. Ишь ты, возьмет, когда все утихомирится!

А ему сейчас деньги нужны! Вот теперь самому придется отнести в город, продать подороже. Роман был сердит на Рябченка за то, что тот дешево платил.

Однако не уносить же сало обратно. Нужно где-то его спрятать. Где же? Может, в овраге направо от дороги, как идти в город? Там есть одна пещера. Недавно Роман видел ее, когда бродил по оврагу. Потом можно будет незаметно взять сало и отнести в город на базар.

Роман направился туда не по улице, а через огороды. Он быстро отмахал полверсты от села к оврагу. Нашел знакомую пещеру, положил туда сало, прикрыл его ветками, сухими листьями. Потом поспешно вернулся домой.

Утром в доме Сивашей переполох: сало украли! Мать даже горько заплакала, — ей было жаль пропажи: такое хорошее и толстое сало! Отец тоже встревожился, но никак не мог понять: откуда воры появились? Один Денис молчал, хотя и страшно злился, о чем-то думая. Роман пока что преспокойно спал.

Зинька послали за старостой. Пришел староста с понятными. Осмотрел он сени и подтвердил, что сала не стало...

— Вот тут висело? — расспрашивал староста.

— Тут и висело.

— И утащили?

— Да, утащили, утащили, чтоб у них руки поотсыхали! — проклинала Сивашиха.

— Наверное, сало утащил такой человек, что и спрятать сумеет его хорошо! — сказал староста.

— Да, наверно, — добавил кто-то из понятых.

— В таком случае нечего и искать! — И староста повернулся, направляясь к выходу.

Но Денис запротестовал:

— Как же это? Такой убыток причинили, и так оставить, не искать?

— Но где же ты его будешь искать? — удивленно сказал староста, которому не хотелось утруждать себя такими делами.

Денис настоял на том, чтобы произвели обыск у Рябченка. Пригласили урядника, пошли к Рябченку. Тот ужасно рассердился, стал кричать: как они смеют «порочить» его, не разрешал производить обыск и требовал, чтобы Денис поставил в заклад десять рублей, а тогда уж пусть ищут. Денис был уверен, что сало у него, и согласился поставить в заклад деньги; но десяти рублей при нем не было, и он поставил только три. Хитрый Рябченко рад был и этому.

Произвели обыск. Обшарили все в хате, в хлеву, в огороде — всюду. Ничего не нашли. Денис сам по нескольку раз переворачивал лохмотья и смотрел во все закоулки — и все-таки сала не нашел.

Рябченко радовался: три рубля остались ему — неожиданная прибыль! А Денис пошел домой совершенно расстроенный — мало что пропало сало, пропали и три рубля. Дома он ни с того ни с сего набросился на отца:

— Как хотите, батя, а я так дальше жить не буду! Зачем вы потворствуете Роману? Разленился, ничего не делает, да еще и ворует.

— Как это — ворует? — нахмурившись, спросил отец, предчувствуя новую беду.

— А так, что это дело рук Романа... да, наверно, не только сало, но и кожух.

— Как это Романа? Разве у Романа что-нибудь нашли? — дрожащим голосом спросил отец, сделавшись еще мрачнее.

— Хотя ничего и не нашли, да я знаю, что его рук не миновало...

— Как ты смеешь так говорить? — закричал отец, вскочив со скамьи.

Денис посмотрел на него и даже испугался: отец весь дрожал и, сжав кулаки, стоял перед ним бледный, глаза у него горели от гнева.

— Как ты смеешь такое говорить о своем брате! В нашей семье никогда не было воров и не будет, слышишь! А тебе захотелось нашу семью опозорить?!

Денис умолк, видя, что расстроил отца.

— Пускай будет по-вашему, но почему мы с женой должны работать на лодыря? Прогоните его или пусть работает, а нет — выделите мне мою часть. Что это в самом деле?! Лодырю потворствовать! Это уж совсем надо потерять рассудок.

— Замолчи ты, шут гороховый! — снова вскипел отец. — А то я тебя проучу, да так, что остатки ума потеряешь! Ишь умнее отца стал! Сам знаю, что делаю.

В это время вошел Роман.

— Послушай, Роман, что я тебе скажу! — гневно начал отец. — Довольно тебе лодыря гонять! Или работай, или уходи отсюда куда знаешь!

— Ну что ж, и пойду! — ответил Роман спокойно, точно этого он ждал. — Пойду в город — там поскорее найду себе службу. Смотри, как разошлись!.. Обойдемся и без вас!

Повернулся и вышел из хаты.

Он знал, что когда-нибудь Денис подговорит отца выгнать его из дому, и теперь был уверен, что старик действовал по его наущению. Да не такая уж это большая беда. Пойдет он в город, продаст сало... Поживет малость, пока службу найдет... А если не найдет... Там виднее будет, что делать!..

Но Денис этим не ограничился. Он слишком был зол на Романа и за сало, и за пропавшие три рубля. Пошел к Струку и к своему куму Терешке Тонконоженку и рассказал им все, что думал о Романе. И они втроем решили проследить за ним. Куда тот ни пойдет, кто-нибудь из них тут как тут. Отец и Зинько ничего не знали об этом, потому что Денис велел не говорить им.

Дня через два Роман решил уйти в город. Украдкой собрался и, не попрощавшись ни с кем, даже с матерью, отправился в путь. По тому, как Денис себя вел, Роман догадывался, что тот подозревает его в хищении сала,

и боялся, чтобы брат не выследил его. Роман предполагал, что, пока дома узнают об его уходе, он уже будет на базаре.

Но враги Романа три дня ходили за ним по пятам. И Струку удалось проследить, когда он уходил из дома. Тотчас же он прибежал к Денису.

Роман еще не вышел из села, а они втроем, пробравшись напрямик, уже засели в кустах в овраге.

Не долго пришлось ждать: Роман направлялся прямо в овраг. Двое остались на том же месте, а Струк осторожно пополз меж кустами следом за ним. Струк был рьяным охотником и умел в лесу подкрадываться к зверю.

Роман шел смело, ничего не боясь, а Струк издали следил за ним. Вдруг Роман остановился, огляделся — никого нет. Положил на землю свою котомку и стал отбрасывать ветки от пещеры. Отбросил все и вытащил большой сверток. Струк догадался, что это сало, и быстро побежал к своим приятелям.

Они притаились в кустах: Роман должен был пройти мимо них, потому что они сидели невдалеке от дороги, ведущей в город.

Роман вышел на дорогу, огляделся по сторонам — никого нет! — и быстро зашагал.

Трое друзей вскоре услышали его шаги, вот уже показался и сам Роман: идет и что-то мурлычет себе под нос. Сало за плечами.

Внезапно они окружили его.

Пораженный, Роман остановился и от неожиданности не знал, что делать.

— А куда это ты, Роман, сало несешь? — насмешливо спросил Денис. — Может, пособить тебе?

Роман размахнулся своим огромнейшим кулаком и залепил Денису в ухо, у того даже искры из глаз посыпались. Денис зашатался и чуть было не упал, а Роман тем временем, бросив сало, кинулся бежать по дороге.

От неожиданности Денис на миг оторопел, не соображая, что произошло. Но тотчас оглянулся.

Впереди бежал Роман, а за ним следом, нагоняя его, Струк, чуть позади Терешко. Денис поспешил им на выручку.

Но Роман бежал очень быстро, и вскоре Терешко и Денис остались далеко позади. Только Струк не отста-

вал, подавшись вперед всем своим длинным туловищем, откидывая назад длинные ноги.

Бежал он не помня себя. Так он когда-то гнался за подстреленным волком: не было времени перезарядить ружье, чтобы еще раз выстрелить в него, и он, напрягая все свои силы, старался нагнать окровавленного зверя, добить его руками, размозжить ему прикладом голову. Так он бежал и теперь, сам не понимая, не думая о том, зачем ему Роман и что тот ему сделал. Бежал и кричал:

— Не убежишь!.. Задушу!..

Перед глазами у него быстро мелькали пятки и прижатые к бокам локти! Эти локти становились все ближе и ближе... Струк отчетливо слышит, как тяжело дышит беглец... как запыхался... Напрягает все свои силы — вот-вот настигнет; но и Роман ускоряет бег... Продолжалось это недолго. Собрав последние силы, Струк бросается на спину Роману, сбивает его с ног. Но тут же Роман вывернулся и вскочил на ноги. Струк, лежа на земле, обеими руками схватил его за ноги. Роман покачнулся и снова упал, они сцепились и повалились в дорожную пыль.

— Не убежишь!.. Не убежишь!..— хрипел Струк.— Не пушу!

— Чего тебе надо? Что я тебе сделал? — хрипел Роман, вырываясь.— Пусти!

Но тут еще двое навалились на него и прижали к земле.

— А, ты вот, значит, что!..— ревел разъяренный Денис.— Красть!.. Драть!.. Удирать!.. Вор!.. Убийца!.. Вот я тебе покажу!

Роман высвободил правую руку и что есть мочи стал колотить своих преследователей. Тогда они втроем так прижали его, что он даже застонал, затем поясом связали ему руки сзади.

— Теперь беги! — издевался над ним Денис.— Да только не в город, а в волость!

Поставили его на ноги. Все четверо стояли запыхавшиеся, обессиленные, в разорванной одежде, с окровавленными, грязными лицами. В драке Денису разбили нос, и он кровью измазал всех.

— Пошли! — толкнул Денис Романа.

— Не пойду!

— Пойдешь, а то потащим по земле, как собаку!

— Ну и тащите! — И Роман упал на землю.

Денис схватил за пояс и потащил брата по дороге, у того даже руки вывернулись. Роман заохал.

— Вставай, а то хуже будет!

Роман поднялся. Направились к селу. По пути подобрали брошенное сало. Терешко шел впереди и нес сало. За ним плелся Роман, а Струк и Денис держали его за пояс, которым были связаны руки. Шли молча.

Вот и село.

— Куда же пойдем? — спросил Струк.

— В волость, — ответил Денис.

— А может, к отцу его? Пусть проучит! — посоветовал Терешко.

— Он такой, что проучит! — ответил Денис. — В волость!

И решили идти в волость. Удивленные люди останавливались, глядя на эту странную процессию, и ничего не могли понять. Кое-кто подходил, расспрашивал, но Денис, Струк, Тонконоженко и Роман спешили.

Роман не проронил ни слова. Но когда подошли к волости и он поднялся на ступеньки, то повернулся к Денису:

— Эх ты, изверг! — И плюнул ему в лицо.

Денис бросился было к нему, но тут же остановился.

— погоди, увидим, что ты в холодной запоешь! — сказал Денис, вытирая лицо.

Они вошли в волостное правление.

Там сидели писарь, староста и урядник. Все опешили, увидев избитого Романа и его разъяренного брата. Но Денис, не обращая внимания на них, рассказывал, что они поймали вора, и требовал, чтобы составили протокол, посадили преступника в холодную. Говорил так, словно речь шла не о брате, а о совсем постороннем, незнакомом ему человеке.

— Что ты, Денис? Бога не боишься, людей не стыдишься! Брата?! — укорял его староста.

— А хоть бы и брат, если он такой непутевый...

Тогда заговорил Роман: они напали на него, избили, покалечили!.. Денис всегда чертом на него смотрел. И сейчас хочет опозорить... Называют его вором! А откуда им известно, как это сало оказалось у него? Может, отец сам ему дал.

Волостные начальники и урядник не знали, как поступить. Им было жаль Романа, да и противно слушать Дениса. Однако все же это воровство. На помощь пришел писарь:

— Закон гласит: если сын взял что-нибудь у отца, а тот его прощает — судить нельзя.

— Это точно, — добавил урядник.

— Коль так, чего думать? — вмешался староста. — Это не наше дело, пусть сам отец решает. Сторож, развяжи его!

Сторож вместе со Струком развязали несчастного. Струк теперь чуть поостыл и ругал себя за то, что впутался в такое дело. И Терешку как-то неловко было.

— Мы все видели и слышали; если понадобится — будем свидетелями, а протокол составлять не следует, — решил староста. — Уходите с богом!

— Спасибо вам, господин староста! — поблагодарил Роман и тотчас вышел из волости.

Опустив головы, следом за ним вышли Струк и Терешко, а позади всех Денис.

Он злился на волостное начальство. Голова у него разрывалась от боли, окровавленное лицо распухло и напоминало ему о Романи.

Когда Денис вошел в дом, там уже были все в сборе. Зинько так и вскочил с места, увидев Дениса.

— Денис! Что с тобой?

Не отвечая ему, Денис произнес, обращаясь к отцу:

— Это ваш любимый сыночек так угостил.

— Кто? Роман? — спросил отец. — Снова дрались? За что еще?

— А за то, что мы — кум Терешко, Струк и я — поймали его в овраге. Это он украл сало.

У старика Сиваша задрожали руки.

— И били его?

— Или он нас — пока мы ему руки не скрутили.

— Зачем же вы ему руки скручивали?

— Чтобы отвести в волость. Жаль только, что староста не захотел посадить его в холодную.

— И ты вел его связанным... через все село в волость?

— А что же, я нес бы его на себе или вез?

И все посмотрели на старого отца. Он поднялся, бледный, дрожа как лист на ветру, и замахнулся на Дениса.

В хате стало так тихо, словно все перестали дышать.

— Будь же ты до конца своих дней...

Но слова проклятия застыли на устах несчастного отца, и он, сгорбившись, опустил на стол голову, заплакал старческими, тяжелыми, точно камень, жгучими, словно огонь, слезами.

— И так опозорить меня!.. Весь наш честный род опозорить!.. Брата не пожалел!.. Хотя бы меня, старика, пожалел!.. Мою старую, седую голову осрамил, покрыл позором!..

И умолк. Слышно было, как всхлипывала мать, стоя в уголке возле дверей. По лицу Зинька катились слезы...



*Часть вторая*

В КРУГУ СВОИХ ДРУЗЕЙ



I

Роман, выйдя из волости, снова отправился в город. Никогда еще он не был так зл на брата и односельчан, как сейчас.

Его, не простого мужика, опозорили, унизили перед всем селом!

И все из-за него, проклятого Дениса! Если бы он повстречался ему здесь, на дороге, задушил бы, раздавил бы его, как гадину!

Отец и Зинько тоже хороши, потворствуют такому хаму, как Денис. Могли же его, Романа, отделить, отдасть ему то, что принадлежит ему по праву, и он ушел бы от них.

А сейчас!..

Да, все они, все ему в душу наплевали!.. Все эти мужланы проклятые!

Он повернулся к утопавшему в зеленой долине селу,— оно выглядывало из-за холма своими соломенны-

ми крышами, белыми дымоходами, разбросанными среди ярко-зеленых густых верб и темных листьев плодовых деревьев. Поднял кулак, и сквозь стиснутые зубы вырвался какой-то полужверинный, полный яростной злобы крик. Повернулся и быстро-быстро зашагал в сторону города.

Шел долго и, наконец немного успокоившись, стал думать о своем будущем.

Что он будет делать в городе?

В кармане у него звенело несколько монет, оставшихся от предыдущих краж, однако ненадолго их хватит.

Эх! Чему быть, того не миновать! Будет стучаться всюду — где-нибудь да откроют.

Но когда Роман, войдя в город, проходил по узенькой улице, поглядывая на небольшие одноэтажные домики, обшитые досками и покрашенные серой краской, он не знал, в какие именно двери надобно стучаться. Все они в одинаковой степени были неприветливыми, закрытыми для каждого постороннего человека.

И он шел все дальше и дальше, пока не добрался до небольшого грязного базара, заставленного навесами и рундуками, окруженного большими и маленькими бакалейными лавками и магазинами. Эти лавки и магазины натолкнули его на мысль: а что, если попроситься в приказчики?

Недолго думая, он тут же зашел в большой бакалейный магазин. Там было несколько покупателей, вокруг которых суетились приказчики, торопливо раскладывая перед ними товары, чтобы не задерживать их. Один подбежал к Роману и весьма учтиво спросил:

— А вам что угодно?

— Да мне хозяина.

На лице приказчика отразилось разочарование, как только он убедился, что это не покупатель. Он безразлично махнул рукой в сторону высокого худого мужчины, стоявшего за кассой:

— Вон тот!

Роман подошел к хозяину, поздоровался.

— Что вам угодно?

Роман начал было говорить, но не успел еще закончить, как хозяин замахал руками:

— Не надо! Не надо! У нас все приказчики есть.

Роман вышел из этого магазина и направился к другому. Там хозяин спросил:

— А рекомендации есть?

Их у Романа не было.

— А по какой части вы служили?

Роман сказал, что швейцаром.

— Да нет, по торговой части... в бакалейном или в мануфактурном?

— Да я по торговой совсем не служил.

— Э, так вы цам не подходите,— ответил хозяин и отвернулся.

Роман снова ушел ни с чем. Но он решил попытать счастья и стал заходить в каждый магазин по очереди. Большинству магазинов приказчики не требовались, а если ему и не отказывали, то, выяснив, что он в торговом деле не разбирается, сразу же прекращали разговор. Обойдя таким образом около двух десятков магазинов, Роман потерял всякую надежду поступить здесь на службу. Пришлось ему распрощаться с мыслью стать приказчиком.

Усталость и голод давали себя знать. Купил на базаре хлеба, тут же присел на рундуке и стал его есть. На базаре — ни души, уже поздно, да и день не базарный. Изредка по грязной площади пройдет человек, но никто не занимал Романа. Он мог есть, как ему хотелось, не спеша, и думать сколько угодно.

А думал он все об одном и том же. Завтра пойдет по палатам и прочим учреждениям: не нужны ли им сторожа. Не очень-то хотелось быть сторожем, но все-таки это лучше, чем ничего. Пошел бы и сегодня, да поздно: все служащие палат уже разошлись по домам. Чтобы как-то убить время до вечера, ходил по городским бульварам, читал на столбах афиши и другие объявления и расспрашивал, где находится «ночлежный дом». Скоро стало смеркаться, нашел и тот «дом», в котором можно было переночевать за три копейки.

Не понравилось ему там. Большая темная и грязная комната скорее всего походила на тюрьму. Стены когда-то были оклеены обоями, от которых теперь местами остались одни лишь клочья. Ободранные стены были грязные, заплесанные, усеянные следами от раздавленных клопов, Роману противно было смотреть на них. Черные, грязные нары прогнили. В окнах стекол почти не было: видимо, их часто разбивали, и хозяин закрыл окна досками. Посреди комнаты и вдоль стен стояли

широкие топчаны с деревянными подголовниками. Часть из них совсем не была занята, а на других, покрытых какими-то лохмотьями, сидели и лежали люди. Под черным от сажи потолком висела плохонькая лампа и тусклым светом освещала это пристанище человеческой нищеты.

Роман облюбовал себе свободный топчан в углу. Снял пальто, постлал его и молча лег. Еще не стемнело, и он лежа стал присматриваться, куда это он попал. Здесь были старики, совсем седые деды, здоровые сильные люди и парни лет шестнадцати — семнадцати. Людей в простой крестьянской одежде было мало, — все больше в городском одеянии. Одни сидели или лежали в одиночку и группками, разговаривали, — очевидно, знакомые. Вон рядом трое готовятся ужинать: разложили перед собой на какой-то тряпке хлеб и колбасу, а один из них ловко выбивает из бутылки пробку, ударяя ладонью по донышку. Затем он прикладывает бутылку к губам, и Роман даже слышит, как забулькала водка. Отпив немного, передает следующему... И Роману страх как захотелось выпить рюмку водки, закусить колбасой.

— Ты чего здесь? — неожиданно прогремел над ним ужасный бас.

Роман приоткрыл глаза и увидел перед собой здорового детину, одетого в летнее коричневое, засаленное и рваное, длинное пальто. На голове у него помятая черная шапка. Широкое лицо и борода.

— Ты чего здесь лег? — снова гаркнул новый гость.

— Потому что тут место было, — ответил Роман.

— Эх ты болван неученый, стультусяка халдейский! Разве ты не знаешь, что это мое место, а?

— А откуда бы я знал? — ответил Роман, неохотно поднимаясь. — Я сегодня тут в первый раз.

— В первый раз! — передразнил его верзила. — Нечистая мать, наверное, тебя пригонит сюда еще раз, миллион раз, — так знай, что на это место у меня есть давность земская, понимаешь? Я тут ночую, я, Патрокл Фигуровский!

— Почему это бурса наш развоевался? — спросил кто-то из противоположного угла комнаты.

— Сердится! — добавил второй.

— Замолчите вы, сусы тупорылые! До сих пор не можете кумекать, где бурса, а где семинария! Бурса!..

— Ну ты уж, хвигура! — произнес первый голос.

— Да, хвигура! А знаешь ты, азинус клапоухий, что значит хвигура? Вид, образ,— все равно что образец. Понимаешь ты: образец, пример для всех, сервусы вы червяковские!

Хохот заглушил слова Патрокла Фигуровского. А он, не обращая на это внимания, стал укладываться на своем топчане, поскольку Роман перешел на другой. Теперь Роман рассмотрел его получше. У него была огромная голова с русыми кудрявыми волосами, со взлохмаченной бородой, добродушное, одутловатое лицо с толстым носом, красное от выпитой водки. Роман разглядывал бы его еще, но новый гость хотел спать, потому что у него сильно шумело в голове; он лег, отвернулся к стене и тут же захрапел так, что один спящий человек вздрогнул от испуга.

А Роман долго не мог уснуть — то ли от дум, то ли от всевозможных паразитов, что всю ночь кусали его. Спал он плохо и очень быстро проснулся. Вскоре стали подниматься и остальные ночлежники. Он поторопился умыться и выйти на улицу.

Идти по делам было еще рано. Роман снова пошел на базар, купил еды и позавтракал. Проболтавшись час-сов до десяти, направился в «палаты».

Здесь рекомендаций не требовали: достаточно того, что он был солдатом, ибо в сторожа брали только их. Но на его беду в небольшом губернском городе таких «палат» было немного, да и в них все места заняты.

Он проходил весь день и вечером снова вернулся в ночлежку, потеряв всякую надежду получить работу.

В ночлежке находились и новые гости, и те, которых Роман видел вчера; только не было Патрокла Фигуровского. Усталый Роман пошел на свое вчерашнее место и сразу же лег.

К нему подошел парень — высокий, безусый, в поношенном пиджаке и в штанах с заплатами на коленях. Лицо у него совсем молодое, но заспанное, обрюзгшее, с огромным синяком под глазом.

— А что, земляк, не тутошний? — спросил.

— Нет.

— А откель?

— С Дыблева.

— А! Наверно, службу ищешь?

— Да, службу...

— Ну-ну!.. Ты еще поищешь!..

— Разли трудно?

— А то нет? Я вот сам уже около месяца ищу...  
Истратился, оборвался весь...

Они разговорились. Роман рассказал парню о своих городских приключениях, а тот, в свою очередь, поведал ему, что бывал там-то и там, но нигде работы не нашел,— хоть пропадай с голоду! И сегодня он еще крошки во рту не имел.

— Нет ли у тебя, земляк, хоть гривенника? Одолжи, пожалуйста! Заработаю — отдам. А то на пустой желудок не тово...

Роман и сам был голоден.

— А где тут можно купить чего-нибудь закусить? — спросил.

— Можно! И закусить и выпить! — сказал парень.—  
Давай сбегая!

Роман вытащил четвертак, чтобы тот купил на двадцать копеек еды и пятачок сдачи принес. Парень тут же побежал, однако долго не возвращался. Принес селедку и булку, но без сдачи.

— А пятачок, прости, земляк, и сам не знаю как выпустил из рук... вот здесь, во дворе. Искал-искал, темно, не найдешь. Пускай уж завтра поншу...

— Да уж пушай,— сказал Роман, которому вдруг показалось, что от парня раньше не пахло водкой и что его пятачок лежит теперь не во дворе, а в шкатулке монопольки.

Разрезали на кусочки селедку, разделили пополам булку и стали есть.

— О дикие варвары! — воскликнул неожиданно появившийся возле них Патрокл Фигуровский.— Едят селедку, не выпив перед этим! Еще у древних хвилософов сказано, что рыбка любит воду. И если не можешь дать ей воды, дай хоть водки.

Он протянул свою большую лапу, схватил кусок селедки и бросил в свой огромный рот. Затем протянул руку снова, отломил половину булки и отправил ее следом за селедкой.

— А зачем сами едите, коль водки не пили? — запротестовал недовольный его действиями парень.

— Дурак еси! — ответил Патрокл, чавкая на всю комнату. — Водка там уже есть, и посему пусть эта тварь ползет прямо в мою утробу.

И снова кусок селедки исчез за густой щетиной его рыжих усов.

— Не гневайся, земляк, — сказал он Роману, — что без разрешения беру, ибо довлеет пища алчущему одной. И ежели ты этого сервуса червяковского и неключимого кормишь такой вкусной селедкой, так мне уж и бог велел.

— Присаживайтесь! — сказал Роман.

Патрокл сел на топчан и подмигнул парню:

— Ушлый парень! Уже напал на своего!

— Где там напал! — сердито ответил парень. — Одолжил у него денег, пошел и купил.

— Ну, ну, знаем! — перебил его Патрокл. — Одолжил, ибо работы нет, истратился... А сколько потерял?.. Он постоянно ищет работу и теряет чужие деньги — себе в карман, — сказал он, обращаясь к Роману. — Много твоих потерял?

— Пятачок, — ответил Роман.

— Пятачок? Дурак, что потерял такую мелочь! Да он и по рублю терял. Однако надобно торопиться, а то сей канис ненасытный сам все пожрет. — И он снова положил себе в рот кусок селедки и булки. — Эх, черт побори! Все-таки рыба требует воды! Лукаш! Получай три золотых: бутылочку и закусочки! Если только потеряешь хоть одну копейку — не получишь ни крошки, да еще и шею намылю!

Лукаш ушел и теперь вернулся очень скоро, неся кусок колбасы, хлеб и водку. Начали пить и есть. Разговорились с Патроклом, и Роман рассказал ему о своих хождениях в поисках работы.

— Жаль, амикус, тебя. Но не скорби и возвеселись: страдают и лучшие, чем ты. Погляди на меня! Окончил два класса семинарии, по-гречески и по-латыни читал, думал своей ученостью превыше всех превозвестись — и пропал!

— Почему же вы пропали? — спросил Роман.

— Почему?.. Ты знаешь, как меня зовут?

— Знаю...

— Ну вот потому...

— Но почему?

— А потому... Потому, что это имя героическое.

— Как — имя героическое?

— Тебе этого не понять. Герой был такой... Трюю покорял и много славных дел свершил... Так и я, именем его названный, всегда был склонен к героическим поступкам.

— И совершали?

— Стультус!.. С Вакхом в компании избил рожу инспектору иезуиту и за это влачу жалкое существование до сих пор. И вот окунулся в эту гнусную бездну, где кишат твари, подобные сей богопротивной роже! — И он ткнул пальцем прямо в лицо Лукаша. — Но не распускай нюни, ибо это низко и недостойно. Если испытаете все и ничего не найдешь да решишь наплевать на этот город — приходи ко мне, и Патрокл Фигуровский даст тебе достойную работу.

Роман удивленно посмотрел на ободранного Патрокла Фигуровского и подумал, что навряд ли можно на него рассчитывать. Тот понял его взгляд.

— О азинус клапоухий и Фома неверный! Не тарашни свои зенки на мою костюмировку, а смотри на дела мои — и будешь подобен мне и с голоду не пропадешь!

Однако пока что дела героя с плохой костюмировкой ограничились тем, что он больше всех прикладывался к рюмке и к закуске, подобрал буквально все, что можно было подобрать, а потом захрапел, как и вчера, на своем топчане с «земской давностью».

Еще три дня Роман искал работы, а на четвертый у него в кармане остался только пятак. Единственный выход был у него: пойти на базар.

Изо дня в день в одном и том же месте на базаре стояла кучка людей. Все они поджидали случайного заработка. Сельские парни и девушки, пришедшие в город искать работы, становились рядом с городскими кухарками и прислугами, которые, оставив старых хозяев, хотели наняться к новым. Несколько пожилых мужчин с топорами за поясами — это дровосеки. Тут же стояли и городские оборванцы бедняки из таких же ночлежных домов, как тот, в котором ночевал Роман. И они ждали, но уже не постоянной работы — кто их станет нанимать? — а поденной или какой-нибудь случайной, чтобы хоть немного заработать. Одежда сельских девушек ярко-зеленого, синего и красного цветов, свитки, чумарки,

шапки и брыли парней смешались с ободранными лохмотьями, неряшливой, засаленной одеждой городских жителей. Вся эта большая группа людей слонялась между рундуков на покрытой мусором, объедками и всякими отбросами площади, — они стояли, сидели, порой лежали на пустых рундуках. Девушки громко тараторили между собой, парни подталкивали девушек, а те громко и весело визжали. Городские кухарки и прислуги в кофтах и в пелеринах держались в стороне, осуждали и бранили на чем свет стоит своих бывших хозяек, поучали друг друга (а порой и сельских девушек), как увеличивать стоимость того, что они покупают на рынке... Было шумно и весело; если даже у кое-кого и скребли кошки на душе, они старались не выдавать своих переживаний. Но порой можно было услышать, как сетовали они на свою горькую судьбу, на то, что нет работы, нечего есть, да к тому же они еще и больны... В большинстве своем эти люди были с бледными, изможденными лицами. Оборванцы порой тоже вмешивались в разговор, но больше молчали; иногда они приносили бутылочку «монопольки» и тут же, усевшись на рундуке, а то и просто стоя, выпивали водку, закусывая гнилой колбасой или вонючей селедкой. Иногда к девушкам и кухаркам подходили барыня или барин — выбирали себе прислугу по вкусу и начинали с ней договариваться; если приходили к соглашению, то забирали ее с собой. А вот те, кто оставался, кого не удостоили внимания, бранили барина или барыню, называли их слепыми и дураками, потому что, дескать, взяли самую худшую... Порой приходил кто-нибудь нанимать дровосеков — пилить или рубить дрова, иногда приглашали и оборванцев — чаще всего переносить что-нибудь тяжелое. Дровосеки здесь стояли ежедневно. И оборванцы тоже. Каждый день они бродили по базару, выслеживая беспечных барынь и кухарок, деньги которых тотчас переключивали в их руки. А затем оборванцы исчезали на несколько дней. Многие стояли и ждали, авось кто-нибудь их наймет. А пришельцы из сел зачастую постоят, постоят и, потеряв всякую надежду получить работу, возвращаются к себе домой.

Вместе с этими людьми должен был предлагать свои услуги и Роман. Теперь он уже думал о том, чтобы найти хоть какой-нибудь поденный заработок, ибо ему не на что было купить хлеба. Но судьба оказалась немилосерд-

ной к нему: он простоял на бирже весь день, с утра до вечера, а работы не нашел.

Пятак проел, а за ночлег нечем было платить. Роман подумал и направился в большой городской сад.

«Пересплю где-нибудь в кустах! — решил он. — Покуда еще не холодно».

Отыскивая в саду укромный уголок, он наткнулся на довольно большое строение, стоявшее посреди очищенной площадки. Оно было сделано из досок, с одной стороны совсем без стены — только перила. Роман перескочил через перила и, поднявшись на помост, вошел в глубь помещения. Он старался идти тихо, чтобы не услышал сторож. Но в темноте ничего не было видно. Вдруг он почувствовал, что падает вниз.

Упал, но больше испугался от неожиданности, чем ушибся. Поднялся на ноги и стал ощупывать вокруг руками. Он находился в каком-то дощатом неглубоком коридоре. Выбрался из него легко и осторожно пошел дальше. Подошел к какой-то двери и открыл ее. Зажег спичку: небольшая дощатая каморка, словно чуланчик, вдоль стен скамыи.

Решил заночевать здесь. Он лег на скамью, положив под голову шапку.

Ночью несколько раз просыпался, не соображая, где находится. Только проснувшись утром, увидел при свете, что это был летний театр, теперь уже заброшенный, пустой, старый и ободраный.

Здесь будет его пристанище и впредь, до тех пор пока не заработает денег для лучшего ночлега. Сегодня он продал за три рубля свое пальто. Осень была сухой, теплой — пока можно и без пальто прожить, а потом... что будет! Купил за рубль топор и вышел на рынок... Его сразу же наняли колоть дрова. Роман страшно обрадовался. Но покуда он нарубил гору дров, заработав полтинник, у него так заболели поясница и руки, что он эту работу ругал последними словами. Вечером он пошел в ночлежный дом, встретил там Лукаша и с горя проел и пропил с ним весь свой дневной заработок.

Каждый день Роман стоял на толкучке, но не всегда его нанимали на работу. В те дни, когда не было заработка, Роман жил за счет денег, оставшихся от продажи пальто. Так продолжалось недели две-три.

У Романа не осталось даже трех копеек, чтобы заплатить за ночлежку.

— Доработался! — горько жаловался на свою судьбу Роман, снова направляясь ночевать в летний театр в парке. Теперь тут было совсем неприветливо, потому что пошли дожди и сразу похолодало. Роман сильно промерз, стоя на рынке, и к тому же был голоден. Он весь дрожал.

Дотащился до театра, перелез через перила и направился к своему убежищу. Проходя по темной сцене, споткнулся и чуть было не упал.

— Какой тут стультусяка собачий бродит да людей беспокоит? — неожиданно пробасило в темноте.

Роман узнал голос Патрокла Фигуровского: это он на него наткнулся.

— Это я, Роман, — ответил.

— Какой Роман, азинус?

— Да тот, что с вами в ночлежке ночевал.

За последнее время им не приходилось встречаться.

— А чего же ты здесь?

— Да, должно быть, потому, что нету денег на ночлежку.

— Резон, хоть ты и болван!

— А почему я болван?

— Да потому, что должен тут ночевать.

— Но и вы же тут ночуете.

— Я — другое дело. Я, браток, так себе... еще днем зашел сюда и был немного выпивши... так я лег — да и до сих пор! Ну, а это место я хорошо, правда, знаю... Так что, уже ночь?

— Ночь.

— А почему ты зубами стучишь?

— Потому, что холодно.

— Холодно? Ну, садись рядом со мной да погрейся! Чего стоишь? Садись! За это деньги не берет.

И он поймал в темноте его руку и потащил вниз. Роман сел возле него.

— Э, да ты, парень, без пальто!

— Да...

— А где же оно?

— Было да сплыло.

— Ну, и ты скоро сплывешь.

— Куда же я сплыву?

- К черту в зубы! Пропадешь без одежды.
- Продам... топор нужно было купить... Что же мне осталось делать?
- Клапоухий азинус! Спроси у меня, так я скажу, что тебе нужно делать.
- Говорите!
- Я тебя познакомлю с добрыми людьми.
- Познакомьте!
- Там пока что получишь квартиру и харчи. Заплатишь им потом, когда будут деньги.
- Хорошая штука, спасибо вам!
- Не говори — хорошая, пока не попробовал! Если будешь умным, то и работу получишь.
- Какую?
- Лучшую, чем та, которая у тебя сейчас. Потом узнаешь.
- Пушай и так!
- Только одно...
- А что такое?
- Останешься там или нет, получишь работу или нет, но о том, что увидишь, должен молчать!
- Это можно.
- Поклянись!
- Пушай меня крест побьет и сырая земля не примет, ежели кому скажу.
- Хорошо. А если нарушишь присягу, я тебе сверну шею... И под землей найду. Головы тебе тогда не сносить. Не забывай этого!
- Не забуду.
- Айда!

## II

Долго они брели по городу, куда не выбрались на темную и грязную улицу. Она вывела их к оврагу. По обеим сторонам оврага, под глинистыми кручами, ютились небольшие лачужки, в их маленьких окошках мелькали огоньки. Фонарей здесь не было, улица освещалась только светом, падающим из этих окошек. Ноги вязли в размокшей от дождей глине. У Романа были худые сапоги, он сильно промочил ноги.

— Держись ближе к забору,— сказал Патрокл,— потому что здесь настоящая халдейская лужа,

И действительно, вся улица была залита водой. Это было самое низкое место в овраге, вода стекала сюда со всех возвышенностей.

С трудом цепляясь за плетень, пробирались они по краю лужи.

— Ну и грязь! — ужасался Роман.

— Это и к лучшему: если упадешь, то не ушибешься.

— Да куда же мы зашли?

— В Овражки!

— В какие Овражки?

— Так называется... Следуй за мной!

Он повернул во двор. Отворил калитку, впустил Романа и по-хозяйски закрыл ее. Во дворе стоял дом, кажется покрытый тесом, направо — какой-то навес или что-то вроде этого.

В темноте зарычала собака.

— Цыц, Хамло, цыц! Се я.

Огромнейший пес узнал Патрокла и стал ласкаться к нему.

— Что? Разве давно не видел меня? На уж, на!

Вытащил что-то из кармана и дал Хамлу.

— Хороший канис! Чудный собачище!.. Ну тебя к лешему! Хвостом всю мою рожу забрызгал.

Подошли к дому, и Патрокл постучал в запертую дверь.

Было слышно, как кто-то вышел из комнаты, и мужской голос спросил в сенях:

— Кто там?

— Открой, тогда увидишь!

— Патрокл Степанович? — тихо спросил кто-то.

— Конечно!

Хозяин впустил гостей и тотчас запер дверь. Это была обыкновенная городская комната: справа у стены большая кровать, слева стол, вокруг которого стояли простые деревянные, покрашенные коричневой краской стулья; поближе к двери, направо, — печь, налево — шкаф. Стены оклеены дешевенькими серыми обоями; на стенах три картинки без рамок, прибитые просто гвоздями: копеечная базарная мазня, загаженная мухами. Какая-то женщина, наверное хозяйка, бледная и худая, укладывала спать ребенка в люльку, а за столом сидел Лукаш.

Поздоровались и сели.

Затем и хозяин вошел в комнату. Не такой рослый,

как Патрокл, но широкоплечий и сильный, с большой блестящей черной бородой и огромным носом. Окинул Романа острыми холодными глазами.

— Чего ты на него так смотришь? — спросил Патрокл. — Вот привел тебе человека. Ходит без работы. Если сейчас у нас нет дела, нужно дать ему квартиру и харч.

— А не разболтает он?

— Сказал, что будет держать язык за зубами.

— Пускай ночует.

— Вот и хорошо! А теперь знаешь что, Ярош? И он голодный, да и я жрать хочу, время вечернее, поужинать пора бы.

— А ну-ка, Варька, дай гостям чего-нибудь поесть! — велел Ярош хозяйке. — Мы еще и сами не ужинали.

Жена, молчаливая и какая-то странная женщина, стала накрывать на стол. Хозяин вышел в сени, а следом за ним Патрокл, они долго там о чем-то говорили, потом вдвоем вошли в комнату.

— Ну-ка, садитесь! — пригласил хозяин.

Гости сели за стол, а он тем временем вынул из шкафа бутылку водки.

— Вот прекрасно, даже аква вита есть! — радостно воскликнул Патрокл. — Наверное, ты знал, что я замерз?

— А ты, должно быть, и не пил бы, если бы не замерз? — пошутил Ярош.

— Да... Мой покойный батюшка всегда поучал меня: рюмка — враг твой! А я где не увижу врага, там и истребляю его, не люблю врагов.

— Варька! А ты чего не садишься? — обратился Ярош к жене.

— Не хочу.

— Снова заикапризничала? Иди садись!

Женщина молча села за стол и неохотно стала есть, ни на кого не глядя. Муж несколько раз смотрел на нее исподлобья, однако ничего не сказал.

Роман мало говорил, больше слушал, силясь понять, куда он попал. Обстановка в комнате, простая мешанская одежда хозяев и странные разговоры — все это казалось загадочным.

Поужинав, сразу улеглись спать: хозяин на кровати, гостям постелили рядом на полу, а под головы дали подушки.

На следующий день утром, когда Роман проснулся, в доме никого уже не было: только он да спящий Патрокл. Но из сеней доносился разговор. Женщина сказала:

— Снова, как черти в аду, поймали грешную душу!

— Цыц! Не твое дело! — ответил мужчина.

— Чтобы вас столько раз карали на том свете, сколько вы людей погубили!

— Варька, говорю тебе, — замолчи! Давно ты была бита?

— Наказал меня бог таким мужем!

— Смотри, доболтаешься!

Угроза подействовала на жену, и она умолкла. В комнату вошел хозяин.

Роман закрыл глаза и сделал вид, будто спит.

— Эй! Пора вставать! — проснулся Патрокл. — А ну-ка, браток, вставай! — толкнул он Романа в бок.

Встали. Женщина внесла из сеней самовар. Сели пить чай.

— Ну-с, так хочешь к нам в кумпанию пристать? — спросил Романа Патрокл.

— Почему бы и нет — лишь бы хорошая кумпания.

— Хорошая! Коммерческая, — сказал Ярош.

— А какая куммерция?

— Лошадьми.

— Каким образом?

— А таким, — разъяснял Ярош, — лошадей покупаем дешево, а продаем дорого.

— А много зарабатываете?

— Да уже не без барыша.

— А где же вы их купляете?

— Разве по селам мало коней?

Роман не понимал.

— Ты, Ярош, плохо ему объясняешь, — перебил его Патрокл, — потому что у тебя нет элоквенции. Слушай, парень! Знаешь, как дешево покупать лошадей?

— А как?

— Так, чтобы за них совсем ничего не платить.

— Каким образом?

— Таким: как стемнест, нужно зайти в гости к какому-нибудь богатому стултусу мужику. По-твоему — нужно поторговаться с ним, а по-моему — это лишнее, потому что он мужик. Зашел в конюшню, сел на коня, да и айда в степь... так-то дешевле всего обойдется.

Теперь Роман понял.

— А почему ты, паря, умолк? Может быть, вовы да хохи<sup>1</sup> боишься?

— Нет, я волков, положим, не боюсь, а так...

— Так хохи?

— И хохи не боюсь.

— Тогда грехов, что ли?

Роман молчал.

— Болван, балбес и стультус! — крикнул Патрокл. — Что такое грех? Кто как божью заповедь нарушает. Что велит заповедь? Поделись с ближним твоим! Делятся богачи? Отвечай! Делятся богатые с нами?

— Нет...

— Значит, они грешат, нарушают заповедь. А мы если возьмем у богатого лошадей, то что сделаем?

— Да что же? Украдем!

— Азинус клапоухий! Мы разделим с ближними богатого его добро, — а этого требует заповедь. Значит, он ее нарушает, а мы поправляем. Понял?

— Да нащот этого понял, только...

— Ну что «только»? Ты не толькай, а слушай умных людей! Жил ты в селе? Жил. Что с тобой сделали отец и братья? Целовали-мцловали тебя? Нет, избиили тебе рожу, да и вытолкали голяком! А где же твое добро, которое ты вместе с ними заработал? Родной брат украл! Что тут нужно сделать? Взять их добро, да и разделить так, чтобы и тебе досталось.

— А почему же в заповедях написано: «Не укради»?

— Что ты мне заповедями рот закрываешь. Игнорантус мизер, или — недоразвитый неуч! Я их лучше тебя знаю. А ежели волк украдет у тебя теленка, разве ты не придешь и не убьешь волка, не отнимешь у него теленка? Не укради у честного, а у вора свое забери! А ты посмотри: старшина и староста грабят общественные деньги — воры! Мужики тащат господский лес — воры! Господа прикарманивают казенные деньги — воры! Шинкари обманывают тебя в шинке — воры! Братья присвоили часть своего брата — воры! Все промышляют как могут. Ты вот с голоду пухнешь, а они там водочку попивают, облизываются от удовольствия, да всякие сладости жрут и над тобой насмеваются, — даже животы трясутся, что

---

<sup>1</sup> Волков да страшилищ — воровской жаргон.

такого халдейского дурака, такого греческого увальня нашли, который не умеет вырвать из их рук свое добро. Вот и пойдн судись с ними! Высудишь?

— Черта высудишь!

— Так не будь разиней, а пойдн да и возьми сам.

— Да, конечно, это моя часть, ее можно и взять...

А так, кто его знает у кого, то это уже... — заколебался Роман.

— О сервус слабоумный! Да разве ты не видишь, что все так поступают, как твои братья, значит, все и ворюги. А у злодея не грех и взять. Нет правды на свете, существует только один грабеж: кто скорее, кто больше захватит! И кто захватит — тот богат; кто не схватит — тот бедняк! В старину лучше было: пришел грек, разгромил Троию, да и говорит: «Я герой, потому что Троию сжег, троянцев победил, а добро их себе забрал». А теперь каждый болтает: «Я по справедливости и по закону!» Один с другого по три шкуры дерет!.. Тебе приходилось есть людей?

— Нет!..

— Врешь! В старину все люди ели людей. А теперь только так кажется, что не едят. На самом деле — едят друг друга так, что только за ушами трещит! Поэтому...

И Патрокл с такой силой ударил по столу, что даже ребенок в люльке испугался, заплакал и все на столе зазвенело. У него в глазах вспыхнул злой огонек. Он помолчал немного, склонив голову, успокоился, а затем снова обратился к Роману:

— Ну, пускай будет по-твоему. Мы тебя не будем посылать к чужим, а вот с братьями и отцом тебя разделим.

— Каким образом?

— Да так! Ведь ты же сам говорил, что у твоего отца три хороших лошади. Вот мы и поделили этих лошадей так, чтобы отдать тебе твою часть. Если лошади хорошие, то за них можно выручить и деньги хорошие.

Роман молчал. У него в голове роем носились всякие мысли, но он боялся высказать их. Он ничего не ответил Патроклу и вышел из комнаты; не мог сидеть спокойно — нужно было куда-то пойти, побыть одному, обдумать все хорошенько.

Ярош и Патрокл, оставшись одни в комнате, вначале ждали возвращения Романа, но вскоре убедились, что он ушел со двора.

— Ох,— сказал Ярош,— не подложит ли этот кавалер нам свинью?

— Ни черта! — ответил Патрокл.

— А если в полицию?..

— Ну и что он там скажет? Что мы подговаривали его лошадей красть? А свидетели где?

— Да и то так...

— Разве полиция не знает, что ты умеешь верхом ездить? Они хорошо раскусили тебя; хотя тогда и не осудили за увод лошадей Стеценка.

— Ну положим... Да только не получится из него, должно быть, человека.

— Вот увидишь получится. Погуляет, погуляет, да и вернется, иного выхода у него нет.

— Конечно, он бы нам такую дорожку показал, что ой-ой! Нет ничего лучше, как работать с тем, кто село хорошо знает,— произнес Ярош.

— Еще бы! Ты, атаман, вели хлопцам — пусть наготове будут: дня через три он вернется, тогда скажешь, кто прав.

А Роман тем временем шел куда глаза глядят, и голова его разрывалась от мыслей. Все прошлое, все, что он давно позабыл, казалось, нахлынуло на него, снова ожгло.

До службы в армии он жил дома, как и все парни, и работал добросовестно. В их хозяйство немало и его труда вложено. Разве он повинен в том, что теперь уже не может жить по-старому?

Каждый человек ищет лучшего, а пожив в городе, он хорошо понял, где это лучшее. Крестьянская работа тяжелая, грязная, порой голодная и холодная. Да каждый черт издевается над тобой, и пет такого начальника, который не дал бы тебе по лицу кулаком! А городская жизнь не такая: и работа легче, и меньше глумятся над тобой, да и заработок больше. Вот и он искал этого заработка, искал этой лучшей жизни. Но что, если ему не везет! Ни отец, ни братья не хотят понять его, не желают помочь ему. Если бы они выделили ему его часть, может быть, он давно уже человеком бы стал. А то довели до того, что хоть с голоду пропадай. Да еще опо-

зорили как! Если бы вовремя не ушел, высекли бы розгами! Его — розгами!..

Роман вовсе не думал о том, что он сам плохо поступил, а вспоминал только обиду, нанесенную ему братом: «Хорош брат! Ну, сказал бы отцу — пусть он как хотел бы, так и наказывал, а то сразу потащил связанного, как арестанта, в волость».

Роман вспомнил, как его вели по селу со связанными назад руками, как люди указывали на него пальцами!.. И его охватывала невыразимая злость, ненависть к брату, как и тогда, когда он уходил из села. Там, наверное, много о нем было разговоров; все, очевидно, говорили: «Вишь, думал баринном жить, а стал воровать!» Он хорошо знает этих мужиков! Готовы друг друга в ложку воды утопить! Правду говорил Фигуровский, что сами они хуже всяких воров. Братья ведь не отдали принадлежащей ему части — все равно что обворовали его. А если вор украдет, разве хозяин, в самом деле, не может взять у него свое добро? Вот так и он у своих братьев может.

Роман, сам того не замечая, повторял слова Патрокла.

Да... Но почему он не решается совершить такой проступок, на который его толкают?

Грех, конечно, хотя и свое, таким способом брать.

Грех... это точно... А вот подумаешь: они сытно едят, тепло одеваются, всю зиму будут лежать на печи, а он, Роман, вынужден мерзнуть, голодать, скитаться тут. Правда, если бы не эти... воры, отдал бы богу душу. Разве это справедливо? И разве у него нет права насильно взять то, что принадлежит ему? Только свое, у отца и братьев,— ни у кого другого он не хочет, а у них...

Лишь одно страшит его. Хорошо, если все сойдет, а если поймают? Острог, арестантские роты!..

У Романа даже мурашки пробежали по спине.

И кто знает, что за люди Патрокл и Ярош. Они, пожалуй, его в такие дела впугают!.. За ними, очевидно, и полиция следит,— знает их проделки... Что, если бы пойти да выдать их? Конечно, он давал клятву Патроклу никому ничего не говорить, но разве он знал тогда, что они конокрады? Однако... если бы даже он и пошел в полицию, ничего бы из этого не получилось, свидетелей у него нет.

А если он свяжется с ними, тогда и ему не избежать суда. Впрочем... не все же попадают... Мужики в таких случаях страшнее суда. Уж если они поймают конокрада, так изувечат, живого места не оставят, а то и совсем убьют.

Нет, подальше от греха! Лучше он перебьется какое-то время, на поденщину походит, а потом, может быть, и какую-нибудь службу найдет,— тогда он будет жить по-человечески. А то...

Роман опять пошел на базар, на толкучку. В этот раз он недолго там стоял: наняли его переносить шкафы из одной квартиры в другую, больше ничего,— другой работы не предлагали. Получил золотый, вот и весь заработок. Он проел его, а спать пошел в летний театр. Ночью он больше дрожал от холода, чем спал.

На другой день было еще хуже: никто даже и не подошел к нему. В селе уже закончили уборку, парни подались в город: работников было больше, чем работы. У Романа за весь день крошки во рту не было. Голодным пошел ночевать туда, где ночевал вчера. Но когда подошел к театральным подмосткам и увидел темную сцену, словно огромную раскрытую пасть,— его обдало холодом. Он вспомнил, как озяб прошлой ночью. Вчера он хоть был сыт, а нынче... Им овладело чувство безнадежности.

Вот так скитаться, мучиться! И почему? Только потому, что братья не захотели отдать ему его добро!

Ну, так он сам его возьмет! Довольно!

Теперь он не думал больше ни о грехе, ни о страхе. Он был голоден.

Повернулся и быстро-быстро пошел в противоположный конец города — туда, в Овражки.

### III

На другой день утром Роман еще спал в доме Яроша, как скрипнула дверь и в комнату вошел Патрокл Фигуровский. У достойного тезки греческого героя лицо изменилось до неузнаваемости, под левым глазом красовался огромный синяк.

— Где это? — показывая на синяк, спросил Ярош.

— А! — недовольно ответил тот, махнув рукой.

— Не у Левона ли?

Левон — это тайный шинкарь и помощник всех воров, что собирались у него пить.

— А где же еще есть такие сумасшедшие? — ответил вопросом Патрокл.

— Должно быть, снова с Левдиком?

— А с каким еще дьяволом? — ответил Фигуровский, расхаживая по комнате взад-вперед. — Сточертовое чучело смеет приставать! Ну я же и дал ему!

Проходя мимо спящего Романа, подмигнул Ярошу:

— А что я говорил? Тут уже! Пойдем-ка в сени!

Вышли.

— Сам прибежал?

— Сам... вчера...

— Что он говорит?

— Что братьям отомстит... Только им, а что-нибудь другое не хочет.

— Да это известно. Каждый азинус думал, что только один раз, а больше никогда не будет. Ты ему вчера поднес?

— Конечно, сегодня дам опохмелиться.

— Только хорошо угости!

— Знаю плепорцию. Не стоит переборщить, а то к вечеру никудышным будет. При нем хлопцев не хочу собирать... Не нужно, чтобы всех видел...

— Разумеется.

— Передай Лукашу, чтобы к вечеру собрались в сарае. Пусть пройдут по переулку, вдоль кручи, чтобы он никого не увидел из окна. Я распоряджусь — кому что.

— Добро, атаман.

Пока они разговаривали, Роман все время спал, не смотря на то что жена Яроша ходила по комнате, занимаясь своими домашними делами. Усталый, голодный и пьяный, он долго еще спал. Потом встал, чтобы снова залить водкой последние проблески совести.

Вечером того же дня у Яроша в старом сарае, где когда-то стояли возы, сошлись пять человек. Поджидая хозяина, уселись на старых ломаных санях, бочках, дровах и на другом хламе, которым был завален сарай. Тут находились Патрокл, Лукаш и еще трое оборванцев. Пришел Ярош.

— А где же Левдик?

— Кто его знает... куда-то смылся... Наверное, пьст, — сказал высокий мрачный мужчина.

— Сволочь! — выругался Ярош. — А он сейчас как раз и нужен. Ну, слушай, ребята, приказ!

Все умолкли.

— Кучма, Лукаш, Семен и Кулич — этой ночью в Панасовку. Ты, Кучма, — обратился он к мрачному мужчине, — знаешь Панасовку, будешь атаманом... Слушать его, как меня! У Охрима Бычка — богатый, черт! — четыре хороших лошади. Взяв лошадей, не ведите их к Гапону, а скорее на полтавский шлях... на Полтавщину... как тот раз, знаешь? (Кучма кивнул головой.) Да смотрите, чтобы больше двух рюмок на дорогу никто! Чтобы не было так, как раньше с Лукашом... (Лукаш опустил голову.) Расходитесь, хлопцы, да только тихо, по одному.

Ярош с Патроклом вошли в дом.

— Ну, Роман, пора собираться в дорогу, а то опоздаем.

— В дорогу так в дорогу, — равнодушно сказал Роман. — А кто же идет?

— Да вот мы втроем.

— А Лукаш?

— Обойдемся и без Лукаша! И втроем справимся!

Ярош вынес из хижины свитку и чумарку.

— А ну-ка, одевайтесь, да потеплее! Да чтобы городом от нас и не пахло.

Все трое надели крестьянскую одежду.

— А у вас дома лошадей запирают? — спросил Романа Ярош.

— Запирают.

— Ну, тогда нужно взять и такое, чем можно отпереть. — И он вынес из сеней большой железный шкворень.

— А это для какой надобности? — спросил Роман.

— Да чтобы пробой вырвать, ежели будет заперто, — пояснил Патрокл.

Вскоре они собрались в дорогу.

— Мы вдвоем с Романом пойдем, — сказал Фигуровский, — а ты, Ярош, чуть позже выйдешь, чтобы не так заметно было.

— Хорошо. За городом, за кирпичным заводом встретимся.

— Ты, Роман, иди впереди, — сказал Патрокл, — да не спеши, а я нагоню тебя возле церкви. Все же меньше людей будет видеть нас вместе. Ибо они, аки Аргусы

стоюкне или Церберы адские, так свою пасть и раскрывают, чтобы неповинную душу сожрать.

Когда Роман и Фигуровский подошли к кирпичному заводу, Ярош был уже там, придя по кратчайшей дороге. На дворе совсем смерклось.

— Ну, айда! — скомандовал атаман.

Все трое отправились в путь. Нигде никого не было видно. По дороге они дважды встретили крестьян с возами, которые спокойно проехали мимо них: по внешнему виду трое воров были похожи на крестьян-землепашцев, побывавших в городе и сейчас возвращающихся домой. Патрокл подмигнул им:

— Не те ли это лошади, за которыми мы идем?

— Нет, не те, — ответил Роман.

— Да я таких и не взял бы. Они зело плохи.

Пройдя верст восемь, сели отдохнуть на опушке небольшой рощи.

— А что, половину прошли? — спросил Ярош у Романа, отдохнув немного.

— Должно быть.

— Ну, айда опять, чтобы к полуночи успеть. Мужики в это время крепко спят.

Пошли дальше. Была уже полночь, когда Роман увидел темные хаты своего родного села. Почему-то трепетно забилось его сердце, и кто-то, казалось, тихо-тихо подсказывал ему: а не лучше ли оставить эту затею и вернуться? Но теперь было уже поздно, возврата нет.

Ночь благоприятствовала им. Луна давно уже скрылась, по осеннему небу чередой плыли тучи, закрывая и тот свет, который бросали на землю звезды.

— Я пойду вперед, а вы за мной, — сказал Роман товарищам.

Он старался говорить спокойно, но его трясло, как в лихорадке, когда он подходил к крайней хате.

Лишь бы пройти первую, самую длинную улицу, чтобы никого не встретить, а потом можно будет и через огороды махнуть.

Быстро и осторожно прошли улицу. Все же встретили сторожа, но он преспокойно спал на одной из завалинок.

— Через тын! — тихо скомандовал Роман.

Перескочили так, что даже шороха не слышно было. Роман шел впереди, по знакомым дорожкам, обходя

опасные места. Еще раз перелезли через тын и оказались на лугу.

— Теперь мы уже дома,— сказал Роман.— По лугу пройдем до переулка, что проходит мимо нашего двора... В переулочек -- ворота из тока.

— А на току, в овине, не спит ли кто-нибудь? — спросил Ярош.

— Не знаю.

Подошли к току Сиваша. Роман открыл ворота и впустил товарищей.

— Спрячьтесь вот здесь, под тыном, а я пойду погляжу, не спит ли кто-нибудь в овине.

— Я с тобой,— сказал Ярош. Он еще не был уверен, что Роман не изменит им, и боялся отпустить его одного.

— Нельзя,— ответил Роман.— меня собаки знают, а ежели с вами, то залают. Я сам коней выведу сюда.

Пришлось покориться.

— На, возьми шкворень, может, пробой вырвать придется.

— Давайте!

Ярош с Патроклом присели под тыном. Роман со шкворнем в руке тихо, осторожно подошел к овину. На дверях висел замок. Это хорошо. Роман подошел к другим воротам, открыл их и вошел во двор. Там было темно и тихо. Собаки зарычали было, но Роман тихонько позвал их, бросил хлеба. Узнав его, они утихли и стали есть хлеб. Роман тем временем подошел к конюшне. Она была заперта. Заложил шкворень под пробой и с силой дернул к себе. Старенький пробой давно уже проржавел и сразу сломался. Открыл дверь и вошел. Он знал, что лошадей обычно привязывали к яслям, потому что одна из них была норовистая и не мирилась с остальными двумя. Роман нащупал руками их головы — все три... На двух были уздечки, на третьей — недоуздок. На обычном месте, на колышке, нашел уздечку и надел на лошадь. Осторожно вывел двух лошадей и передал их товарищам. Снова вернулся за третьей — норовистым жеребцом. Выведя его, закрыл конюшню и приставил пробой — словно ничего и не случилось. А его товарищи тем временем уже сидели верхом на лошадях в переулке. Роман по-хозяйски закрыл за собой ворота, подумав: «А то, если оставить их открытыми, сторож может заметить».

Вскочил на коня, и все трое тихо поехали по пере-

улку. Теперь уже через огороды не перескочишь — нужно было ехать по улице. Это рискованно. Но в селе все крепко спали. Нигде ни души, ни единого шороха. Только слышно было, как в хлевах жевала скотина. Сторож где-то стучал колотушкой, но далеко отсюда. Залаяла раз или два чья-то собака. Сердце у Романа сжалось, словно перестало биться в груди, захватило дух. Но у собаки был плохой нюх, и она не учуяла чужого. Залаяла и умолкла. А улица тянулась долго, бесконечно долго. Никогда она не казалась Роману такой длинной, как теперь. Дома в два ряда бесконечно тянулись, исчезая в темноте. Казалось, что им нет конца и края. Вот хата Миколы... сарай Семена... Как далеко еще... Роман пришпорил бы коня, поскакал бы изо всех сил, но не мог этого сделать, должен был ехать медленно, следом за атаманом... Показалась хата Костенко... После нее еще три двора... Вот уже и последняя хата виднеется...

— А кто это? Стой!

Из темноты вынырнул высокий мужчина, прямо перед лошадью Яроша и схватил ее за уздечку. Роман увидел, как Ярош, не останавливаясь, поднял руку со шкворнем и ударил человека. Тот застонал и грохнулся наземь. Снова поднялась рука, и шкворень опустился на круп лошади. Она рванулась и полетела вперед, а за ней следом две другие. Роман прижался к гриве коня, ударяя его ногами в бока. Вмиг оказались за селом и, как вихрь, понеслись по ровному шляху. Только ветер свистел в ушах.

Хорошо откормленные лошади проскакали галопом верст пять. Ярош приостановил свою лошадь и поехал медленнее, чтобы дать ей отдохнуть. Роман и Патрокл подъехали к нему.

— Черт его подери, неудачно получилось! — сказал Фигуровский.

— Что? — спросил Ярош.

— Да вот этот сторож. Куда ты его ударил?

— Куда?.. А, черт!.. Куда пришлось, по голове!

И он снова погнал лошадь.

Роману стало страшно. Неужели человека убили? Тогда ему показалось, что Ярош ударил его по рукам, чтобы освободиться от него. А если по голове и тот упал...

Свернули с дороги и поскакали влево. Дорога вела в овраг. Куда это они? Роман силился припомнить, куда

это они едут, и никак не мог. Вдали виднелись деревья, затем огромный дом. Наконец-то узнал: хутор Гапона.

Здесь жил какой-то Гапон. Как звали его в действительности, Роман не знал, но все называли Гапоном. Так себе человек — ни барин, ни мужик. Был у него хуторок, понемногу хозяйничал. Что-то о нем говорили, однако Роман сейчас не мог вспомнить. Зачем они туда едут?

Подъехали ко двору. Ярош соскочил с лошади, открыл ворота и впустил своих братьев во двор. Подойдя к дому, стал стучать в окно.

— Открой!

Наверное, хозяин узнал человека по голосу и сразу вышел, набросив на плечи свитку.

— Это ты, Ярош?

— Да, я.

— А кто с тобой?

— Патрокл Степанович да еще парень... новичок.

— А что?

— Трое хороших, — ответил Ярош.

— Откуда?

— С Дыблева... Сиваша Филиппа.

— Можно до завтра?

— Нет, катать сейчас. Хлопцы твои дома?

— Дома. А что?

— Нехорошо получилось: пришлось отбиваться.

— Плохо дело, — причмокнув губами, сказал Гапон. — Если так, нужно торопиться. Зайдете в дом?

— Нет, — ответил Ярош, — не с руки: нам теперь лучше подальше от вас быть.

Тем временем Роман с Фигуровским завели лошадей в хлев.

— А зачем? — спросил Роман у Патрокла.

— А что же, мы их сами будем продавать? Мы айда домой. А тут приятели и отведут и продадут, а мы денежки получим. Сейчас как рванут, к рассвету верст за шестьдесят будут.

Подождали немного Яроша, покуда он шепотом разговаривал с Гапоном, и быстро пошли обратно. Вскоре они вышли на дорогу в город.

— Слышишь, наши лошади поскакали, — тихо сказал Патрокл Роману.

Тот прислушался — и в самом деле услышал конский топот в овраге.

— Молодцы, что не медлят,— сказал Ярош.

Все умолкли, потому что думали о сельском стороже. Больше всех беспокоился Роман. Он злился на себя. Согласился на это дело и сразу увидел, чем это грозит. Что, если Ярош убил человека? Будут искать, а коли найдут... Не уйти от каторги, Сибири.

А впрочем... Не так страшен черт, как его маяют. Не всех ведь и ловят. Может, благополучно все обойдется.

Только теперь не нужно дружить с Ярошем и Патроком. Черт с ними! Получит он свою долю от продажи отцовских лошадей и уйдет от них.

Проехали мимо них, грохоча возами, какие-то крестьяне, наверное, в город на базар.

— Вот кабы эти клапоухие стультусы знали, откуда мы идем! — сказал Патрокл. — Вот влипли бы! Пострадали бы мы за правду!

— Какую правду? — спросил Роман.

— А такую! Ежели бы они узнали, откуда мы идем, да знали бы, что мы украли лошадей,— а это была бы правда,— и за эту правду они бы нам все печенки поотбивали. Вот и пострадали бы за правду!

Роман и Ярош рассмеялись. Все трое стали весело разговаривать. Роман совсем забыл о своем страхе и сейчас шел так, словно ничего и не случилось.

Уже совсем рассвело, когда они приблизились к городу. Чтобы их не видели вместе, они направились в Овражки по разным улицам. Роман вынужден был идти к Ярошу, и они спали почти до обеда.

Поднявшись, Роман пошел на толкучку — не столько для того, чтобы заработать, сколько чтобы его не видели вместе с Ярошем. Он вел себя как-то странно. Все как будто было в порядке, но что-то тревожило его, не давало покоя... И сам не мог понять, покуда не вспомнил, что ведь он совершил преступление... Оно словно тяжким бременем навалилось на него. Нельзя сказать, что он испытывал угрызения совести, нет, но только предчувствие чего-то страшного угнетало его; вот-вот выяснится... совершится что-то плохое, ужасное...

Прошел день, об их деле уже разнесся слух, и на рынке рассказывали, что конокрады убили человека. Роман сообщил об этом Ярошу.

— Пустяки! — ответил тот. — Сегодня из тех мест был знакомый человек. Сторож живой. Только оглушил я его ударом. Сказывают, свалился и долго лежал без памяти, потому что немного таки и голову... Да поправится!

Роману стало легче: хоть жив остался человек... А все же боязно. И он спросил Яроша:

— А что, сильно ищут?

— Пойди да спроси у тех, кто ищет. Ты уже и струсил? Ого-го! Теперь пушай ищут! Если в первую ночь не поймали, теперь ни черта не найдут, пропало навеки! Теперь уже коней трижды перепродали. Скоро и денежки получим.

После этого разговора страх у Романа прошел, и его уже ничто не тревожило. Сторож жив, их не найдут — чего же еще нужно? Вскоре Ярош отдал ему двадцать рублей. Лошадей продали рублей за восемьдесят, ведь они были хорошими, часть денег отдали Гапону, а Ярош взял у него только пятьдесят пять рублей. Эти деньги нужно было поделить поровну, но Ярош отдал Роману двадцать рублей, чтобы привлечь его к своему делу.

— Ну что, брат? За одну ночь двадцать рублей заработал! Будешь умным, не столько еще заработаешь.

Роман уже и сам хорошо понимал, что это хороший и легкий заработок. Как хорошо иметь много денег! Роман купил себе пальто, приделся немного. Ну а теперь что?

Вначале Роман думал, что, получив деньги, не будет нуждаться, оставит Яроша и снова пойдет искать службу. Если бы он так поступал, как думал! Но теперь Роман спокойнее относился ко всему этому. Впрочем, надо же!..

Снова шел то в одно, то в другое место... ходил, бродил... Но нигде не мог устроиться на работу... Это озлобляло его: все мечты о том, чтобы стать баринном, уйти от крестьянской жизни, поблекли, исчезли. Ему не везло! Он досадовал на себя. И чтобы забыться, пил, заглушая остатки совести...

А деньги недолго держались в кармане. Вскоре осталось их столько, сколько было в ту ночь, когда он шел за лошадьми в отцовский двор. Заработков не было, да Роман теперь и не искал их. Он просто пошел к Ярошу и в ту же ночь вместе с ним снова отправился за добычей...

Не прошло и месяца, как конокрады приняли Романа в свою воровскую шайку. Она состояла теперь из восьми человек, включая и Романа. Атаманом у них был Ярош — ловкий, смелый и хитрый конокрад. Он всегда умел выйти сухим из воды, и хотя за свою жизнь немало увел лошадей, но в руки правосудия попал только один раз, да и то так закрутил, запутал дело, что суд оправдал его. Сами конокрады оберегали его. Не раз случалось, что вместо Яроша отсиживал кто-нибудь другой: и знал виновного, но молча брал вину на себя, отбывал наказание, зная, что выдавать других нельзя, а тем более атамана. Нельзя сказать, чтобы они его любили, однако уважали за воровскую хватку, смелость так же, как уважают люди самого усердного работника или храброго воина. Его слушались беспрекословно, он умел управлять людьми, умел утратить их и наказывать, когда следует. Он был немилосердным, однако никто и не рассчитывал на его милосердие, и каждый, зная, что он не пощадит, беспрекословно слушался его. Поэтому ни в одной воровской шайке в округе не было такого порядка и повиновения, как у Яроша.

Обычно они ходили промышлять группами — одни с Ярошем, другие с Патроклом или Левдком.

Фигуровский, сын дьяка, действительно когда-то учился в семинарии, но, уже учась в старшем классе, однажды напился вместе со своими товарищами. Пьяный, выругал ректора и толкнул инспектора. Его выгнали из семинарии с «волчьим билетом», с которым его никуда учиться не принимали. Да теперь Фигуровскому и поступить было трудно, потому что учился он в семинарии за счет духовенства — у отца не было средств для обучения сына. Вернулся домой; отец выругал его на чем свет стоит, и парень убежал в город — искать какой-нибудь работы. Однако человеку, изгнанному из семинарии, а тем более пьющему, не так-то легко было найти работу. Поэтому, если и получал он работу (в какой-нибудь конторе писаришкой), удержаться долго не мог. Он стал менять одну службу за другой: был и приказчиком, и почтальоном, и кондуктором на железной дороге; начал торговать мелкой копеечной бакалеей, но ему не везло: или, напившись, поссорится с хозяином, или в счетах напутает (в свою пользу), или еще что-нибудь... а свою бакалейную лавочку пропил. Наконец он стал писарем

в трактире: за несколько копеек или за полквартиры водки писал крестьянам всякие «жалобы» и «прошения». В одном из таких трактиров судьба свела его с Ярошем... В компании Патрокла уважали за «ученость» и силу: он, будучи сильным, не раз выручал своих товарищей из беды. А зная смелость Патрокла, Ярош часто назначал его атаманом второй группы, отправлявшейся на добычу отдельно.

Из-за этого с Патроклом всегда враждовал Левдик — способный и хитрый конокрад, но еще больший пьяница, чем Фигуровский. Когда Левдик бывал трезвым, Ярош охотно поручал вторую группу ему, но, когда тот напивался до положения риз, атаманом назначал Патрокла. Это очень злило Левдика, и он, напившись, ссорился и дрался с Патроклом и особенно свирепел, когда тот дразнил и ругал его непонятными ему латинскими словами.

По когда приходилось делить добытые воровством деньги, и Патрокл и Левдик получали одинаковые доли, как и все другие товарищи. Только атаман получал бóльшую часть.

Кроме конокрадов, были еще и помощники, которых не принимали в шайку, они даже не знали о существовании ее, но приглашали их только тогда, когда в них нуждались, и за это они получали вознаграждение. Из этих людей иногда подбирали подходящего для шайки человека. То же было и с Романом.

Таких шаек на широких просторах нашей земли было немало. Они словно сетью покрыли весь край. В каждой шайке был свой атаман, действовали они самостоятельно, в пределах своего района или части губернии, где только и могли вершить свои дела. А если одна шайка переходила границу, вклиниваясь в пределы другой, тогда возникали между этими шайками распри, переходившие порой в побойща. Если конокрады одной шайки ловили на месте преступления людей другой, они безжалостно избивали их и изгоняли. Разделение территории произошло давно, и каждая из шаек, защищая свои границы, ссылалась на то, что эти места принадлежат им с «древних времен»...

Но кое-что и объединяло их в совместной деятельности: они помогали друг другу уводить как можно дальше ворованных лошадей и продавать их. Шайка Яроша продавала краденых лошадей не в своем городе, а пере-

продавала другой шайке, а та, в свою очередь,— третьей. Были и такие случаи, когда в течение одних только суток краденая лошадь оказывалась за двести верст от места кражи, уже в третьей губернии. В этом деле им много помогал Гапон. Он сам не воровал лошадей, но вместе со своими двумя взрослыми сыновьями укрывал их и переправлял к другим конокрадам или продавал. Гапон и каждая другая шайка, продав лошадей, обычно оставляли себе установленную часть за «коммисию», а все остальные деньги передавали тем, кто приводил им лошадей. Таким образом, деньги передавались от одной шайки к другой, покуда не попадали к тем, кто украл лошадей. Конечно, здесь никто и никого не контролировал, но все конокрады старались поступать так, чтобы не обманывать друг друга, и поэтому дела эти совершались более или менее честно. Да и конокрады хорошо знали, сколько стоит та или иная лошадь, и, если им присылали денег меньше, чем следовало, они порой ссорились, а это принуждало их быть более честными.

Конокрады, как и поджигатели, самые злейшие враги крестьян, разрушающие их хозяйство. Конокрады похожи на волков, совершающих набег на село, хватающих что попадет им в зубы и тут же убегающих. Крестьяне немилосердно расправлялись с волками, также беспощадны они были и к конокрадам. Если мужики поймают кого-нибудь из конокрадов, то уж не отпустят. Они страшнее суда! Суд, если и осудит на год или два в острог,— это чепуха! Выйдет вор на волю и начнет мстить людям, нанося им еще больший урон. Разве мало было случаев, когда конокрад, отсидев в остроге, приходил в то же село, где был пойман, и поджигал его, лишая людей всего их добра. Поэтому крестьяне устраивали самосуды, наказывая таких злодеев.

Конокрады часто рассказывали о страшных случаях с ворами, попадавшимися в руки крестьян. Поймали они одного в степи, когда тот ночью собирался увести коней, и тут же до смерти избили дубинами! И били с таким ожесточением, что его тело превратилось в кучу костей и мяса. Нашли эту кучу в поле; долго полиция искала, кто это сделал и кого убили, но так и не могла ничего установить. Многие знали, кто и кого; знали об этом конокрады, но молчали, чтобы себя не выдать; знали и многие крестьяне, да кто же из них выдаст!

Но все-таки убивать было опасно: могли обнаружить, и тогда виновных угоняли в Сибирь. Поэтому конокрадов карали чаще всего иначе: избивали и мучили так, чтобы он уже не мог оправиться, а в тюрьме или же вскоре после выхода из нее распрощался с этим светом и никому больше не вернул. И как только ни истязали несчастных! Одному выворачивали руки и ноги, другому жгли спичками тело, третьему привязывали ноги к голове и так оставляли лежать до утра... Ухитрялись еще и так избивать, чтобы никаких следов не оставить на теле,— тогда никто не придерется. Возьмут привяжут человека спиной к доске и с силой бросают на землю. Поднимут и снова бросают,— до тех пор, пока не отомстят своему врагу. На теле нет никаких следов избивания, а у истязаемого конокрада все внутренности отбиты. Мало кто выживал после этого.

Общество изгоняло, извергало из своей среды тех людей, которые не могли в нем ужиться, не хотели честным трудом зарабатывать кусок хлеба — то ли из-за неблагоприятно сложившихся обстоятельств для той или иной личности, то ли из желания поживиться за чужой счет, то ли в силу унаследованной от отцов и дедов привычки нарушать законы собственности. И эти выброшенные за борт люди мстили обществу, становясь его злейшими врагами, и упорно боролись с ним разными средствами. Они боролись за свое существование так же, как и остальные граждане.

Такими людьми были и конокрады. Они нападали на крестьян, а те защищались. Чтобы добыть средства к существованию, грабили, лишали крестьян их имущества, а те отнимали у них жизнь, здоровье или свободу... Это была повседневная борьба, зачастую кровавая, страшнее обычной тем, что никогда не приводила к миру...

Роман тоже втянулся в эту войну, и вскоре был одним из ее воинов. Здоровый, находчивый, смелый и нахальный, он счастливо избегал опасностей. Для конокрадов Роман был полезным человеком, поскольку он сам прежде жил в Дыблеве, хорошо знал местные условия. Шайка Яроша настолько обнаглела, что восстала против себя крестьян уезда и вынудила их днем и ночью охранять лошадей. Поэтому на некоторое время шайке пришлось прекратить свою деятельность — пока

не утихнет все и крестьяне не приобретут новых лошадей. Село Дыблево выпало из поля зрения конокрадов. Роман знал там каждый двор, каждого хозяина и поэтому был прекрасным проводником. Вскоре после первой кражи они удачно увели еще четырех лошадей, а потом еще трех. Роман получал много денег, жил на отдельной квартире в тех же Овражках; людям говорил, что работает, а на самом деле занимался только кражей лошадей.

Жил припеваючи, ни о чем не заботясь, но предчувствуя беды.

Однако беда не заставила себя ждать.

#### IV

А что же делала Левантина?

Левантина узнала о том, что случилось с Романом: что его поймали с украденным салом, издевались над ним. Теперь все те, к кому он относился прежде с пренебрежением, охотно смеялись, злорадствовали, вспоминая его. А больше всех поносил Романа его родной брат Денис... Он был настолько зол на Романа, что никогда не сказал о нем доброго слова; односельчане даже удивлялись, как брат брата порочит. Разумеется, говорили, что Роман лентяй, бездельник, да еще и воришка; но и Денису не следовало бы поносить его. А иные поддерживали Дениса, говоря: мол, такого, как Роман, миловать нельзя — ведь до чего докатился!

Все это Левантина слушала — слушала и молчала. Заступиться за Романа она не смела. Злые языки уже и так стали поговаривать о ней и Романа, а скажешь, еще хуже будет. Нужно молчать, делать вид, что соглашаешься.

А сердце не могло смириться с этим, протестовало. Роман казался ей другим.

Он плохо поступил, что взял сало у отца, но тут нет ничего страшного. Ведь каждый раз дочери и сыновья берут у родителей украдкой для складчины и яйца, и муку, и сало, и кур — всякую всячину. Если узнает отец — поругает немного, вот и все. Все об этом знают — и ничего. А тут шум какой подняли: парня воров объявили, хотели в холодную посадить и розгами высечь!

Разве можно так? Ясно одно: Роман взял сало не для вечеринки... Но.., ведь взял-то он из дому, где и его, Романа, есть доля. Хотя это нехорошо, но как ему было не взять, если ему дома ничего не давали? Просил ведь, чтобы отделили его,— так нет! А как бы хорошо было! Роман говорил ей, что тогда сразу бы начал торговать бакалейными товарами... и они поженились бы... А теперь вышло-то что? Кто виноват? Денис да отец повинны... Зинько — нет, он добрый: только он один и защищал Романа, Дениса сдерживал...

Размышляя так, бедная девушка старалась оправдать любимого ею человека. Однако чувствовала, что в какой-то степени Роман тоже виновен в семейной ссоре... На него и так обрушились люди,— неужто и она будет против него? Она, которая так его любит?!

А любила Левантина его сильно. Так любила, что все ему отдала...

Что же теперь будет? Неужто Роман бросил ее и больше не вернется к ней? Нет, нет, не может быть, она уверена в нем. Понятно, сейчас он не может вернуться сюда,— его так опозорили! Он ушел в город искать работы. И, очевидно, найдет: город — не село. Может, и не сразу найдет... Говорят люди, что и там трудно устроиться. А если поступит на работу, обязательно придет за ней.. или позовет ее к себе... Там они обвенчаются и заживут счастливо, забыв село и недобрых людей.

Только поскорее бы он обвенчался с ней, чтобы не опоздал. Потому что, если опоздает, ее ждет в этом селе позор! Страшно подумать: по́крытка!<sup>1</sup> Какая мать, скажут, такая и дочь. Уж как укоряли ее горемычной матерью; наверно, душа ее и на том свете не знает покоя! А теперь и подавно... П паршивая собачонка лаять будет...

— Ох, Роман мой, Романушка! Ты такой милый, желанный, что, не щадя себя, я всю душу тебе отдала. Но и какой же ты недобрый,— ведь не пожалел ты и моего девичьего веночка! Если бы не это, ждала бы я тебя, выглядывала, распевая песни, смело смотрела людям в глаза, не боялась бы заступиться за тебя, от лихих врагов защитить! А теперь... Да, теперь уж не

<sup>1</sup> По́крытка — девушка, родившая ребенка вне брака.

вернешь! Только пожалей меня, приголубь, ведь ты для меня и батюшка, и матушка, и суженый мой! А я тебе верю, жду тебя!

Верила и ждала...

А о Романе ничего не было слышно. Односельчане ездили на базар не в город, а в ближайшее местечко, и поэтому почти ничего не знали, что творится в городе. О Романе никто ничего не знал: как ушел, словно в воду канул. Левантина уже и прислушивалась, и приглядывалась, и осторожно расспрашивала — нет, ничего не слышать.

Наверное, ему, бедняге, не везет там, наверное, он ищет работы и ничего не может найти!.. Это бывает. Вот Стецко Гавриленко, побывавший в городе, рассказывал, что два месяца только и жил он там тем, что изредка нанимался поденно на работу... да ни с чем и вернулся домой. Как бы с Романом так не случилось. Помоги ему, пречистая дева!

А месяцы шли...

Вот уже и рождественские праздники... С большой радостью обычно ждала Левантина этих праздников! Как весело было, уговорив хозяйку, отпросившись, бегать с девушками по селу, петь колядки<sup>1</sup>, смеяться, гулять на воле!.. А в этом году и колядовать не пошла, сказала девушкам, что хозяйка не пустит. Может, и пустила бы, но Левантина даже не отпрашивалась у нее.

Она все ждала: может, на рождественские праздники придет Роман. Может, уже поступил куда-нибудь на службу... придет, помирится с родственниками. Она заглядывала через тын во двор Сивашей, одевалась по праздничному, думая: принаряжусь, а может...

Но нет, не пришел... Прошел и Новый год, прошло крешенье... Теперь и не придет...

Ушел и не попрощался... Неужто и увидеть не придется?.. А что же будет с ней?

Печально и грустно прошла зима, не стало веселее и весной. Солнце в небе ласково улыбается, а у Левантинны густым дождем слезы льются; цветы радостно встречают молодость, а она, бедная, свою жизнь проклинаят... Девушки у реки веснянки поют, и далеко-далеко уносят

---

<sup>1</sup> Колядки — песни, исполняемые в первый день рождественских праздников.

их пение шумные волны, а несчастной Левантине не до пения, у нее в голове одна мысль, тяжкая, страшная...

Да, она должна стать матерью.

Матерью! Не счастливой матерью, не женой, радующейся своему мужу, хозяйкой в собственном доме!.. Ах, какое это большое, большое счастье! Но ей суждено совсем другое.

Не будет она гордиться своим ребенком, а придется ей прятаться с ним от людей, не смея глянуть им в глаза! Стыд!.. Позор!..

А за что? Неужто это такой большой непрощаемый грех? Разве не по велению бога девушка становится женщиной, матерью? Если бы он хотел, чтобы дети рождались только у обвенчанных, он так бы и поступал. А то ведь сделал иначе! Почему же люди глумятся, издеваются, наказывают их?

Левантина не могла понять, не могла найти ответа на мучившие ее вопросы, и она приходила в отчаяние от одной только мысли о том горе, которое должно было прийти, обрушиться на нее.

А горе шло медленно, не торопясь, но неумолимо приближаясь. Бедная ежедневно приглядывалась к своему животу, измеряла пояском свою талию и безутешно плакала и плакала... Скоро уже все увидят!

Она и не знала того, что любопытные уже давно заметили и распространяли о ней дурную славу. Не знала до тех пор, пока однажды сама не услышала. Две девушки стояли на улице и разговаривали, не заметив в темноте, как Левантина подошла к ним. Она услышала, как Химка сказала:

— Гляди, чтобы и с ней не было так, как с Левантиной!

— А что? — спросила Устина.

— Вот глупая! Разве ты не заметила?

— Нет, не заметила!

— Она так подурнела, округлилась, скоро будет ходить, как копыта сена.

Левантина убежала от них, не чувствуя под собой ног, и рыдала тяжело, страшно, уткнувшись головой в солону в том же самом сарае.

Господи! Неужто он бросил? На глумление врагам, на позор и стыд! Хотя бы у кого-нибудь расспросить о нем, хотя бы узнать, где он, что с ним?

Вскоре в селе стали поговаривать, что Роман навсегда уехал в тот город, где служил в солдатах. Как часто бывает на свете, кто-то из его недоброжелателей распустил ложный слух. И Левантина поверила этому.

Вот теперь она убедилась, что Роман бросил ее, забыл. А уж если ушел далеко, то вряд ли вернется.

А может... Может, здесь не мог устроиться и вынужден был уехать в тот город, где его знают и дадут работу? Потом он вернется и возьмет к себе Левантину.

В каком бы безнадежном положении человек ни находился, он всегда питает хоть небольшую надежду, и пытается уцепиться за нее, чтобы удержать сладкий изменчивый аромат, вскруживший голову, чтобы не так остро ощущать удары неумолимой, немилосердной судьбы.

А время шло. Теперь уже все видели горе Левантины. Девушка пряталась от людей, но она не могла спрятаться от хозяйки. А уж та ее каждый день ела поедом.

Приближалась жатва. Левантина должна была вязать снопы.

Однажды вечером пошла она зачем-то в кладовую. И вдруг там почувствовала острую боль, пронзившую весь живот и поясницу. Так заболело, что она с трудом держалась на ногах. Но только на миг, боли тотчас и прекратились.

Левантина поняла, что начинается то — самое страшное. Хотя она уже знала, что оно неминуемо придет, уже приближалось, однако мысль о том, что это наступит сейчас, в этот вечер, обожгло ее словно огнем. Не думая, не зная, как поступить, Левантина выбежала из кладовой, выскочила со двора и побежала на противоположный конец села.

Она бежала, ничего не соображая, ничего не видя в темноте. И снова почувствовала еще более сильную боль, зашаталась и упала с разбегу. Упала животом прямо на бревно возле хаты... От боли чуть было совсем не лишилась чувств.

К счастью, ее никто не увидел. Очнувшись, она поднялась и пошла медленнее, не думая, куда идет. И вдруг очутилась она возле двора своей крестной матери, бабушки Олейник. Узнав ее хату, Левантина вошла в сени, но не осмелилась зайти в комнату.

— Кто там? — спросила бабушка и тотчас открыла дверь.— Левантина!.. Чего ты прячешься?

Левантина вошла в комнату и повалилась бабушке в ноги:

— Матушка-голубушка!..

Новый приступ боли прервал ее слова...

Ночью Левантина родила хилую девочку...

Жена Струка долго ждала возвращения Левантины из кладовой и не дождалась.

— Ох, и надоела мне эта проклятушая девка! Уйдет, да и сидит, чтоб она окаменела! Вот пойду да погоню так, что спотыкаться будет.

Пошла. Однако кладовая была открыта, но Левантины там не оказалось. Стручиха стала звать ее — не отзывается.

— Наверное, выбежала на улицу! Только и знает, что на улицу бегать! Чтоб тебе там ноги перебили!

Ложась спать, хозяйка долго злилась. Она намеревалась завтра избить Левантину, чтобы та помнила ее. Но Левантина и утром не пришла. Стручиха сыпала на нее проклятья, словно горох из решета.

— А, бесовская порода гулящих! Как раз перед самой жатвой сбежала, сучья девка! Чтоб тебя нечистая взяла, раз ты от меня в такую пору ушла! Чтоб тебе руки судорогой свело за то, что у меня работу бросила!

— Кого это вы проклинаете так, кума? — спросила Стручиху, проходя по улице, ее приятельница Вивдя.

— Да кого же, как не ту негодницу Левантину, чтоб се холера взяла! Ушла от меня в жатву.

— Да уж и не вернется она, кума! — ответила Вивдя.— Говорят, у бабушки Олейничихи с дочерью лежит.

— Да неужто? Вот я ей покажу!..

И хотя работы у нее было по горло, Стручиха опретью бросилась со двора.

— Куда ты, дура? Куда? — кричал Струк, но это не подействовало на нее: рассвирепев, баба бежала по улице как безумная. Струк посмотрел ей вслед, плюнул: — Ну, и бесовской породы!.. Из зменных спин сшита!..

А Стручиха тем временем была уже далеко. Она вбежала в дом бабушки Олейник такая разъяренная, что даже забыла поздороваться с хозяйкой. Левантина лежала на нарах, рядом с нею ребенок. Сгорбившаяся худощавая старушка что-то делала в доме.

— А, так ты здесь, голубушка! — зашипела Стручиха на Левантину.— Вишь, как барыня вылеживается! У людей жатва, а они отдыхают, намиловались с кавалерами—да с куклой забавляются! Что же, паныча или панночку, какую цяню набегали?! Чтобы оно опухло у тебя!

— Погодите, Секлета,— серьезно обратилась к ней старуха.— Вы тут не разоряйтесь! Это не ваш дом, а мой. Да и ребенка не трогайте, он ни в чем не повинен. Он как ангелочек, а вы к нему с нечестивыми словами лезете. Вот когда поправится Левантина, тогда и поговорите с ней. А сейчас или садитесь и разговаривайте по-человечески, или уходите отсюда с богом!

— Да чтоб вас всех черти забрали! — крикнула Стручиха и стремглав выскочила из хаты, хлопнув дверью так, что штукатурка посыпалась.

Каждому встречному жаловалась она на Левантину и ругала ее последними словами. Женщины покачивали головами, говорили:

— Боже мой, что творится на белом свете! Такая молодая, а такая неучтивая! Когда мы были молодые...

И они стали хвастаться, какие были хорошие и сдержанные в молодости и как тогда все отлично складывалось, а теперь не то — парень с девушкой только перемигнулись — и уже ребенка привели.

Осуждали Левантину, насмехались над ней, а таких, которые жалели ее, было немного. Жалел ее только один парень.

Это — Зинько.

Робкий с девушками, он долгое время не осмеливался ухаживать за Левантиной, а потом Роман помешал. Ночуя вместе с братом, Зинько заметил, что тот ходит куда-то ночью, а однажды увидел его с Левантиной и понял, что именно к ней протоптал Роман стежку.

И ему стало грустно.

А потом начали о Левантине и Романе распускать всякие сплетни, особенно, когда тот ушел из села. Зинько почувствовал, что, может быть, люди и правду говорят, и опять загрустил, стал жалеть девушку. Повстречав ее однажды, он хотел было с ней заговорить. Но она застеснялась, наскоро что-то ответила и убежала. С той поры она избегала его.

А теперь он слышал, что случилось с девушкой. И, сам не зная почему, переживал за нее, как за родную

сестру. Пропала девушка. Заклюют ее, изведут. И как только не совестно Роману. Ведь погубил ее, опозорил и бросил. Теперь уже ясно, что он не женится на ней. За что гибнет молодая, ни в чем не повинная девичья душа? Ей бы гордиться, цвести, как розе, согреваемой теплыми лучами солнца, а она должна гибнуть.

Зинько все больше и больше жалел Левантину. Она становилась для него все краше и дороже. Сам не мог объяснить себе, что с ним творится, почему он не спит по ночам и все думает о Левантине. Думает о том, как бы се горю помочь, как бы ей пособить... Но как? Если бы он знал...

Пойти в город, найти Романа, рассказать ему обо всем, пристыдить, заставить вернуться и забрать ее? Да не таков Роман, не послушается! Ничего из этого не выйдет! И говорят, сго нет в этом городе, уехал куда-то.

А без него — кто теперь приютит ее? Хорошо еще, если встретится ей старый вдовец с кучей детей, так хоть с ним будет горе мыкать. А скорее всего и старик не сыщется. Кто таких в жены берет?

Но разве это справедливо? Неужто она такая плохая девушка? Разве не может так случиться с каждой? А ведь она сирота; некому посоветовать, наставить, предостеречь. Может быть, она намного лучше других девушек, которые счастливо вышли замуж, только горе се в том, что она поверила... Но почему не может найтись человек, который женился бы на ней?

Потому что не все думают так, как он.

Однако он рассуждает правильно, как надо... Тогда... почему бы ему не жениться на ней?

И он стал помышлять о женитьбе на Левантине. И то, что не свершило молодое чувство, теперь сделала глубокая человеческая жалость...

Но ведь она любит Романа! Любит ли? После того, что он сделал с ней?

Зинько мог быть счастлив с Левантинной, да и ей было бы хорошо.

Но над ним будут смеяться...

Ну и пускай! А разве не посмеиваются над ним, что он водки не пьет?

И чем больше он думал, тем больше склонялся к мысли, что именно так и должен поступить.

Левантина оправилась после родов. Зинько выждал несколько дней и решил пойти к ней.

Когда Зинько пришел туда, старухи Олейник дома не было, а Левантина в это время пеленала ребенка. Увидев его, она смутилась, покраснела и не знала, что ей делать и говорить.

— Здравствуй, Левантина! — произнес Зинько.

Однако она только шевелила губами, не в силах от волнения что-либо сказать.

— А разве бабки дома нет? — спросил парень.

— Нету... — с трудом произнесла девушка.

— Это к лучшему: она мне и не нужна. Ведь я пришел не к ней, а к тебе, Левантина...

Левантина покраснела еще больше, ей почему-то очень стыдно стало, она готова была сквозь землю провалиться.

— Садитесь!.. — шепотом произнесла она, не глядя на него и не отходя от постели, наклонившись над ребенком, словно до сих пор еще пеленала его. А Зинько тоже не знал, с чего начать, и сидел молча; чувствовал, что это нехорошо, что он должен сказать, но не знал, как начать. И вдруг, неожиданно для самого себя, встал и подошел к Левантине.

Она стояла спиной к нему и даже не повернулась, только еще ниже склонила голову.

Зинько стал рядом с ней, и они вдвоем наклонились над маленьким, сморщенным личиком нового, недавно появившегося на свет человека. Девочка спала, как-то жалобно, болезненно скривившись.

— Левантина, хочешь, чтобы я был ребенку отцом?

Она услышала его немного дрожащий голос, эти удивительные для нее слова, но не могла понять их. А он продолжал:

— Я заменю отца твоему ребенку, буду любить его, как своего родного. Я никогда не упрекну тебя ни в чем... Я всегда буду любить и уважать тебя... Пойдешь за меня замуж?

Она посмотрела на него, все еще не понимая значения этих удивительных, неслыханных, неожиданных для нее слов. И вдруг ей все стало ясно.

— Нет, нет! — воскликнула она, пятясь назад. — Я не хочу! Не хочу!

И протянула вперед руку, словно защищаясь от него. А он, удивленный и обескураженный этим резким и неожиданным «нет», не знал, что сказать, и некоторое время стоял молча, а потом произнес:

— Левантина, неужто я так не мил тебе? Разве я обидел тебя чем? Не обижу и тогда, когда станешь моей женой. Подумай, Левантина, о том, какая у тебя будет жизнь — у брошенной девушки с ребенком! А выйдешь замуж за меня, я никому не позволю худого слова про тебя сказать. Будешь такой же хозяйксь, как и все.

В ответ на это раздалась плач, рыдания. Она плакала, склонившись ему на плечо, лаская его и говоря сквозь слезы. А он обнял ее и слушал полные отчаяния слова:

— Зинушка, братик мой родненький! Не могу я быть твоей женой!.. Это у тебя сердце золотое, душа твоя святая... Где уж мне быть твоей женой? Да над тобой люди будут смеяться, проходу тебе не дадут: полюбовницу брата взял!..

— Что мне люди?.. Пускай что хотят говорят, лишь бы я тебя любил. А обижать тебя я никому не позволю.

— Но людям-то рты не закроешь!.. Будут говорить, что захотят, потому что теперь обо мне все можно сказать... Я не хочу, чтобы ты страдал из-за меня... Возьми себе красивую, честную девушку,— она будет тебе женой...

— Ты для меня милее всех.

Затем она перестала плакать и отошла от него.

— Садись, Зинько, садись вон там! Не трожь меня! Он сел на скамью.

— В тебе говорит твое доброе сердце. Пусть бог благословит тебя!.. Даст тебе счастье с любимой женой!.. А меня, дорогой, не трогай!.. Мое уже пропало... Твоей женой никогда не буду... никогда... Только утром и вечером буду молиться за тебя.

Она стояла белая, как стена. Большие и глубокие глаза на ее осунувшемся лице светились чарующей нежностью...

А он уговаривал ее, стараясь подобрать слова, которые тронули бы ее сердце. И тронул, тронул так глубоко, что, может, и сам того не замечал, но не мог уговорить ее.

Ии с чем ушел Зинько от Левантины.

А она, оставшись одна, склонилась над колыбелью ребенка, прижалась к нему и замерла... только тело ее вздрагивало, обессиленное болезнью и тяжким горем, да душа болела, как никогда еще не болела, словно прощалась со всем прекрасным и светлым, что есть в жизни, со всем ароматом, теплом и радостью ее.

Зинько шел и думал о том, что ему делать. Он любил доводить начатое дело до конца. Решил переждать, пока Левантина успокоится, подумает хорошенько и убедится, что для нее это лучший выход из создавшегося положения. А тем временем он хотел поговорить и посоветоваться с отцом.

И вскоре, оставшись с отцом наедине, сказал ему, что хочет посватать Левантину.

— То есть как? — удивленно спросил старый отец.

Зинько стал рассказывать, как он на все это смотрит... Старик расстроился.

— Что это тебе, сынок, взбрело в голову? Разве можно? Мало ли отцовских дочерей, что ты на какой-то пройдохе с ребенком жениться хочешь?

— Ее ребенок, ваша внучка, батя.

— Что ты мне глаза колешь этой внучкой? Разве я ее заставлял спать с Романом? А тебе грех жениться на любовнице брата.

Вошла мать, узнала, о чем они говорят, и тоже набросилась на Зиньку:

— И не вздумай! Слушать не хочу! Мне противно на нее глядеть! Покуда я жива — не быть ей в моем доме.

Зинько рассердился.

— Вы только и думаете о богатой невестке, а о том не заботитесь, как нам всем искупить грех Романа и спасти обесчещенную им девушку.

— Никто ее не обесчестил! — заступилась за Романа мать. — Сама бегала к нему. И коль уж нагуляла ребенка, так пусть сама с ним и возится, но в моем доме ей не жить!

— Если бы Роман захотел жениться на ней, — вмешался отец, — я бы не возражал, а еще и поторопил бы свадьбу. Может быть, она мне и не по душе, да уж раз так случилось, ничего не поделаешь. А тебе не годится, грешно!

— Грешно? — сказал Зинько. — Ничего, батя, грешного здесь нет. Грешно оставить обесчещенную девушку

на глумление людям, а сделать ей добро, избавить от позора — это не грешно.

— Вот сказал! — рассердился Сиваш.— Ишь умный какой! Стали мудрее отцов! Испокон веков грешно было, а теперь у вас добром стало!

— Не все, батя, то правда, что испокон веков люди считают правдой.

— Лучше замолчи! Не раздражай меня! Не при нашей жизни началось, не при нас и кончится. А ты и думать об этом не смей, я этого не допущу!

Зинько понял, что отец заупрямился и теперь его не переубедишь. Решил покуда молчать, но не отказался от своего намерения.

А тем временем у Левантины новые переживания: ребенок заболел. Бабка Олейник сказала, что это, должно быть, потому, что Левантина тогда упала. Пожалуй, она была права. Ребенок поболел, поболел и, прожив всего две недели, умер.

Левантина шла за маленьким гробиком и горько рыдала. Теперь уже она была не девушкой, которой ребенок связал руки, а матерью, утратившей частицу своего сердца...

На другой день вечером Левантина пошла к Струкам. Вошла в дом и робко остановилась на пороге. Семья ужинала, и за столом сидела новая батрачка. Но Левантина и сама не хотела служить у Струков, а пришла совсем за другим.

— А, здравствуй! Зачем пришла? — недружелюбно спросила Стручиха в ответ на ее приветствие.

— Пришла поблагодарить, тетушка, да чтобы деньги отдали.

— Какие деньги?

— Заработанные мною шесть рублей.

— Ишь какая шустрая! Ушла от нас в самую жатву, я должна была по дорогой цене нанимать людей, а теперь еще и деньги требует! Нет у меня твоих денег! Какие были, все ушли на оплату новой батрачке.

Это было верно, что Стручиха новой работнице платила больше, чем Левантине, но она забыла о том, что никто в селе не получал так мало, как эта бедная девушка.

— Тетушка,— сказала Левантина,— побойтесь бога!

— Что ты мне богом глаза колешь? Ишь какая язы-  
кастая сделалась, когда снюхалась с кавалерами! Уходи  
отсюда, уходи туда, откуда пришла!

Струк не выдержал:

— Что ты, старуха, в самом деле, говоришь? Раз  
девушка заработала, отдай! Ну, вычисли, что переплати-  
ла Гапке, а остальное отдай!

Жена Струка снова принялась ругаться, тогда сам хо-  
зяин вытащил три рубля и отдал Левантине. Девушка дол-  
жна была вместо шести довольствоваться тремя рублями.

«Уйду из села! — подумала Левантна, возвращаясь к  
бабушке.— Уйду куда глаза глядят! Единственные здесь  
добрые люди — крестная мать да Зинько, а остальное  
все, кроме храма божьего, пусть хоть сквозь землю про-  
валится. Уйду! Где найду работу, там и буду жить».

Вымолила себе в волости паспорт, заплатила за него  
два рубля из полученных трех, поклонилась в ноги крест-  
ной матери, благодаря за ласку и помощь, да и ушла.

Вышла из села, оглянулась. Солнце только поднимал-  
ось на востоке, освещая своими золотыми лучами бе-  
ленькие хатки, кудрявые ивы, темневший вдаль лес,  
и широкое поле... И все, что еще спало или только пробуждалось, набиралось силы, энергии, устремляясь к  
могучему, бесконечно далекому и безгранично животвор-  
ному светилу тысячами движений, голосов, запахов,  
цветов... Земля словно вздрогнула, и заблестели, вско-  
лыхнулись волны мирной жизни.

Только на душе у Левантины было грустно, печально  
и невыразимо тяжело.

Остановилась и посмотрела на село.

«Не нашла я тут счастья-доли, только слезами свои  
стежки оросила. Пускай тропки зеленой руткой покроют-  
ся, а дорога терном зарастет, чтобы и нога моя больше  
не ступала сюда!»

И пошла не оглядываясь.

## V

А между тем, пока Левантина перевозмогала свою  
утрату и горе, крестьяне в Дыблеве забыли тревогу. Ни-  
когда прежде не было слышно, чтобы лошадей из их  
села уводили! Бывали, конечно, редкие случаи воров-

ства, да и то в степи: парни пасут, не досмотрят, а кто-нибудь и уведет коней. А сейчас прямо беда, напасть какая-то на село свалилась! Виданное ли дело! Прямо идут во двор, берут лошадей, чуть ли не на глазах, и уводят. И остановить нельзя, страшно: каждый помнит, что случилось со стариком сторожем: разбили голову, и концы в воду. Хорошо, старик не помер, не сильно ударили. Не то конец был бы ему. Итак около месяца пролежал в больнице, да и сейчас слаб еще. Что-то предпринять нужно. Разве можно дальше терпеть? Только человек станет на ноги, купит лошаденку, а ее уже нет как нет. Не может бедный мужик стать на ноги. Вот уже сколько увели лошадей: у Сивашей трех, у Хоменка двух, у Грицька, у Оксена... Разоряют проклятые конокрады, да и только! Уже и в засаду ходили и охраняли — ничего не помогает. И неизвестно кто — не знают люди, где искать. А если украли, то уж пиши пропало.

Обеспокоенный Денис больше всех раздумывал над тем, как бы выследить конокрадов. Да это и понятно! Сколько он трудился, копил, чтобы собрать денег на хороших лошадей! Купил — и тут же украли! За одну ночь, словно водой унесло!.. Он заплакал от боли и злости. И до сих пор, только вспомнит об этом, сердце у него от ярости распирает. А особенно еще... одно... Но об этом он никому не говорил... сам хорошенько обдумывал, выжидая удобного момента.

Голова у него разрывалась, он не знал, как поступить.

Наконец ему пришла в голову мысль.

После того как украли коня у Оксена, воровство на какое-то время прекратилось, — покуда люди забыли немного и не так бдительно стали охранять лошадей. А после жатвы снова украли пару хороших лошадей у кума Дениса, Терешки Тонконоженка. Как только Денис узнал об этом, сразу же пошел к нему. Тот сидел мрачный, как туча. Денис утешил его, а потом и сказал:

— Вот что, кум! Сколько люди ни искали лошадей, ничего до сих пор не находили. А давай-ка мы сделаем так. Есть в Черноусе знахарь, Острогляд. Сказывают, что к нему многие люди ходят, чтобы ворожил, когда коней или волов уведут. И коли скажет где, там и найдет мужик.

— Да неужто? — обрадовался Тонконоженко.

— Ей-ей, правда! Угадает, словно сам там был. Пойдем к нему!

— А сколько ему нужно за это заплатить?

— Сказывают, что несколько рублей.

Кум Терешко быстро собрался, взял деньги и отправился вместе с Денисом. Всю дорогу до Черноуса Дениса разбирало нетерпение еще больше, чем Тонконоженка: что же скажет знахарь?

Вошли они в село Черноус. Навстречу им мужик волов гонит. Они и стали расспрашивать его об Острогляде.

— А зачем он вам? Не коней ли ищите?

— Да, коней! — И они рассказали ему о своей беде, спрашивая, может ли Острогляд помочь им.

— Он да не сможет?! Скажет — как в воду смотрел! Такой знахарь, что на всю округу. Вначале он помогал людям от болезней и прочее, а нынче стал и о ворах гадать. Люди к нему так и плывут, плывут потому, что коли скажет нет, то уже нет, а ежели сказал, что будет, знай: лошади твои уже дома.

Словоохотливый мужик восторженно рассказывал о том, какой хороший знахарь Острогляд. Он гордился тем, что в их селе живет такой знатный человек, подобно тому, как в городе гордятся жители своим прославленным ученым или кем-нибудь другим. Наши путники с удовольствием слушали его, с надеждой подходя к дому знахаря. Вошли они в его дом преисполненные уважения и еще больше — страха.

Хозяин был дома. Он сидел за столом и раскладывал какие-то сухие травы. И на стенах и на колышках висели пучки этих трав.

Они уже вошли в дом; знахарь словно и не слышит и не видит их.

Они робко остановились у порога, сказав:

— Здравствуйте, дяденька!

Знахарь опять молчит, словно в комнате, кроме него, никого нет. Обоим гостям стало жутко. Стоят и робко поглядывают на чудного хозяина... Мужик еще не старый, с небольшой рыжей бородкой, в чумарке. Собирает траву и связывает ее в пучки. Перевязал все, что лежало на столе, сложил в одно место. Тогда только взглянул на посетителей.

Посмотрел — и Денис сразу понял, почему его про-

звали Остроглядом: у него был взгляд, насквозь пронизывающий собеседника.

— А, здравствуйте, мужики! Что скажете?

— Да к вашей милости,— поклонились ему гости.

— Садитесь, рассказывайте!.. Хотя я...— он остановился и пристально посмотрел на них,— и знаю, зачем вы пришли сюда, но все-таки расскажите.

Сели. Тонконоженко стал рассказывать. Острогляд молча слушал, изредка кивал головой, словно поддакивая.

Выслушав, подумал...

— Посидите здесь, а я пойду погляжу.

Он вышел из комнаты. Ждут кумовья, и каждая минута ожидания кажется им часом. А знахарь все не идет да не идет.

Долго что-то смотрит — наверное, не легкое дело. Смотри, как бы не сказал — «пропало».

Скрипнула дверь; Денис и кум вздрогнули. Вошел знахарь, сел молча за стол, задумался...

— Так... Один конь гнедой, с лысиной на лбу?

— Он! — воскликнул Тонконоженко.

— На передних ногах белые мычки? <sup>1</sup>

— Ей-ей, он! — Терешко даже поднялся на ноги, не мог усидеть спокойно.

А знахарь спокойным и безразличным тоном продолжал:

— А второй конь вороной, очень хороший.

— Ох, и добрый! — воскликнул бедный хозяин.

— Да... Знаю, где твои кони. Можно найти.

— Дяденька! Будьте милостивы! Скажите — где! Я уж для вас не пожалею!..— упрасивал Тонконоженко, взволнованный надеждой снова увидеть своих коней.

— Так что же...— равнодушно, не торопясь, ответил знахарь,— можно и сказать... лишь бы было за что.

— Да я хоть сейчас готов... Говорите — сколько! — поспешил Тонконоженко.

— Двадцать пять рублей положи на стол — получишь лошадей.

— Ох, это как будто дороговато! — опечалился Тонконоженко.

---

<sup>1</sup> Мычка — волосы у лошади сзади над копытом.

— А кони еще дороже. Наверное, за каждого рублѣй по сорок дал?

— За одного сорок, а за второго сорок три.

— Вот видишь. Теперь ведь кони подорожали, за них уже не восемьдесят три, а может, и сотню можно взять. Я тоже не могу за спасибо делать: мне тоже достается не даром. По мне, как знаешь...

Поднялся Острогляд и стал снимать с колышков траву и раскладывать ее на столе, словно его теперь вовсе не интересовали лошади Тонконоженка.

Жаль было Терешку столько денег платить. Но видел, что иначе ничего не выйдет. Попытался было поторговаться с Остроглядом, но тот даже не ответил ему. Пришлось вытаскивать деньги. У него не хватило своих денег и он одолжил у Дениса. С трудом собрали деньги, и Тонконоженко положил их на стол. Знахарь, казалось, даже не посмотрел на них.

— Сегодня у нас пятница...— начал он,— так вот, в понедельник, как только взойдет солнце, пойдешь в Черный яр... Знаешь? Там будут стоять твои лошади, привязанные к большому дубу, который растет посредине яра.

— А если не будет их там? — робко спросил Тонконоженко, потому что его охватил страх: а что, если деньги пропадут?..

— Говорю, будут, значит, будут,— сердито ответил знахарь.— А коль не веришь, хоть сейчас деньги забери, мне все равно. Только тогда уж не видать тебе своих коней.

Тонконоженко испугался и умолк.

— Да смотри ни с кем словом не обмолвись до тех пор, пока коней домой не приведешь. А после можешь говорить кому угодно. Но скажешь раньше — коней не увидишь и беды не оберешься. Слышишь?

И он так посмотрел на Тонконоженка своими острыми пронизывающими глазами, что у того даже по телу дрожь прошла.

Денис спросил:

— А нельзя ли, дяденька, узнать, кто украл?

— Ого! Чего захотел! Будь доволен, что кони найдутся! — ответил знахарь.— Собственно, можно сказать и об этом, но тогда уж никогда коней своих не увидишь, потому что гадать можно только про одно.

— Да бог с ним! Мне хоть бы лошадей! — махнул рукой Тонконоженко.

Попрощались и ушли. Жаль было денег Тонконоженку, но хорошо хоть, что лошади найдутся.

Пошли мужики домой, а спустя некоторое время вслед за ними отправился и Острогляд. Взял палку в руки и пошел по полям и дубравам собирать травы. Так, собирая травы, дошел до хутора Гапона, что находился у дороги, проложенной из Черноуса в Дыблево.

— А что, клюет? — спросил Гапон, вводя гостя в дом.

— Кони Тонконоженка... Вот двадцать пять... — Он рассказал ему о том, как приходили к нему Терешко и Денис. — Двадцатка вам, а пять рублей мне. Пускай ваши хлопцы ведут лошадей в Черный яр, — так, чтобы в понедельник к восходу солнца они были привязаны там к большому дубу.

— В том-то и беда, что коней уже нет у меня. Я узнал, что ко мне должен был приехать становой по делу, так я, чтобы спокойнее было, отослал их в Лабзы. Да и с хлопцами забота: один лежит больной, а другого услад далеко по делу.

— Эх, жаль!.. Кабы я знал, все по-иному...

— Ну да ничего! Я поеду в город вот и передам Ярошу, чтобы кто-нибудь из его хлопцев привел лошадей.

— Ну и хорошо!..

Друзья расстались.

А Денис все время думал об этом знахаре. Он не удивлялся, что тот и угадал, какие лошади, и знает обо всем, — на то он и знахарь, чтобы угадывать, а удивлен был тем, каким это образом лошади в Черный яр попадут. Откуда они там возьмутся? Кто их туда приведет? Может, конокрады там лошадей прячут? Да нет, не с руки... Разве сами прибегут? Нет, не должно быть: знахарь говорил, что лошади будут привязаны, — а сами-то они себя не привяжут. Но кто же их привяжет?

Эти мысли не давали Денису покоя. А что, если пойти туда, спрятаться в кустах и проследить — кто лошадей приведет? Может, таким путем он и опознает конокрада. Вот было бы здорово!

Только страшно! А что, если это нечистая сила туда лошадей приведет? Денис боялся нечистых, хотя и знал,

что от них легко защититься крестом. Да пусть и не черт, а сами конокрады, разве их не страшно?

Да только вряд ли они так сразу и попадутся. В этом яру можно спрятаться так, что никто и не заметит. А может быть, вдвоем с кумом Терешком пойти — сподручнее будет? Денис пошел с таким предложением к Тонконоженку, но тот отказался наотрез идти с ним.

— Нет уж,— говорит,— коль знахарь сказал, так и сделаю. А если не послушаюсь его — и деньги пропадут, и кони не вернутся. И ты, кум, не ходи, прошу тебя!

Денис сказал, что не пойдет, а сам только и думал об этом. С горем пополам прожил субботу, а когда наступило воскресенье, места себе не находил: мысли о Черном яре не давали ему покоя. Идти или не идти?

Да неужто он такой трусливый, что побоится пойти? Что будет, то будет, все-таки пойдет!

Уж если кто-нибудь приведет лошадей, так только ночью, с воскресенья на понедельник. Пойдет он туда вечером.

Больше он ни с кем об этом не говорил. Дома предупредил, что пойдет на ночь по делу в Черноус,— придумал причину ухода. Взял в руки толстую дубинку и ушел еще засветло. Пока дошел до Черного яра, стало смеркаться. Оглянулся, посмотрел вокруг — ни души. И он медленно спустился в яр.

Черный яр сверху казался настоящим лесом, а когда спустишься в него — попадаешь в глубокий овраг. Дубы, клены, осина, берест и всякие кустарники так густо разрослись в нем, что накрепко сплелись. В степи еще было светло, а здесь совсем темно, как ночью. Денис в темноте отыскал знакомую тропинку и, отклоняя руками ветки и зажмурившись, чтобы какая-нибудь из них не ударила его по глазам, пошел.

Он знал, где растет дуб, у которого должны были стоять лошади, и направился было к нему. Но куда дошел до него, ветки сильно исцарапали ему лицо. Наконец он спустился на дно яра,— здесь раскинулась небольшая лужайка, посреди которой стоял тот самый дуб.

Огромное старое дерево, чернея своим могучим стволом, раскинув нарядный неподвижный шатер сонных листьев, стояло, как и прежде, одиноко, и никаких лошадей возле него не было.

Где бы спрятаться так, чтобы можно было все видеть и в то же время оставаться незамеченным? Стал всматриваться и вскоре нашел недалеко от дуба укромное местечко в кустах. Отсюда видны дуб и вся лужайка. Откуда бы ни подошли к дубу — Денис все равно увидит.

Положил рядом палку и лег. Хотел было закурить, да побоялся: запах табака далеко слышен, и можно испугать вора. «Потерплю уж».

Что же он будет делать, когда увидит конокрада? Плохо, что ночь слишком темная. Если бы светло, узнал бы кто или хотя бы хорошо разглядел, свой или чужой. А тут, как назло, и луны нет, да и звезды, укрытые за тучами, плохо светят. Ведь не остановишь вора и не спросишь: «Кто ты?» Плохо сделал Денис, что послушался кума и никому не сказал. Нужно было собрать человек пять, да и спрятаться здесь, тогда бы они уж поймали конокрада. А так ничего не выйдет.

Не вернуться ли домой?

Денис подумал немного. Нет, останется здесь. Хоть посмотреть, что оно да как, а потом решать, как поступить.

Ночной воздух в глубоком овраге очень холодный, влажный, Денис сильно продрог. В селе ночью куда теплее, потому он и надел чумарку, а нужно было взять свитку. Привстал с земли, застегнул чумарку на все пуговицы и сел, опершись спиной на какой-то пенек. Время от времени смотрел на лужайку и дуб, но ничего не видел. Начали ослабевать глаза.

По небольшому клочку неба, которое отсюда мог видеть Денис, передвигались тучи; звезды то утопали в них, то снова всплывали, едва мерцая.

«Еще дождь пойдет,— подумал он.— Это плохо: пожалуй, замерзнешь и не усидишь».

Огромные деревья склонили над ним свои кудрявые темные ветви. Толстые стволы вырисовывались в темноте. Казалось, что какие-то огромные люди, какие-то великаны, мрачные и страшные, окружали его молча и протягивали к нему свои гигантские лапы, стараясь схватить. Вот прямо над его головой нависла такая лапа, широко-широко расставив толстые волосатые когти. Еще чуть ниже — и схватит его. И вдруг эти когти зашевелились, словно опускаясь ему на голову. Денис хотел было отстраниться, но в тот же миг увидел, что и остальные страшные черные когти пришли в движение и протянули

к нему свои длинные, словно щупальцы, лапы... Холодный чудовищный страх прижал Дениса к земле, сковал его так, что он не мог пошевеливаться... Зашелестело, зашумело, все вокруг наполнилось звуками...

Денис вскочил на ноги — и тотчас рассеялся весь его страх. Только ветер слегка шелестел листьями, раскачивал ветки. Денис глубоко вздохнул, словно сбросил с себя какую-то тяжесть, и сплюнул, мысленно ругая себя за то, что так глупо испугался, и, перекрестившись, снова уселся.

Неспроста люди называют этот овраг Черным яром: в нем и деревья страшны.

А ведь давным-давно прозвали его Черным. Отец рассказывал, что когда-то здесь жили разбойники, было их тут видимо-невидимо. Тогда был здесь дремучий лес, — это теперь его вырубил, — такой лес, что трудно было пробраться сюда. А они, разбойники, наверное, вот именно тут, возле этого дуба, и жили. Днем в яру сидят, а ночью на добычу идут, людей грабят, а то и убивают. Как-то раз ночью, сказывают, молодой и богатый барин с молодой барыней мимо этого яра проезжали. Разбойники и напали на них. Барина убили, а барыню атаман разбойников, по прозвищу Черный, себе взял. Уж она просила-молила его, чтобы он не брал ее, говорила, что выкуп за себя пришлет ему большой... Но она была такая красивая, что атаман сразу влюбился в нее и повел в этот яр. Вначале она вырывалась, кричала, а потом утихла. Когда привели барыню в яр, была ночь, и атаман взял ее к себе в шатер. Разбойники легли спать, посмеиваясь и завидуя атаману. Проснулись они днем — не слышно их атамана. Заглянули в шатер, видят — лежит атаман, в груди у него кинжал торчит, а в другом углу шатра мертвая красивая барыня: сама себя зарезала, убив атамана. Разбойники похоронили их обоих в яру и избрали нового атамана. Но вот беда! Не пришлось им тут долго жить. Как только наступает ночь — появляется мертвая барыня, ходит, плачет и проклиняет разбойников за то, что они погубили ее. И ими овладел такой страх, что они покинули этот яр и ушли куда-то далеко. А барыня, говорят, каждый год в ту ночь, когда покончила с собой, выходит из могилы и бродит по яру. Вся в черном одеянии, она медленно-медленно шествует...

Вдруг донесся тихий, едва заметный топот. Денис услышал его. У него замерло сердце, волосы встали дыбом... Топот... Еще издали донесся топот... Вот он уже слышен и на лужайке...

Какая-то большая черная тень приближается. Денис старается понять, что это, однако темень не дает ему возможности рассмотреть. А тень все приближается и приближается... Вот одна... вторая... Да это мужчина с парой лошадей!..

У Дениса снова замерло сердце, но уже не от страха, а от мысли: что сейчас произойдет и кого он увидит?

Мужчина подвел лошадей к дубу и стал ощупывать — к какой ветке лучше привязать. Сначала привязал одного, потом второго коня. Постоял с минуту, словно раздумывая над тем, что дальше делать, и пошел по тропинке в ту сторону, где сидел Денис, немного наискось от него.

Уйдет! Вот сейчас он уйдет, скроется, и Денис снова ничего не узнает, и напрасно пропадут все его усилия: так и не выяснит, кто его враг! И вдруг словно какая-то сила бросила Дениса навстречу неизвестному человеку. Он побежал и остановился перед ним, левой рукой схватил вора за горло, а правой размахнулся и изо всей силы дубинкой ударил его в бок. Человек упал, и Денис навалился на него.

Но напрасно Денис полагался на свои силы. Человек, на которого он набросился, был намного сильнее его. Он сразу же вырвался, подмял Дениса под себя и надавил коленкой.

— А! Так ты драться? — захрипел знакомый Денису голос.

— Роман! — воскликнул Денис.

И умолкли, глядя друг на друга; один лежал на земле, прижатый коленом, а другой наклонился и держал его за горло, стараясь сквозь темень непроглядной ночи различить знакомые черты.

И сразу узнали...

Денис почувствовал, как Роман еще сильнее сжал ему горло, но только на мгновенье. Затем, как дикий зверь, одним прыжком Роман исчез в темноте.

Денис поднялся, пошатываясь. Грудь у него болела. Ишь проклятый! Как придавил коленом! Здоровый как бык!..

Денис весь дрожал от напряжения и злости. Теперь он знает, кто уводит лошадей. Прежде только догадывался, а теперь убедился. Ах ты злодей, конокрад, ирод проклятый! Теперь ты у меня в руках!..

Денис отвязал лошадей и вывел их из яра...

Еще была ночь, когда он въехал во двор кума Терешка и постучал в его темное окно.

— А выйди-ка сюда, кум!

Тонконоженко, узнав по голосу Дениса, тотчас вышел. Возле двери стоял Денис и держал пару лошадей.

— А это что?

— Твои кони.

— Ой! Да ну?

— Посмотри!

Тонконоженко бросился к лошадям и в темноте окинул их хозяйским взглядом. Кони действительно были его.

— Да как же это? Ничего не пойму.

— Запри коней в конюшню да пойдем в хату, там расскажу.

Денис поведал Тонконоженку, как все произошло. Тот радовался возврату лошадей и в то же время побаивался: а что, если знахарь разгневется?.. А когда Денис сказал, что он хочет донести на Романа уряднику, тот совсем испугался:

— Ох, кум, не делай этого! Разве ты не знаешь этого Острогляда? Ведь все говорят, что его нельзя задевать. Он, если захочет, то такого наделает, что и житья не будет. Говорят, что он болезнь накликает на людей и мор на скотину.

Денис стал возражать. Ведь здесь нет никакой нечистой силы. Знахарь, наверно, действует заодно с конокрадами. Дело обычное, человеческое.

Но кум с ним не соглашался. Пускай и человеческое, но знахарь связан с нечистой силой.

Чтобы прекратить спор, Денис умолк. Он остался ночевать у кума, а утром вернулся домой.

Был праздник, Домаха ушла в церковь. Мать варила обед. Отец и Зинько сидели в хате.

— Вот, батя, и вырастили сыночка-конокрада! — начал Денис, обращаясь к отцу.

Старик внезапно вздрогнул.

— Ты что мелешь, Денис? О ком ты говоришь?

— О ком же я буду говорить, если не об этом лодыре, проклятом ворюге! — со злостью ответил Денис, раздеваясь и сердито бросая чумарку на пол.

— Не злись, а лучше толком расскажи! — велел отец.

Денис стал рассказывать. Он и раньше думал, что этим занимается Роман. Но что же — нельзя было доказать. А вот теперь он убедился... И Денис рассказал все, что видел.

Старик Сиваш слушал, склонясь на конец стола, о позоре, которым покрыл его родной сын, и не замечал, убитый горем, как жгучие слезы скатывались по лицу, бороде и падали огромными кристалльными каплями на его натруженные черные руки.

Дожил! Разве он об этом мечтал, этого ждал? На старости лет родной сын покрыл его седую голову таким позором, осрамил перед людьми!.. Никогда в роду Сивашей не было воров. А тут на тебе!..

Мать тоже стояла возле печи, прижавшись к ухватам в углу, и вытирала слезы. Зинько сидел бледный, точно смерть. Горе, словно тяжелая туча, нависло над семьей Сивашей.

А Денис с увлечением продолжал свой рассказ, не обращая внимания на переживания отца, матери и брата. Закончил — и умолк, но все сидели неподвижно, словно застыли. Только всхлипывание матери нарушало тишину. Денис опять начал:

— Нельзя прощать ему. Он и дальше будет грабить крестьян и нас. Я пойду в волость. Пускай едут в город и заберут его в тюрьму.

— Денис, ты что, рехнулся? — сердито спросил отец.

— Почему это я рехнулся?.. А что, по-вашему, я должен подарить ему трех лошадей, что ли?

— Ах ты поганец бесстыжий! — горько и укоризненно произнес отец тихим дрожащим голосом, сдерживая свое волнение. — Так ты, значит, пойдешь сам себя позорить, людям рассказывать, что Сиваши воры?

— Вы потому так говорите, что старые и вас уже не интересуют хозяйство, а нам с Зиньком надобно беречь свое добро.

— А ты, Денис, за меня не говори! — произнес с достоинством Зинько. — Честь нашей семьи мне дороже добра. Хотя бы даже тридцать лошадей пропало, я не пойду заявлять на своего брата, позорить самого себя.

— Ха-ха! Какой же это позор! Ведь не мы крали, а он. Ну, как хотите, коль вы такие добрые и богатые! А я этого не прощу, своего не подарю. Я сейчас же пойду к уряднику! — и стал было одеваться.

Мать заголосила на всю хату, бросилась к Денису, уцепилась за него:

— Денис! Что ты делаешь? Слышишь, я не пушу тебя! Не ходи!

— Отстаньте, мама! — сердито крикнул Денис, высвобождаясь из рук матери.

— Оставь его, мать! — велел отец. — Слушай, Денис! — обратился он к сыну, и голос его зазвенел так грозно, что тот сразу остановился. — Я не разрешаю тебе и приказываю не делать этого. Покуда жив, я распоряжаюсь своим добром, а не ты! Пойдешь доносить — сегодня же прокляну тебя и выброшу вон из моего дома со всеми твоими пожитками, чтобы не позорил нас! И ничего не дам.

Денис знал отца. Он был уравновешенным человеком, но если заговорит таким тоном, как сейчас, то сдержит свое слово. Денис сердито бросил чумарку на постель и молча вышел из хаты, так стукнув дверью, что даже штукатурка посыпалась.

Денис, и верно, не пошел к уряднику, но не утерпел, рассказал кое-кому из своих знакомых о происшествии в Черном яру. Вскоре слух разнесся по селу. Узнал об этом и урядник, который зашел вначале к Тонконоженку. Однако тот, боясь знахаря, сказал, что ничего не знает, а лошади сами нашлись в Черном яру. Урядник пригласил Дениса, но тот тоже ничего не сказал ему, боясь отцовской кары. Ничего урядник не разузнал. Конечно, можно произвести обыск у знахаря, у Романа, да разве у них что-нибудь найдешь? Все село говорило о нем, но арестовать его не могли, не было улики.

А люди, узнав, что в селе свой вор, — еще больше встревожились: он знает, у кого что есть, от него трудно уберечься. Наняли еще больше сторожей. Ночью мужики всегда ночевали возле своих коней, держа при себе кол или хорошую палку, а у некоторых было и ружье. Все ненавидели Романа, если кто прежде и защищал его, теперь только ругал. А уж хозяева, у которых он лошадей увел, возненавидели и проклинали его на чем свет стоит. Двое крестьян, у которых увели лошадей,

совсем обеднели, а остальным пришлось одалживать деньги на покупку новых. Теперь Роману небезопасно было появляться вблизи Дыблева.

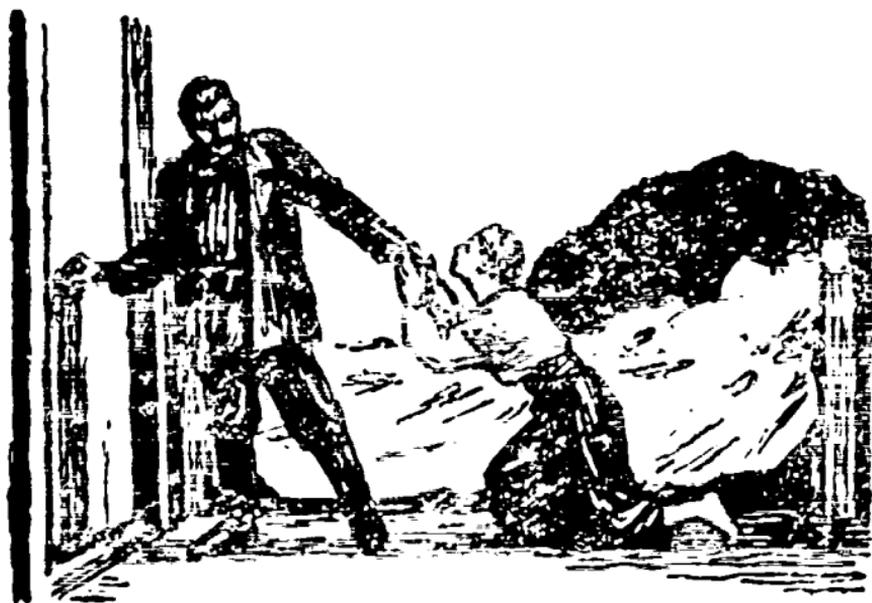
Однако после случая в Черном яру кражи лошадей прекратились: то ли конокрады испугались, что их обнаружили, то ли они ничего не могли сделать при такой усиленной охране.

Так считали мужики; а у Романа на уме было совсем другое.



*Чисто грешка*

ЛЕВАНТИНА



I

Левантина не знала, куда ей идти. Решила отправиться в соседнее село: сейчас время жатвы, может, и найдет работу. До села было всего восемь верст, и она пришла туда еще до завтрака. Миновав первые хаты, остановилась перед большим домом с большим подворьем, в котором виднелись добротный сарай, конюшня и хлев. Посреди двора стояла запряженная лошадь.

«Наверное, богатый хозяин живет,— подумала девушка.— Зайду-ка к нему».

Робко вошла во двор. И как раз в этот момент из дома вышел хозяин — кряжистый мужчина с проседью, с коротко подстриженной острой бородой, с кустистыми бровями. Он собрался ехать в поле и увидел Левантину.

— Что тебе нужно, дивчина?

Она низко поклонилась ему, здороваясь, и дрожащим голосом сказала:

— Ищу работы... Не нужна ли вам наймичка?

— Работу? А откуда ты? — спросил хозяин, недоверчиво взглянув на нее из-под кустистых бровей.

— Из Дыблева.

— А чья же ты? — И он подробно стал расспрашивать ее, кто она и почему ушла от прежних хозяев. Она сказала, что заболела, а тем временем хозяева взяли новую наймичку. Хозяин еще раз посмотрел в ее паспорт (по-видимому, был грамотен), вернул его.

— Ну что ж, оставайся у нас. Работы теперь много... Дам тебе три рубля в месяц.

— Дяденька, теперь ведь дороже платят,— робко сказала девушка.

— Может быть, где-нибудь и больше платят, однако надо еще поискать. А тут тебе сразу дают работу.

Левантина подумала: и впрямь, когда еще найдешь заработок. И согласилась.

— Иди в дом, позавтракай, да и поедem сразу в поле!

Левантина вошла в дом. Там хозяйничала пожилая женщина.

— Вот, старуха, нежданно бог послал нам наймичку,— сказал ей хозяин.— Дай ей позавтракать, и поеду я вместе с ней в поле...

Не успела Левантина опомниться, как прошел месяц ее житья у Бовкунов (так звали хозяев). Работа была тяжелая, как обычно во время жатвы, но Левантина не боялась никакой работы, хотя была хрупкой и худенькой девушкой. Хозяева, их сыновья и дочери, видя, что она трудолюбивая, простая и застенчивая девушка, относились к ней хорошо. А сама Левантина, будучи с утра до вечера занята по хозяйству, немного успокоилась, и ее не так, как прежде, терзали ненавистные думы о прошлом.

О том, что случилось в Черном яру и после в Дыблево, она ничего не знала,— это произошло после ее ухода из села; а сюда слухи не доходили. Левантина думала, что долго проживет у Бовкунов, но ошиблась.

Однажды, когда все завтракали, скрипнула дверь, и в дом вошла какая-то девушка.

— Здравствуйте! Вот я и вернулась.

— А. Параска! — обрадовались хозяева.

Оказалось, что эта Параска — наймичка Бовкунов. У нее заболела мать, и она на некоторое время отпроси-

лась домой. Теперь мать поправилась, и Параска вернулась к своим хозяевам.

Левантина опять осталась без работы, потому что хозяева взяли Параску. Она не утерпела и сказала:

— Почему вы, дяденька, сразу не сказали мне, что у вас есть наймичка? Может быть, тогда я и не стала бы у вас работать, а где-нибудь в другом месте нанялась.

— То-то и оно, дивчина! Потому и не сказал, что ты тогда не стала бы у меня работать, а мне, сама видишь, до зарезу нужны были рабочие руки,— чистосердечно признался Бовкун...— Да ты не горюй! Я завтра поеду в город, а там у меня есть родственник — двоюродный брат, бакалеей торгует... Когда я был у него, он мне сказывал, что ему нужна работница. Поедем завтра в город, вот я тебя и отвезу к нему; может, он еще не нашел девуку и возьмет тебя. А не он, кто-нибудь другой возьмет,— в городе людей много.

«В город так в город!»—подумала Левантина. В городе она никогда не была, и ей немного страшновато ехать туда, но там можно найти работу, а тут жатва уже закончилась, и спрос на рабочие руки не велик. Утром она поехала с Бовкуном в город.

Почему-то город показался ей не таким красивым, каким она представляла его прежде. Большие дома она видела у господ и в своем селе, только здесь их было значительно больше — деревянных, каменных, серых, белых, желтых... — так и мелькают перед глазами... Да все один к другому попржиались — ни огородов, ни садов. По улицам снуют какие-то солдаты и господа, ругаются горожане; воз так тарахтит по мостовой да подскакивает на ухабах, что нет мочи сидеть на нем. Левантина не понравилось все это.

— Тпру! — придержал Бовкун лошадей.

Остановились возле небольшого магазина.

— Ну-ка, слезай, Левантина, вот мы и приехали.

Бовкун привязал лошадь к фонарному столбу, и они вдвоем вошли в магазин.

Магазин был почти такой же, как и у них в селе, только чуть побольше. В нем суетился хозяин, Степап Иванович Квасюк, то есть Квасюков,— так он теперь называл себя. Это был чернявый, с выпуклыми глазами, с подстриженной по-городскому бородкой, не очень красивый, но и недурной собой мужчина.

— Здравствуй, Степан Иванович! — поздоровался гость.

— А, здравствуйте, здравствуйте, Платон Гаврилович! Заезжайте во двор, чего это вы на улице остановились? — приглашал хозяин.

— Некогда, надо на базар успеть, — ответил Бовкун. — А вот я, ежели хотите, дивчину вам привез. Или, может, вы уже наняли?

— Нет, нет еще.

— Вот она хочет наняться к вам. Служила у меня месяц. Хорошая работница. Я оставил бы ее у себя, но нельзя. — И он стал рассказывать, почему он вынужден был отослать Левантину. А Квасюк тем временем оглядывал Левантину своими выпученными глазами, которые произвели на нее неприятное впечатление.

— А сколько же ты хочешь, дивчина? — спросил он.

— Три с половиной рубля в месяц, — робко ответила она.

В городе прислуги получали по четыре и по пять рублей. Однако Квасюк понял, что Левантине неизвестно об этом, и сказал, что больше трех рублей не может дать, да еще и одеваться она должна за свои деньги. Левантина недолго думая согласилась. Квасюк взял у нее паспорт и отвел к жене на кухню.

Жена Квасюка, высокая и худая женщина, видимо намного старше своего мужа, окинула Левантину таким сердитым взглядом, что у той даже душа похолодела.

«Боже мой, — подумала, — какие тут неприветливые люди! Как я буду с ними жить?»

Хозяйка тотчас заставила ее топить печь и готовить обед. Несколько раз она отругала Левантину, называя ее ничего не смыслящей деревенщиной, хотя она и делала все как надо. Левантина не понравилась ей потому, что была молода и красива. Квасюк был на десять лет моложе своей супруги и женился на ней из-за денег. Эти денежки он сразу прибрал к своим рукам, открыл магазин, а с женой совсем не считался. Она была некрасивая и старая и давно надоела ему. Когда он нанимал молодую наймичку, жена злилась и всячески придиралась к ней, всеми силами стараясь избавиться от нее. Она хотела, чтобы у них служили пожилые женщины, к которым этот проклятый бабник не приставал бы. Но Ква-

сюк прогонял старых так же, как она молодых. И поэтому в их доме всегда кипело, словно в котле.

В тот же вечер она сказала мужу, что Левантина глупая деревенщина, ничего не смыслит, и она рассчитает ее. Но Квасюк уже знал истинную причину.

— Не придирайся! — крикнул. — Из-за тебя прислуги не держатся в доме. Каждый месяц все новая. Рассчитаешь ее — останешься совсем без помощницы, тогда никого нанимать не буду.

— Лучше уж совсем без прислуги, чем она! — кричала разъяренная Квасючка, потому что такой красивой девушки, как Левантина, у них еще никогда не было.

— Да мне все равно, черт тебя бери! Делай все сама, — вишь, здоровая, точно кобыла! Но ведь сама-то всего не сделаешь и своими прихотями нанесешь куммерции вред.

— Куммерции вред! Знаем, какая куммерция у тебя в голове! Знаю, чего ты хочешь! Гляди же, я за тобой и ночью буду следом ходить.

Двое детей — мальчик шести лет и девочка семи — проснулись и слушали ругань матери с отцом, и, наверное, не впервые. Не обращая на них внимания, Квасючка кричала:

— Ночью я тебя с постели не отпущу! Не думай, что будет по-твоему...

— Фу ты бешеная! Я тебе говорю: прогонишь эту девку, я снова тебе назло ее найду, а тебя из дому выгоню, — иди прочь к своему глупому отцу, который сотворил такую пришибленную дочь!

Квасючка умолкла: она хорошо помнила, что муж однажды выгнал ее. Однако отец не очень-то радушно принял тогда дочь, пришлось возвратиться домой, покориться мужу. Она притихла, но решила насолить Левантине, чтобы та не выдержала и сама сбежала.

Квасючка и впрямь не давала ей житья. Она перегружала Левантину работой, часто бранила и избивала ее. Сердитая Стручиха казалась доброй в сравнении с этой худой, как сушеная вобла, носатой рыжей торговкой, разъяренной завистью и ревностью. Вставала Левантина на рассвете, когда еще было темно, а спать ложилась в полночь и весь день работала не покладая рук. Что ни делает, куда ни пойдет — все не так, все никак не угодит хозяйке, которая бесконечно бранит, а то и колотит

ее. Квасюк хорошо относился к Левантине и, когда жены не было дома, посматривал на нее, точно кот на сало. Взгляд его пугал ее, и она молила, чтобы поскорее возвращалась хозяйка,— пускай уж лучше та ругает ее. Левантина старалась избегать его. Хозяин был чересчур ласков с ней и порой украдкой насильно совал в руки конфеты. Левантина любила сладости, но эти конфеты почему-то были противны ей, и она отдавала их детям или выбрасывала. Однажды хозяин захотел подарить ей красивую красную ленту, но она отказалась от подарка и убежала от него.

Прошел месяц. Левантина так устала, что решила отказаться от службы и заявила об этом хозяину.

— Почему? Из-за чего?

Она объяснила, что ей здесь очень тяжело жить: работает без отдыха и всегда слышит одни лишь оскорбления да брань. Но Квасюк ни за что не хотел отпускать Левантину.

— И не думай! Не проси! Да ты что надумала? Какое ты имеешь право оставить меня без прислуги? Должна служить до тех пор, покуда найду другую. А что касается тяжелой работы, впредь этого не будет.

Левантина вынуждена была остаться. И в самом деле, ей немного легче стало: хозяйка теперь не ругала, как прежде, и не избивала, хотя смотрела на нее еще более злыми глазами,— потому что муж не только поругался с ней из-за Левантины, но и поколотил ее.

Между тем Квасюк все нахальнее и нахальнее приставал к Левантине. Только жена из дому, он оставит детей в магазине — и к прислуге. Однажды Квасюк хотел было обнять Левантину, но она с такой силой оттолкнула его, что он с ног свалился.

— Ишь ты какая сердитая! — сказал будто и ласково, но в его выпученных глазах вспыхнул злой огонек.

— Не приставайте, хозяин, — закричала Левантина, — иначе сбегу!

— Глупая ты! — сказал Квасюк, опять подступая к Левантине, преграждая ей дорогу и стараясь оттеснить в угол у печки. — Зачем тебе бежать от меня? Будь поласковее со мной, и я наряжу тебя точно куколку, а хозяйка не посмеет и слова сказать. Буду любить тебя ух как!.. — И его наглые глаза загорелись, впившись в нее.

— Не трогайте меня, а то закричу!

— Пустяки! Разве я зверь какой-то, что ты кричать будешь? Да я и трогать тебя не стану, раз ты не хочешь. Я к тебе добр, будь и ты почтительна со мной.

Левантина взяла ухват и стала переставлять горшки в печи, а он тем временем ушипнул ее за руку.

— Ой, хозяин, отойдите, а то вот этим ухватом огрею! — уже в сердцах воскликнула Левантина.

— А я у тебя ухват отниму и поцелую.

— У вас есть жена, с ней и целуйтесь!

— Стану я такую страшную целовать!

— А зачем женились на такой?

— Глупый тогда был.

— Будьте теперь умнее и не приставайте ко мне!

В соседней комнате послышались шаги хозяйки, и Квасюк тут же выбежал из кухни во двор.

Придет Левантина в магазин взять что-нибудь для дома — и он опять пристаёт к ней. Она даже рада была, когда Квасючиха не пускала ее в магазин, а ходила туда сама. Но и это мало помогало, потому что он всегда старался подстеречь Левантину одну.

— Хозяин,— сказала она,— если и впредь будете приставать ко мне, давайте расчет!

— Не дам.

— Тогда я сбегу; пускай вам и деньги мои остаются.

— Не сбежишь, потому что у меня твой паспорт, а без него полиция тебя сразу заберет.

Левантина поняла, что она попала в неволю, и все подумывала о том, как бы ей высвободиться из нее. Но ничего не могла придумать.

## II

Обычно, когда хозяин уходил по своим делам из магазина, то вместо себя оставлял хозяйку. А если та была занята стряпней, Квасюк поручал торговлю Левантине. Это было на втором месяце ее службы. Запрет кассу с деньгами и посадит девушку за прилавок, покуда сам не придет. Постепенно, научившись, она, бывало, и продаст что-нибудь.

Однажды она сидела в магазине, вдруг вошел покупатель. Был осенний пасмурный вечер, и, поскольку ску-

пые Квасюки не зажигали рано свет, в магазине стоял полумрак, и Левантина не разглядела лица высокого мужчины в пальто.

— А дайте-ка мне четвертушку табаку! — попросил тот.

Левантина вся задрожала.

Перед ней стоял Роман.

И Роман узнал ее, удивленно остановился, не зная, что сказать. Однако быстро овладел собой.

— Левантина!.. Вот диковина! Каким образом ты здесь очутилась?

Она стояла перед ним, как статуя, тяжело дыша и не в силах вымолвить слова.

— Служишь тут, что ли?

— Служу...— с трудом произнесла она; и в этот миг вошел Квасюк.

Роман тотчас умолк, и Левантина вышла на кухню. Квасюк, входя в магазин, услышал их разговор. Вскоре он позвал Левантину и начал допрашивать ее, кто этот парень и откуда она знает его. Левантина ответила, что он из их села.

Она казалась совсем спокойной, хотя вся трепетала от переживаний; ждала ночи, как бога, чтобы остаться одной. А когда наступила ночь, она не принесла ей успокоения. Уснуть не могла. Все прошлое, тяжелое и горькое, вновь ожило перед ней, жгло, терзало...

Клятвы, заверения, потом измена и позор, унижение и стыд!.. Он живет здесь, никуда не уехал, хорошо одет... живет неплохо, наверное... А ее оставил, забыл, словно и не клялся в верности, не исковеркал ей жизни!..

Зачем судьба снова свела их? Лучше бы она не видела его, не слышала о нем ничего,— тогда, может, думала бы, что он умер или живет где-то далеко в нищете, горе и ничем не может помочь ей. И не было бы так больно... А теперь!..

Ее сердце сжалось от боли, стало обидно за свою молодую загубленную жизнь... жалела себя и тосковала по нем... изменнике...

Только тоска по нем. Если бы она могла проклясть Романа, может, было бы легче. Но не могла.

Левантина убедила себя в том, что больше не любит его,— он так подло поступил с ней; но зла, ненависти у нее не было к нему.

А эти воспоминания — тяжкие воспоминания о прошлом, таком коротком и так безжалостно разрушенном счастье!.. Все прошло, его больше нет и никогда уж не будет... Зачем же вспоминать о том, с какой любовью он смотрел в глаза при лунном сиянии?.. Она видит этот взгляд... чувствует горячие губы на своих губах... и как сильные его руки обняли и крепко сжали, до боли сладко!..

Бедная металась по кровати, сон улетел от нее далеко, словно испугался нахлынувших мыслей... Воспоминания о прошедшем счастье сменялись воспоминаниями о перенесенном стыде и позоре... Мысли следовали одна за другой, точно волны на реке. Левантина не в силах была остановить их, отогнать от себя, хоть на мгновение избавиться от страданий.

И так продолжалось бесконечно долго...

В маленькое окошко уже пробивался первый серый утренний свет. С улицы донесся грохот проехавшей телеги, а Левантина еще и глаз не сомкнула, обессиленная своими думами. Лежала с закрытыми глазами, а глаза Романа уставились на нее и смотрели, смотрели... внимательно, неподвижно... такие большие... казалось, они горели на смуглом его лице... Какое оно страшное стало... Но глаза все больше и все ближе приближаются к ее лицу и просто жгут, жгут ее!.. Хочет вскрикнуть — не может, хочет пошевелиться — не в силах. Глаза пронизывают до глубины сердца, а его страшная рука, такая же смуглая, как и лицо, хватает ее бедное сердце и сильно сжимает, стараясь вырвать из груди.

Вскрикнув, она вскочила на ноги и, дрожа от страха, стала посреди комнаты.

Это был только сон, на миг приснившийся ей, но какой страшный сон!..

Девушка стояла и дрожала.

— Левантина! Чего вылеживаешься? Пора на базар идти! — крикнула из соседней комнаты хозяйка.

Левантина пришла в себя. Провела дрожащей рукой по лбу, убрала постель.

Оделась, взяла корзинку и вышла. На дворе уже совсем рассвело, со всех сторон направлялись на базар люди.

Только завернула за угол своей улицы, переходя на следующую, перед ней вырос Роман.

От неожиданности она испугалась и остановилась как вкопанная. На мгновение перед ней возникло смуглое лицо, приснившееся ей ночью, но тут же растаяло, потому что живой Роман был совсем не похож на страшное привидение. Он стоял перед ней белый, холеный, еще более красивый, чем прежде, в селе, и улыбался.

— Здравствуй, Левантина!

Он, по-видимому, давно стоял здесь, поджидая, куда она выйдет.

— Здравствуй...— ответила, не глядя на него.

— А что, не думали встретить меня здесь?

— Нет...

— Значит, ты служишь в городе... Да чего мы стоим? Иди куда шла, а я немного пройду с тобой... Ты давно тут служишь?

— Третий месяц...— ответила она тихо, опустив глаза, идя рядом с ним.

— Вот диво! Отродясь не думал!.. Как же ты попала сюда?

«И он еще спрашивает!..»

Но она, взяв себя в руки, спокойно ответила:

— Когда умерла... наша дочь... я не захотела оставаться в своем селе... и пошла служить...

— Значит, дочь родилась... Умерла!..— сказал Роман, немного помолчав.— Ну, царство ей небесное!.. Это она хорошо сделала, что умерла.

— Зачем так говоришь, Роман?

— А разли лучше было бы, кабы она связала тебе руки?

— Не она связала мне руки, а... моя глупая голова да ты, Роман...

— А ты не ругай меня! Разли я о тебе не думал? Сколько раз! Может, полетел бы к тебе, но зачем лететь? Случалось, по несколько дней голодным бродил... Что я тебя, голодать бы сюда позвал? А квартира у меня была такая — ночью сад, а днем базар и улица. Куда бы я тебя взял? Только вот недавно с божьей помощью кое-какую работенку нашел; думал, подзаработаю немножко, а тогда уж тебе весточку подам, чтобы приходила.

— Неужто ты думал вызвать меня сюда? — спросила Левантина, радуясь и в то же время не веря ему.

— Ну вот еще! А то как же? Разли ты думаешь я какой?

И он стал рассказывать ей, как скучал по ней, как искал работу и бедствовал, преувеличивая свое горе и растягивая описания.

— А я! Боже, так ждала тебя на рождество!

— Ну и смешная ты! Как же я мог прийти, если меня дома объявили вором?

— Да хотя бы весточку подал — где и что с тобой, чтобы хоть знала.

— Ну и странная ты! Какую бы я подал весточку? Что голодный и холодный? Не стоит того делать! Да и то сказать: не хотел о себе давать знать, чтобы Денис и волостные не узнали, где нахожусь: они бы меня тогда сейчас в холодную запаковали, а может, и в тюрягу. Разли я дурак, чтобы в огонь самому лезть?

Все, что он говорил, Левантине казалось правдой. Но только обидно, что получилось все не так.

— А что же ты теперь делаешь, Роман? — спросила она.

Роман заговорил быстро, словно торопился поскорее обойти этот вопрос:

— Вот видишь, я тут на службе... Тут, знаешь, есть такой лесной склад, вот я там... приказчиком... Не очень-то, чтобы прекрасно, а жить... ну да живем как-нибудь.

Эту сказку он рассказывал всем, кто спрашивал.

— Вот здесь неподалеку и живу, в Овражках... Приходи когда-нибудь.

Левантина махнула рукой. Довольно! С нее хватит!

Он стал уверять, что совсем не хотел причинять ей горя, что относился к ней искренне. Говорил ласково, сочувственно, и Левантине казалось, что перед нею опять оживал тот, прежний Роман, которого она так любила.

А он все уговаривал ее прийти к нему.

Что он говорит? Разве она такая, что к парню в дом пойдет? Да и когда бы она пошла? У нее нет даже свободной минутки.

Но он настаивал на своем. Если она не хочет прийти к нему, то пускай отпросится у хозяйки хотя бы на воскресенье. Они вдвоем погуляют в городском саду... Ему так многое нужно рассказать ей о себе. Она обвиняет его, однако он любит ее и не хочет, чтобы она думала о нем плохо.

Левантина словно и не слышала этих слов.

— Куда это мы зашли? Я так заговорила с тобой, что вместо базара бог весть куда забрела.

— Поспоешь еще на базар!

— Не могу, хозяйка будет ругать.

Они повернули к рынку, и он еще немного проводил ее, уговаривая выйти к нему на свидание. Напоследок сказал, что в воскресенье вечером, часов в пять, будет ждать у ворот городского сада. С тем и ушел.

Она ничего не ответила ему, но всю неделю только и думала об этом. Пойти или нет? После всего того, что он причинил ей? И зачем? Он приглашал ее, однако ни словом не обмолвился, что теперь думает делать. Зачем она пойдет?

Странная она, встретила с ним один раз на улице на какой-то часок и хочет, чтобы все сразу выяснилось. Может, он для того и приглашает, чтобы все рассказать и посоветовать, как быть.

Она не знала, как поступить, и была довольна, предполагая, что хозяйка все равно не отпустит ее. Но неожиданно дело приняло совсем иной оборот. В субботу приехал из села отец хозяйки и на несколько дней увез дочь к себе: заболела ее мать.

В воскресенье с самого утра Левантина места себе не находила. Отпроситься у хозяина или нет? Он, очевидно, отпустит. Нет, наверное, не следует. Если Роман не обманывает ее и в самом деле собирается что-то предпринять, то сам придет, а ей нечего бежать ему навстречу.

Может, верно, а может, и нет. Если теперь она не встретится с ним, он подумает, что она совсем отказалась от него, да и оставит ее. Но она потеряет то, к чему стремилась.

И все же решила: пойду к нему или нет, но у хозяина отпрошусь. Подав вечером самовар, она обратилась к хозяину, чтобы тот разрешил ей пойти погулять. Квасюк, желая задобрить Левантину, тотчас согласился, предупредив, чтобы недолго ходила.

Убрав со стола, Левантина одела самое лучшее платье и вышла из дому.

Оказавшись на улице, она все еще колебалась: идти ей к Роману в сад или нет.

Шла она не торопясь и вскоре оказалась возле решетчатых ворот большого сада.

В саду никого не было. Наступила уже осень, первый накрапывал дождь, и горожане перестали ходить в этот

сад, расположенный на окраине города, а больше всего толпились на посыпанных песком дорожках бульвара в центре. Никого не было здесь и сегодня, хотя погода стояла хорошая.

Перед Левантицей протянулась дорожка, ведущая в глубь парка, где росли красивые большие деревья. Поставив немного, пошла по ней.

Вдруг она услышала знакомый голос:

— Спасибо, голубка, что пришла!

Справа по дорожке к ней направлялся Роман. Он обнял Левантину, но она тут же тихонько отстранилась от него, и они пошли рядом по аллее, увитой густыми кронами старых высоких деревьев. На дворе уже смеркалось, и было темно.

Подошли к какому-то зданию.

— Вот здесь я ночевал, когда не было денег на ночлежный, — сказал Роман.

— Горемычный ты мой! — сказала Левантина, и ей захотелось заглянуть в середину здания.

Роман отогнул гвоздь, которым была забита дверь, и они вошли в пустой партер. Впереди виднелись темные стены, а там, в черной пасти, где находилась сцена, какой-то столб... Они подошли к тому месту, где когда-то размещался оркестр; звук их шагов по дощатому помосту громким эхом разносился в темноте. Вдруг что-то затрещало в глубине, — наверное, дверь скрипнула...

— Ах, как здесь страшно! — воскликнула Левантина и невольно прижалась к Роману.

Он опять хотел было обнять ее, но она тотчас же отстранилась и выбежала из театра.

— Боже!.. И как тебе не страшно было здесь ночевать! — произнесла она, прохаживаясь с ним по дорожке. — Я бы ни за что не пошла сюда; на улице куда лучше!

— На улице полиция не разрешает, — нужно прятаться в такое место, куда она не заглядывает.

И он снова стал рассказывать ей о своей прошлой жизни в городе, сильно сгущая краски, уверял, что любит ее и никогда не переставал любить. Она слушала его и вспоминала, как он бросил, унизил, опозорил ее перед людьми, но тут же отгоняла от себя эти мысли, слушая его сладкие речи... Он рисовал ей лучшую жизнь. Говорил, что скоро хозяин даст ему хорошую работу и будет он

получать гриста рублей в год. Вот тогда-то они смогут жить вместе.

Левантине казалось, что они могли бы теперь жить вместе или хотя бы обвенчаться, но она лишь подумала об этом, а ему ничего не сказала...

В саду таинственно, тихо, высокие своды из ветвей приветливо нависали над ними. Они были только вдвоем, и ей так хотелось верить ему. И Левантина не заметила, как он обнял ее, и она уже не сопротивлялась. Они шли, прижавшись друг к другу. Какая-то сладкая истома стала овладевать всем ее существом от этой близости, от его ласкового голоса... Его губы приблизились к ее губам, и она, закрыв глаза, ответила ему на поцелуй...

И тут же мгновенно, казалось, разошлись в стороны ветви, и темное, могучее, высокое небо глянуло на них своими глазами-звездами. Эти звезды вмиг развеяли мечты Левантины. Она вырвалась из объятий, отпрянула в сторону и, протянув вперед руки, словно собираясь защищаться, крикнула:

— Не надо, Роман, не надо! Оставь меня!.. Не хочу!.. Ни за что не хочу!..

Она вся дрожала. Еще раз произнесла: «Не надо!» — и быстро пошла, почти побежала, словно боясь, словно убегая от него. Он спешил за ней следом и повторял, что она глупая, что ей нечего бояться. Но она торопливо шла, ничего не говоря, не оглядываясь на него.

Вскоре они вышли из сада. Левантина как будто немного успокоилась и пошла медленнее. Роман стал рассказывать ей о театре и о красивых представлениях, которые там видел. Она молча слушала, потом, заинтересовавшись, стала спрашивать. О том, что произошло в саду, не вспоминали.

Он повел Левантину домой по другим улицам, не по тем, по которым она шла в сад. Поравнявшись с одним из дворов, он показал на небольшой домик:

— Вот здесь я живу.

Левантина ничего не ответила, только ускорила шаг, словно боялась, чтобы он не повел ее к себе. Когда вышли они на улицу, где живет Левантина, она попросила не провожать ее и торопливо пошла домой.

Роман возвращался к себе расстроенный, злой, потому что Левантина не разрешала ему обнимать и целовать себя. Но это еще больше распаляло его. Он совсем

не предполагал, что Левантинна будет такой упрямой и так оттолкнет его. Считал, что она, оказавшись в городе одна, доверится ему. А она—бери, говорит, и венчайся... Еще чего не хватало! Как раз сейчас ему жениться да детей заводить!

Но пускай не брыкается! Все равно не уйдет...

И он стал все чаще и чаще заглядывать в магазин, в надежде увидеть Левантину. Но Квасюк заметил, что парень неспроста зачастил к нему за покупками, и не оставлял Левантину в магазине. Роман тогда стал подстерегать девушку на улице в то время, когда она обычно ходила на базар. Она знала об этом и избегала встреч с ним, хотя в то же время и желала их. Она выходила из калитки, только убедившись, что нет Романа, и шла на базар по другой улице, а не встретив его, огорчалась, обманувшись в своих ожиданиях... И сама досадовала на себя за эти чувства...

Но иногда ему удавалось встретиться с ней. Тогда он провожал ее до базара, стараясь продлить путь. Он был ласков, упраскивал прийти к нему на свидание.

Если бы она не встречалась с ним, она чувствовала бы себя спокойнее, постепенно забыла бы о нем. Но эти встречи, нежелание видеть его, а потом сожаление, разговоры и мысли — мысли о нем и его словах — терзали ее душу.

Трудно было Левантине с Романом, но еще труднее — с Квасюком. Он не давал ей прохода. С тех пор как его жена уехала, Квасюк лип к ней, точно смола, лез обниматься и целоваться. Она, конечно, отталкивала его, убегала из дому и сидела на дворе до тех пор, пока он не уходил в свой магазин. Хорошо еще, что не мог он долго сидеть в комнате.

На ночь Левантинна запирала на крючок дверь из кухни в комнату. Однажды она проснулась, почувствовав, что кто-то стоит возле кровати. Вскочила спросонья, словно ужаленная.

— Не пужайся! Не пужайся! Это я...— услышала она знакомый отвратительный голос и почувствовала, как он прикоснулся к ней руками. Она соскочила с кровати, опротясь выбежала из дому. Пробежала во двор и спряталась в углу за штабелями дров.

Выбежала босая, в одной сорочке и легонькой юбке.

Сидела там долго, дрожа от страха и стуча зубами от холода,— сидела, пока, ноги не заоченели и всю ее начало знобить. Она решила забраться на чердак колючки и зарыться в сено. Там согрелась, задремала и, часто просыпаясь, пролежала до рассвета.

Утром, как только скрипнула дверь в кухню, Квасюк тут же вошел из другой комнаты.

— Где это ты бродяжничаешь по ночам? Давно уже пора хозяйством заняться, а ты бегаешь невесть где.

Хозяин говорил с ней, словно не он, а она во всем виновата. Левантина не стала спорить, только сердито бросила:

— Возвратите мне паспорт, заработанные деньги, и я уйду от вас.

Он рассмеялся.

— Ишь какая умница! Хозяйки нет дома, а она требует расчета, хочет оставить без присмотра хозяйство! Деньги и паспорт захотела! Ничего не дам! Хочешь иттить — иди в чем стоишь, тогда посидишь в полиции, да еще и по этапу вернут тебя.

Левантина боялась полиции и этапа. Она вспомнила, как одну девушку из их села привели домой по этапу. Боже, какой позор! А издевались-то как над беднягой в полиции!

— Ну что? Уже испужалась? — продолжал Квасюк. — Ну, если ты нежная такая, я тебя больше не трону. Живи себе, я к тебе и не притронуся! — И стал божиться, клясться, что не тронет.

Она не знала, верить ему или нет. Если бы не этот паспорт да деньги, она сейчас же убежала бы. А без паспорта куда подашься!

Решила остаться, но в тот же день купила на свои деньги кольца для двери и замок, потому что крючок можно было легко открыть сквозь щель из комнаты Квасюка. Она привинтила кольца и на ночь заперла дверь, но спать спокойно не могла. Время от времени просыпалась: ей казалось, что кто-то пытается открыть дверь.

Встретившись с Романом, Левантина пожаловалась на свою тяжелую жизнь, рассказала о том, что хозяин не дает ей прохода.

— Ишь ты! Уйди от него, наймись в другое место! — посоветовал он.

— Как же я уйду, если он ни паспорта, ни денег не отдает?

— Скверная штука: без паспорта никто не примет... Ну, а ты все же уйди и перейди ко мне жить. А тем временем пожалуемся в полицию, что он паспорта не возвращает. Покуда получишь паспорт да службу найдешь, поживешь у меня.

Левантина не соглашалась, все думала, как ей поступить. Правда, вот уже несколько дней хозяин не беспокоит ее, но неизвестно, что будет дальше.

И в самом деле положение ее стало еще хуже. Квасюк украдкой выдернул из двери одно кольцо и опять вставил его — для видимости... Левантина не заметила этого.

Ночью Квасюк толкнул дверь, кольцо выскочило, и он незаметно вошел в кухню, Левантина проснулась, когда он уже обнимал ее. Она закричала, вскочила на ноги, но он тут же повалил ее на кровать. Она пыталась вырваться из его объятий, но сил не хватило, чтобы противостать здоровому мужчине. Левантина уже изнемогала в борьбе. Его противная рожа коснулась ее лица. Сама не помня как, укусила его за щеку, — он закричал от боли и опустил руки. Левантина оттолкнула его от себя и слышала, как он с грохотом повалился на пол. В мгновение ока была она уже во дворе. Страх настолько овладел ею, что она бежала не помня себя и только тогда пошла медленнее, когда оказалась на улице.

Шла по улице, дрожа от страха, волнения и холода. После первого случая с Квасюком она обычно ложилась спать одетой, но разувалась. У нее сильно озябли ноги. Она пошла быстрее, и долго еще без цели слонялась по городу, не зная, куда податься. Было поздно. На пустых полутемных улицах, едва мерцая, догорали фонари. Изредка проходили сторожа и, гремя колотушками, отгоняли от себя сон; а некоторые из них уже спали, прислонившись к дверям на каком-нибудь рундучке.

Левантина все шла и шла. Вот она пересекла улицу, одну, другую. Шла без цели, лишь бы не стоять на одном месте, лишь бы согреться. Она шла до тех пор, пока не устала, и лишь тогда села на скамейке у чьих-то ворот, поджав под себя окоченевшие от холода ноги. Но не долго она просидела там, потому что вскоре сторож прогнал ее оттуда.

— Уходи, уходи! Много здесь всяких шляется! Потопрапливайся, а то свистну, прибежит городской и заберет тебя в полицию.

Левантина побрела дальше. Еще несколько кварталов прошла и опять села на рундук. Здесь она посидела немного дольше, потому что сторож этого квартала где-то спал. Но и этот прогнал, да еще и обругал последними словами. Тогда она снова стала слоняться по улицам, лишь бы дождаться как-нибудь утра. Правда, она не знала, что будет делать днем.

Вернуться к Квасюку? Но стоило только подумать об этом, как ее бросало в дрожь. Лучше умереть с голоду, замерзнуть, чем стать его жертвой!.. Пойти с утра на толкучку, может, кто-нибудь наймет? Но кто возьмет ее — без паспорта, босую, простоволосую? Вернуться в село? Но туда Левантине тоже не хотелось идти. Покуда она туда дойдет, замерзнет в пути.

Мысли мучили ее не меньше, чем холод и усталость. Вот уже несколько ночей она недосыпала, и теперь ее так и клонило ко сну: вот-вот упадет, заснет на улице. Превозмогала сон и шла, шла...

Все улицы, улицы, улицы... Мертвые улицы... Такие чужие, как и люди... Ни одного близкого человека!..

Как одинока она, несчастна... Во всем мире... Без помощи, без надежды... Хоть бы теплый уголок!.. Хоть бы человек добрый!.. Только темные, холодные улицы, да что-то грохочет, грохочет, грохочет...

Споткнулась и чуть было не свалилась. Она спала на ходу. Не спала, а просто у нее голова затуманилась...

Крестьяне из сел едут на базар, тарахтят телеги. Уже начинает светать.

Хоть бы где-нибудь прислонить голову! Куда она идет?.. Ох, как тяжело... все тело болит!.. Лучше умереть... С моста бы да в воду — вон с того моста...

Она взошла на мост, оперлась на перила. Посмотрела вниз.

Серая, грязная вода текла лениво, сонно, окутанная утренним туманом... Такая холодная, противная... Подальше отсюда, подальше!..

Уже совсем рассвело. По городу спуют люди. Где это она? Кажется, здесь была когда-то, но не узнает... Оста-

новились, присмотрелась. Хатенки и ободренные домшники прижались в овраге к глинистой круче. Вспомнила: Овражки... Ах, те, где Роман... Не его ли это дом?

Тепло у него в доме... Пойти бы туда, должно быть там тепло... и уснуть можно...

Пошатываясь, она вошла во двор и направилась в дом.

### III

Роману и его сообщникам в последнее время не везло. Пошли они в Дыблево и уже приготовились было вывести пару хороших лошадей, да тут нечистый пригнал пьяную толпу со свадьбы и помешал им. До самого утра гуляли люди, веселились и на соседней улице, где находились лошади, которых они собирались увести. И его товарищи вынуждены были сидеть, притаившись, в темных закоулках. Изрядно перетрусили, боясь, что их могут заметить; а если бы заметили пьяные мужики, то живыми бы из рук не выпустили. С трудом удалось по ночу выбраться из села.

После этого, немного погодя, Левдик с двумя парнями поехал в Репакн, где им легко удалось увести трех коней. Но сразу же за селом норовистый конь сбросил Лукаша и убежал в поле. И он вынужден был идти пешком в город, а те двое угнали лошадей к Гапону. Но, на их беду, стоял густой туман, они сбились с дороги и проблуждали всю ночь, не попав к Гапону, а заехали в Черноус, и только тогда спохватились, когда увидели впереди себя хаты. На улице были люди, и их сразу же задержали. Сперва черноусовцы подумали, что это просто заблудившиеся из соседней слободы, стали расспрашивать их, откуда, да куда, да зачем едут. Задержанные отвечали им невпопад, что-то напутали,— и тогда их направили в волость, там допрашивали, а они еще больше путались, и оказалось, что это конокрады. Их сильно избили, а потом отвезли в тюрьму.

Сообщники не боялись, что те двое выдадут их на суде: это стойкие парни и не подведут. Но ведь их посадят в тюрьму не меньше как на год, а то и сошлют, потому что они не впервые попадают, и шайка лишится двух способных конокрадов. К тому же добыча уже второй раз ускользала из их рук.

После этого атаман с Романом и Лукашом опять отправились в Дыблево, но и на сей раз неудачно: помешали сторожа, всю ночь ходившие по улицам и не подпускавшие их ни к одному двору. Хотя подвыпившие на свадьбе люди и не заметили тогда конокрадов, но мужики днем увидели на огородах следы. И они догадались, что это за гости были. Решили усилить охрану.

И вот уже два месяца конокрады сидели без заработка. Прожили все, что имели. Только Ярош жил, как прежде, потому что пил мало и добытые деньги зря не тратил. Поэтому теперь все приходили к нему, и он всем помогал понемногу. Именно с такой целью и пришли к нему вечером Патрокл Фигуровский и мрачный Кучма. Сидели они, жалуясь на плохое время, и вдруг услышали, что кто-то идет. Вскоре в комнату вскочил новый гость — Лукаш.

Он был в лохмотьях и без сапог: давно пропил их «с горя», и сейчас одна нога была обута в резиновую калошу, а вторая обернута портянкой и обвязана веревкой. Не важно, что был в таком наряде, но зато вскочил в комнату веселый, размахивал руками и выкрикивал:

— Здрасте вам! Чего киснете? Дела — первый сорт! — заорал пьяным голосом и бросил на стол несколько серебряных монет, покотившихся по столу, из которых две упали на пол. Испуганный ребенок заплакал в колыбели, а бледная, молчаливая мать, наклонившись над ним, что-то прошептала, лаская его. Лукаш, подбоченясь, стоял посреди комнаты в сдвинутой набекрень шапке и смеялся бессмысленным пьяным смехом.

Ярош с Кучмой посмотрели на него удивленно, а Патрокл Фигуровский поднял упавшие на пол монеты.

— Ты смотри! — воскликнул. — Посмотрите-ка: рубль и три четвертака! Где ты раздобыл их, хлопче? Может, у кого-нибудь «утерял»?

— Эва! Я да не сумею добыть! Пальто первый сорт, а лакей дверь не запер, вот я надел, да и пошел на базар, как барин!

— Вот оно что! Лукаш старину вспомнил, свое старинное ремесло.

— А чем хуже старое ремесло? — спросил задиристо Лукаш. — Вот вы со своим новым без копейки сидите, а у меня звенят!

— Хвастается! — гаркнул мрачный Кучма. — Утащил какую-то дерюгу и рад. Черт знает что!

— Почему это черт знает что? — спрашивал оскорбленный Лукаш.

— А того, что черт знает что, да и только! Наше дело старосветское, вольное... Вывел коня, сел на него, да и пронесся по полю, по степи... Эх!.. А то шныряй по окнам да вытаскивай барахло! Тьфу!

Кучма в сердцах сплюнул и отвернулся. Он был старым конокрадом и не любил связываться с обыкновенными мелкими городскими ворюгами.

— Перестаньте спорить, — остановил их Ярош. — Если Лукашу повезло, ну и хорошо!

— Пусть только ставит магарыч! — сказал Патрокл.

— За первый сорт! — крикнул Лукаш, схватил деньги и мигом выскочил из комнаты. — Сию минутку!

— А постой-ка, Лукаш! — крикнул ему вдогонку Ярош. — Позови там по дороге Романа!.. Слышь?.. Должно, не услышал, драпанул как сумасшедший... Ну, покуда нет Лукаша, сказывай, Патрокл Степанович, о Левдике! — приказал Ярош. — Видал ты Лазька?

Лазько — арестант, которого водили под конвоем из тюрьмы на работу в город; при его помощи Левдик передавал друзьям вести.

— Видал... Я и забыл рассказать... На бульваре — палочку в руки, да и расхаживаю, словно кавалер на прогулке, туда-сюда палкой верчу. А они там ямки копают, деревья сажают. Ну, сел на скамье поблизости от Лазька, — как будто отдыхаю. И он меня видит, и я вижу его, но проклятый солдат торчит... А, канис адский! Чтоб тебя трижды тартар проглотил!.. Вдруг гляжу — отходит, отходит солдат в сторону... Тогда Лазько говорит... Придираются к Левдику не только за увод коней из Репков, но еще и из Панасовки, — помните, он тогда ходил? Сказал, нужен свидетель, который показал бы, что той ночью он дома был.

— Та-ак!.. Свидетеля. Кого бы это?.. — задумался Ярош.

— Кого же? Федорченка! — посоветовал Кучма.

— Да и верно! Завтра я зайду к Федорченку, скажу, чтобы он готовился идти к следователю, а Патрокл Степанович опять пойдет на бульвар и передаст Лазьку.

— Хорошо! — ответил Фигуровский.

Конокрадам, когда они попадали в тюрьму, нужны

были такие свидетели, которые выгораживали бы их. В большинстве случаев им удавалось передавать сообщения, что именно следует показать, а те выставляли свидетелей из своих же людей.

Тем временем пришел Лукаш с двумя бутылками и с закуской, а следом за ним Роман. Стол заставили бутылками, рюмками, тарелками и разными закусками. Патрокл, не теряя времени, открыл поломанной вилкой бутылку и налил. Начали пить и есть.

Увидев, сколько принесли водки, жена Яроша поскорее подала на стол все, что нужно было, и потихоньку взяв ребенка, выбежала из комнаты, — пошла к соседям. Она всегда так поступала, когда Ярош веселился. Он пил не часто, но иногда перепивал и тогда безжалостно избивал жену за то, что она не поддерживала мужа и не любила его друзей.

— А слышали, Никита уже вышел на волю?.. — спросил Роман.

— Разве? Нет, не слышал, — ответил Патрокл.

— Вышел? — со злостью спросил Кучма. — Что же, так ему и пройдет?

— Нет, — ответил Ярош, — так не пройдет. Следует покарать. Вот соберемся все вместе и подумаем, что с ним делать.

Никита — тоже конокрад из их шайки. Его поймали, судили, и он выдал нескольких человек, которые до сих пор отбывали наказание в остроге. Конечно, конокрады не прощали предательства.

— Нужно так покарать, — сказал Кучма, — чтобы другим неповадно было. А то теперь ничего не боятся. В старину не то было, — в старину строго судили.

— Ну, а как же в старину? — спросил Лукаш.

— Очень просто!.. Как-то раз... давно это было... лет десять... Тогда атаманом был Хоменко — горячий такой!.. А притон наш был под Борзной. Так один на суде и проболтался, из-за него в Сибирь двух укатали. Ну, мы подождали, куда он вышел из острога. Вышел он и не дает о себе знать, а сам в Чернигов подался. Атаман и говорит: «Неужто он ускользнет от нас? Не допустим этого, хлопцы!» Тут сразу двое и вызвались: один да еще второй, молодой такой парень, Грицько... а здоровый, как тур!.. «Мы его, говорит, приставим». И приставили!

— Как же они его приставили?

— На дороге перехватили. Перехватили — и назад, руки веревкой связали да рот тряпкой закрыли и ведут... Привели в наш яр... был там у нас такой яр, где мы собирались... Один побежал товарищей кликнуть, а Грицько остался стеречь.

— Зачем товарищей?

— Чтобы судить... Не хотели сами расправляться с ним... Ну, побежал... Почти вся братва собралась. Стали в круг, а его посередине... Открыли ему рот — говори, если хочешь!.. А он стоит против лупы — бледный, бледный и весь дрожит...

— Ну?

— Ну и осудили! — И Кучма осушил рюмку.

— Что же ему сделали?

— Что сделали, то сделали, а только больше никого уже не выдавал!.. Закопали его на том же месте, так и сгнил, — никто не искал... А хотя бы нашли, никто бы не выдал, потому что все хлопцы были ладные, да и били все... по очереди каждый брал дубину и лупил... чтобы всем грешными быть...

— И вы там были? — спросил Лукаш.

— Может, был, а может, и нет, — ответил Кучма, наполняя рюмку. — Так-то в старину было! А теперь распустились люди, никто не бережется, чести не знают: выдал товарища, да и похаживает себе на свободе как ни в чем не бывало. Разве только изобьют, да и то не сильно...

— Ну, теперь тоже не очень-то будем прощать... — тихо, но резко произнес Ярош, и его холодные, злые глаза блеснули.

— Нет, — что ни говори, а в старину не то было!.. — опять наставал на своем Кучма. — Когда-то ты знал, что в шайке воин и что все за тебя как один стоят! Поступали по справедливости! А нынче не то... И не было такого, чтобы конокрад поганил свои руки каким-то пальто или чем иным. В то время каждый знал: наше дело — степь широкая! Там ты неуловимый, как ветер! Да и конокрады-то какие были! Хоменко, атаман, однажды за ночь одни вывел пять лошадей!.. Вот это были люди!.. А теперь что! Тьфу!.. Слабодушные все!..

Кучма уже изрядно выпил, а будучи пьяным, он всегда восхвалял старину, вспоминая, как тогда было хорошо, и ругал молодежь.

— Ложь! — Патрокл ударил кулаком по столу с

такой силой, что даже бутылки и рюмки зазвенели.—  
Ложь! Есть и теперь настоящие конокрады, орлы!

— Где же ты их видел? — спросил насмешливо  
Кучма.

— Где? На Кубани!

— А разве ты был там?

— О стультус малоумный! Ты спроси, где я не был!

— А ну-ка, расскажите про Кубань! — попросил  
Роман.

— Слушайте! Начну сначала. Когда выгнали меня  
из кондукторов, стал я торговать. Иголки-шпильки, фин-  
дикки-миндикки, табачок-спичечки — ат, черт знает что!  
Это не соответствовало ни моему имени, ни моей фами-  
лии, ни мне самому. Потому что имя у меня геройское,  
фамилия — образец, и сам я такой, что хоть сейчас иди  
тройнец воевать. А тут иголки-шпильки!.. Черт знает  
что! Ликвидация и аква вита.

— Што, што? — спрашивали Роман и Лукаш.

— Азинусы и стультусы! То, что продал свою бака-  
лею, а деньги с горя пропил. Ну, остался у меня в кар-  
мане какой-то завалившийся рубль. Поглядел я на него:  
«Хе-хе, браток, с тобой долго не протянешь!.. Нет, тесно  
здесь жить!.. Махну-ка я в кубанские степи! Хоть с чер-  
кесами буду драться — все лучше, чем с пьяницами в  
в трактире!» Ну, иду к знакомому кондуктору: «Пусти  
на Кубань!» Посадил он меня в кондукторское, а на сле-  
дующий поезд другому кондуктору сдал... Вот и на Ку-  
бани я... Хорошая штука — Кубань! Да вот только беда—  
последний рубль по дороге проел. Нанялся к одному бо-  
гатому помещику, а у него табунщиком Артем Гайда.  
А вы знаете, что такое табунщик? Дьявол, а не человек!  
Как вырвется и понесется по широкой степи с арканом  
в руках — прямо орел! Бешеного коня необъезженного  
поймал, сел на него, сжал коленками — эх! Даже степь  
гудит! Конь бьет и передними и задними ногами, — да  
куда там ему сбросить Артема! Из бешеного — овечкой  
станет! А уж чужая лошадь не попадайся в степи Артему  
на глаза — его будет! И была у нас компания хорошая:  
шестеро нас таких, хоть куда!.. Однажды тридцать пять ло-  
шадей увели за одну ночь, за двести верст перебросили,  
продали и на следующий день к обеду домой вернулись.

— Ну да, неужто? — слышались удивленные го-  
лоса. — Да как же это вы хитрились?

— Уж знали как!.. Эх, вот были дела! Там конокрад — не воришка какой-нибудь, что дрожит перед полицией, как вот мы, клапоухие азипусы. На Кубани он никого не боится, а его все боятся! Выйдем на ярмарку — гуляй душа без кунтуша! Вокруг нас море водки, ганцы, музыка у балагана на площади, а людей собирается!.. Дивчата засматриваются!.. Ах, сто чертей!.. А мы гуляем, гопака отплясываем, возле дивчат увиваемся, важничаем да хвастаемся—сколько коней перехватили, да какие они были...

— Ну, это уж брехня!— прервал его Кучма.— Чтобы стали рассказывать, где коней брали? Тут вас и самих бы забрали.

— Суса тупорылого бы в хвост поцеловали, а пас не взяли бы! На Кубани не мы, а они нас боялись. Во всей округе был известен Артем Гайда, и его никто не смел тронуть. Люди перед ним шапки снимали, потому что боялись. А помещик даже упрашивал: «Оставайся у меня, Артем, жить!» Барин хорошо знает, что, если у него будет жить конокрад, его лошади целы будут, а до чужих ему нет никакого дела.

— Вот жисть! — воскликнул Роман.

— Свободная, веселая жизнь!.. Если, бывало, когда-нибудь и нападут на нас, так мы знали, как защищаться... Однажды окружили нашу братню в камышах! Два дня защищались... у Артема хорошее ружье было, и у меня пистолетик... Они только приблизятся к нам, а мы — бах! Они и спрячутся, потому что пулька не дулька — коль улучит, то заболит. А на третий день улизнули от них, да еще и лошадей с собой прихватили!.. Ха-ха-ха! Даже степь стонала от топота копыт!.. Эх, приволье!.. Сто чертей!..

И он снова ударил кулаком по столу, затем выпрямился; вся его взлохмаченная фигура удивительно изменилась от воспоминаний о прошлом,— от него и впрямь повеяло дикой степной силой! И лицо этого пьяницы и вора точно озарилось каким-то сиянием, а глаза заблестели удивительным блеском...

Все смотрели на него восторженно. Роман все время слушал Фнгуровского, впившись в него своими горящими глазами, ловя каждое его слово. И когда Патрокл ударил по столу своим огромным кулаком, парень вздрогнул и воскликнул:

— А что же в самом деле? Разли мы не люди? Разли мы так ничего и не сумеем сделать? Да я вам такую штуку устрою, что вся губерния заговорит, а у нас в карманах серебро зазвенит!.. Хотите? Завтра пойдем в Дыбли и пять лошадей возьмем.

— Ну, ну, ты не очень зарывайся! — неодобрительно произнес Ярош. — Знаем уж, как там брать...

— А я вам говорю, что возьмем! Слушайте. Возле моего двора живет сосед Струк. А у него стоит овин на холме. И так он стоит, что его видно со всех сторон села. Ну, я подожгу овин, люди побегут на пожар, а вы тем временем выведете лошадей.

На минуту все умолкли, а потом в один голос заорали:

— Ура!

— Тише! Замолчите! На улице услышат! — останавливал их Ярош.

— Ничего! Черт с ними! Пускай слышат! — не унимался Патрокл.— Роман! Братик! Амикус любезный, дай я тебя поцелую!

И его огромнейшие лапы обхватили Романа, а щетинистая рожа прижалась к лицу парня.

— Выпьем же!.. Выпьем еще!..

И он пил сам, наливал Роману.

— Вот так молодец!.. Это я понимаю!.. Чтоб наша слава не пропала!.. А, проклятые шкуродеры! — кричал уже совсем пьяный Патрокл.— Вы рады утопить нас в ложке воды, потому что мы воры, а вы честные! Врете! Сами вы воры, все по закону воруете. А мы не воры... Нужно жрать — приходим и берем!.. Да, берем!.. И воюем с вами!.. Вы нас убиваете, а мы с вами воюем!.. Кто одолевает, тот и прав. Номо homini lupus est <sup>1</sup>. А кто воюет, тот — герой! А вы черт знает что, мужланы. А я — Патрокл Фигуровский!.. Патрокл—герой, Фигура—образец!..

И его пьяная голова склонилась на стол.

#### IV

Роман хотя и перепил вчера, однако встал рано. Хозяева, работая у него под окном, разбудили его. Как только проснулся, сразу вспомнил о вчерашнем разго-

---

<sup>1</sup> Человек человеку волк (лат.).

воре, и мысль о предстоящем деле не давала ему уснуть. Он вскочил, оделся... В этот момент услышал, как кто-то взялся за дверь, пытаясь к нему войти. Дверь открылась.

— Левантина! ~

— Романушка! Братец! Не трогай меня!.. Дай мне отдохнуть!.. Я убежала от хозяина... Всю ночь бродила... Не трогай меня... Побожись, что не тронешь!..

— Ну да что ты! Да крест меня побей, если я что-нибудь!..— поклялся Роман, обрадовавшись.— Ступай и ложись спать! Ах, бедняга!..

Его маленькая комната была разделена дощатой перегородкой, за которой он спал. Туда он и повел Левантину. Она упала на кровать и тотчас уснула. Он постоял, посмотрел на нее, улыбнулся и ушел из дому, закрыв дверь в комнатку и заперев квартиру снаружи.

Он шел по улице веселый и довольный. Сама прибежала! Ну, пусть отоспится — все равно она от него теперь не уйдет. Но сейчас ему не до нее. Ведь он вчера дал слово, что они сегодня пойдут в Дыблево. Надо договориться, чтобы ребята были готовы.

Роман отправился к Ярошу, но не застал его дома. Жена не знала, куда ушел муж. Роман заглянул в «чайную», — и там атамана не было. Куда его черти понесли?

И он стал бродить по городу по всем закоулкам, где мог встретить Яроша. Никто нигде не видел его...

А Левантина в это время спала. Спала долго, до обеда. Открыла глаза, оглядела комнату и вначале не могла понять, где она. Неужто сейчас ночь? В маленькой каморке темно. Нет, вон сквозь щель неплотно прикрытой двери виден свет. Или это снится ей? Но нет, за дверью кто-то говорит... Голос Романа... И она сразу все попила.

— Я у тебя два раза был, всюду искал,— сказал кому-то Роман.

— Ходил к Федорченку, чтобы свидетелем был,— ответил какой-то неизвестный.

— Да, я и забыл... Ну, а в Дыблеве хлопцы готовы? Дыблево? Село Леваннины?

— А ты не раздумал?— спросил незнакомый голос.— А если не повезет?

— Еще как повезет! — ответил Роман и стал уговаривать своего гостя: рассказывал все, как нужно сделать, доказывал...

Сперва Левантина мало что понимала. Но чем дальше, тем яснее вырисовывалась перед ней картина того, что должно было свершиться.

— Я вас оставляю в яру,— сказал наконец Роман.— Как подожгу, вы немного посидите, пока люди всполошатся и побегут на пожар, а тогда уж и вы... Лучше всего берите в третьей хате с краю, слева,— Панас Гаман, у него три хороших лошади. Вот трем и будет работа. А сколько всех нас?

— С тобой шестеро.

— Хорошо. Двоим приказать, чтобы сели у мельницы. Знаешь? Как раз возле мельницы, у Середенка, лошади. Большая хата, а вокруг нее тополя... Все люди и сторожа будут на пожаре, и вы в это время спокойно обтяпаете свое дело.

— Смотри сам не попадись! — предостерег гость.— Теперь им известно, кто их лошадей уводил, поэтому будут выслеживать тебя.

— Ни черта, меня не поймают! — ответил Роман.— Я знаю, куда бежать... Ах, черт! — опомнился он.

— Чего ты?

— Да я забыл, что мы в комнате не одни.

Он подошел к двери, заглянул в шелку.

— Нет, спит.

— А кто там?

— Девка одна.

— Вот те на! Что ж ты не сказал? Эх, разния! Во всем ты мастак, вот только за бабами волочишься. Ну что если слышала?

— Нет, спит крепко, не услышит.

— Хадем в сени, что ли.

Вышли и еще долго разговаривали в сенях. Затем Роман вернулся в комнату, наверное за шапкой, и они куда-то отправились.

А Левантина услышала немного, но поняла все... Теперь она знала, кем стал Роман и кто уводил в их селе лошадей... Конокрад!.. Вор!..

Боже милостивый! За что ты караешь так ее? Наказал любовью, наказал и любимым!..

Полюбила вора!..

Тяжкая боль пронизывала ее душу, разрывала сердце. Мало она перетерпела горя? Еще и это свалилось на ее голову!..

Она вскочила с постели. Бежать! Бежать отсюда! Подбежала к двери, дернула. Дверь оказалась запертой. Бросилась к окну, оно не открывалось.

Она вынуждена была сидеть, как в тюрьме.

Но ей надо убежать отсюда как можно скорее. Должна побежать в свое село, предупредить Струка, предостеречь людей, чтобы побереглись и предупредили несчастье. Она должна сказать...

Что сказать?

Что Роман вор, поджигатель? И его возьмут в тюрьму, осудят, может, в Сибирь сошлют... И она угонит его в Сибирь?

Эта мысль лишила ее сил, пробудившихся в ней. Изнеможенная, она села и склонилась над столом.

Несмотря на все то, что произошло, в ее сердце всегда тлела искра любви к Роману, и в последние дни она разгоралась все больше и больше. Да, сейчас она так отчетливо, ясно почувствовала, что любит его и никогда не переставала любить.

Она угонит в Сибирь того, кого любит!

Того, кого любит? Нет! Она любила Романа, хотя и обидевшего ее, но честного парня, а не конокрада, не вора, не поджигателя! А теперь она уже его не...

Но нет! Она его любит таким, какой-он есть, и не может вырвать, выбросить из своего сердца...

Любит! А зачем любит, что из этой любви выйдет? Разве он будет ее мужем? Разве она выйдет замуж за вора, за поджигателя?

Что же ей делать? Что?

Голова у нее горела, раскалывалась от дум, но ничего Левантина придумать не могла.

А может... были всякие грешники, да раскаялись... Почему же Роман не может покаяться и снова стать честным человеком?

Она будет просить, умолять его, целовать ему руки, только бы он не сделал этого, не шел туда, только бы бросил он своих товарищей. Она будет умолять его до тех пор, пока он не послушается ее и не оставит все, и тогда они опять будут счастливы...

А если не послушается?

И Левантине начинало казаться, что напрасны ее надежды и нет у нее такой силы, чтобы вырвать Романа

из этого болота, в котором он оказался. Она старалась избавиться от этой мысли, но не могла...

Послушает он или нет, но она будет умолять его. Если это не поможет, тогда — на то воля божья! Она сделала все, что могла.

Как же так? Он пойдет и подожжет село, будет обворовывать людей... Она будет знать об этом — и не помешает, не предупредит людей? Но разве в таком случае не падет грех и на ее голову? Люди бросаются в огонь, спасая добро, а она не спасет их, хотя ей и не нужно бросаться в огонь, а только побежать в Дыблево и сказать...

Грех страшный, непростительный грех — ради своей любви допустить разорение людей! И она не допустит такого греха!

По боже мой... Она ведь любит его!

Она билась головой о стол от отчаяния, не зная, как примирить любовь с долгом, как выполнить требование совести.

Наконец она отважилась. Она будет умолять его, а если он не послушается — побежит в Дыблево.

И на этом немного успокоилась. Но ненадолго. Новая мысль снова нарушила ее спокойствие.

Если скажет Роману, что она все слышала, он не выпустит ее из дому, свяжет, запрет... Как же она тогда побежит в Дыблево?

Эта мысль долго терзала Левантину...

Наконец она услышала, как бряцнул дверной замок. Убежала в темную клетушку и села на кровать.

Роман вошел в комнату, приоткрыл дверь:

— Уже встала?

Сел на кровать возле нее.

— Вот не надеялся, что ты сегодня придешь ко мне! Совсем не предполагал! Что же там стряслось с хозяином?

И она стала рассказывать все, как было...

— Вот глупенькая, глупенькая! Почему же ты сразу ко мне не пришла?

— Да... ведь пришла...

Он обнял ее, поцеловал. Вначале она хотела было оттолкнуть его. Но потом сдержала себя и разрешила себя поцеловать — раз, второй. Он радовался этой

неожиданной ласке, она видела это, и опять проснулась у нее надежда: она не отпустит его от себя.

— А я тебе принес поесть. Хочешь? Хадем!

Вышли вместе. На столе лежали пироги, колбаса, хлеб, яблоки. Надеясь на добычу, Роман одолжил деньги у Яроша.

— Я здесь столуюсь у одного знакомого, а сегодня хочу с тобой победать. Вот и принес того-сего.

— Спасибо, мой милый!

Сели за стол. Роман ел с аппетитом. Левантине кусок не лез в горло, но она заставляла себя есть.

Она прижималась к нему, заглядывала в глаза, улыбалась, хотя у нее стыли и дрожали руки. Она прибегала ко всяким хитростям, на какие только была способна,— это было последнее средство удержать его, сохранить для себя. И она решила на все... Сегодня не отпустит его, а там... посмотрит, что делать.

Короткий осенний день клонился к вечеру, когда они победили.

— Так мне хорошо, Романушка, что мы вдвоем, и будем вместе сегодня весь день... Ведь ты не прогонишь меня, если я заночую у тебя?

— Чего бы это я стал тебя прогонять. Я так рад!.. Жаль только, что сегодня не придется ночевать дома. Уже скоро идти надо.

— Зачем? Куда?

— Хозяин посылает... Поездом...

— Надолго?

— Завтра, должно быть, вернусь.

— Ах, Романушка! Как же я останусь одна? Не уезжай!

— Нельзя, Левантинушка: хозяин велит.

— Вот велика беда, что хозяин велит! А ты заболел и не можешь ехать.

— Нет, ему это без надобности... Должен ехать, так езжай...

— Романушка! Голубчик! Братик! Останься со мной! Будь со мной весь день, всю ночь!

— Завтра буду весь день и всю ночь, и потом всегда буду.

— Что завтра! Я сегодня хочу!

Она обвивалась вокруг него, как виноградная лоза, заглядывала ему в глаза, целовала, осыпала ласковыми,

нежными словами, охваченная непреодолимым, чуть ли не безумным желанием задержать, не пустить его... Ее воспаленной, обессиленной мыслями голове почему-то казалось, что именно в этой ночи вся сила: только бы сегодня он остался, только бы сегодня, а потом уже все, все будет хорошо!

Никогда прежде она не была с ним такой,— даже там, в селе. У него туманилась голова.

— Нельзя, милая!.. Если бы можно, я и слова бы не сказал... Ну а сегодня не могу.

— Какой ты недобрый!.. Останься, Романушка, сердечушко мое дорогое! Что хочешь делай со мной! Буду целовать тебя, миловать, только не уходи в эту ночь!

— Но почему тебе эта ночь так дорога? Почему?

— Так хочу! Хочу, чтобы ты ни с кем сегодня не был, только со мной! Мы будем счастливы, так счастливы, если ты останешься со мной в эту ночь. И теперь и потом будем счастливы!

Он обнимал ее, целовал и наконец вырвался.

— Ну, надо идти!

Она снова прильнула к нему.

— Не уходи! Не пусти! Останься со мной!

Несчетное множество раз она целовала его, стараясь поцелуями опьянить, заставить забыть обо всем, остаться с ней.

— Если останешься со мной в эту ночь — буду твоей, не уйду от тебя. А уйдешь — сейчас же сбегу. В эту же ночь! Только в эту ночь...

В сказанных словах «в эту ночь» чувствовалось столько мольбы и натиска, что Роман стал внимательнее прислушиваться к ней. Он еще держал ее у себя на коленях, как маленького ребенка, целовал глаза, губы, шею. Голова у него еще была затуманена, но в нем уже зародилось какое-то подозрение. И вдруг он повернул ее лицом к себе.

— А ну-ка посмотри мне в глаза!

Она посмотрела.

— Левантина, ты не спала тогда, как я приходил первый раз?

Она сразу покраснела, выдав себя.

— Так вон оно что! — Он спустил ее с колен.— А что же ты слышала?

Все погибло, все!.. Остается только одно...

Она бросилась перед ним на колени, обхватив руками его ноги.

— Романушка! Братец! Родненький! Не делай этого!.. Не ходи с ними!.. Не губи людей!.. Не губи свою душу!.. Оставь их!.. Этих недобрых!.. Забудь обо всем... Будем честно жить!.. Во веки вечные не разлучусь с тобой... Только не ходи!.. Убежим от них!.. Убежим сейчас!..

Роман встал, высвободился из ее объятий и отошел.

— Брось черт знает что плести!

— Нет, Романушка, не говори так! — Она ползала перед ним на коленях, хватая за ноги.— Ведь это грешно!.. Поджигать!.. Красть!.. Боже мой!.. Разве я когда-нибудь думала?.. Не пушу! Покайся!.. Романушка, надо покаяться, искупить свой грех!

— Прочь!

— Не отталкивай меня!.. Братик мой! Родненький мой!.. Я же тебя любила!.. Я умоляю тебя!.. Да смилуйся ты надо мной!.. И над людьми! Ведь они неповинны!.. Разве нельзя по-другому жить? Мы будем трудиться, зарабатывать... Я буду работать... ночи не спать... Романушка!.. Романушка!..

И она, держась за его ноги, смотрела на него снизу вверх, умоляя словами, глазами, слезами...

— Левантина! Не приставай! Сейчас же встань! Слушай, что я тебе скажу!

Она поднялась.

— Что ты слышала, что ты видела — чтоб только ты одна это слышала и видела. Чтоб никто больше! Если же ты хоть одно слово кому сболтнешь или хоть намекнешь, задушу, своими руками задушу тебя и даже пикнуть не дам!

Сжав кулаки, весь дрожа от гнева, он стоял перед ней такой страшный, не похожий на человека... А его слова словно громом поразили Левантину, отняли у нее речь, возможность двигаться...

— Слышала?

— Слышала...

— Смотри же! Или молчи, или тебе не жить па свете! Так и знай — это не шутки! Я шутить не умею! Сиди здесь до завтрашнего дня. И не вздумай бежать! Я запру тебя и велю хозяину, чтобы следил за тобой. Если только вздумаешь убежать, он тебя свяжет; у него будет ключ от дома. Понимаешь?

— Понимаю...

— Вот если хочешь жить на свете, то сиди тихо. Не будешь сидеть — задушу и в речку брошу. Ну, марш туда в угол и не смей оттуда выходить!

Она покорилась ему. Он закрыл дверь и запер на замок. Сам же взял что-то и вышел из дому. Левантина слышала, как он запер и вторую дверь.

Прислушивалась к его шагам. Сидела на кровати подавленная, угнетенная всем тем, что произошло. Разве могла она предвидеть что-либо подобное! Он, Роман, угрожает задушить ее! Он — погибший, вор!..

Все, что у нее в душе хорошего, чистого, что связано с прежним Романом, с первыми днями любви, он немилосердно, безжалостно растоптал своими ногами.

А ее мысли опять возвращались к событиям, которые должны были произойти этой ночью. Что же будет? Он подожжет село, обидит людей, ограбит их. А она никак не сможет предотвратить это несчастье!

Она вскочила с места. Однако так ведь нельзя! Она будет стучать, кричать до тех пор, пока ее не выпустят, — тогда побежит...

Но ведь он отдал ключи хозяину. Разве тот выпустит ее? Нет, надо тайком убежать.

Но ведь ее заперли на два замка!

Подойдя к тонкой дощатой двери, она подергала ее. С наружной стороны в дверь были ввинчены кольца, на которых висел небольшой замочек, — это было видно, потому что дверь немного открывалась и она могла просунуть в щель палец.

Левантина изо всех сил нажала на дверь плечом раз, второй, третий, стараясь таким образом вырвать кольца. Дверь трещала, но кольца не подавались. Она проделала так несколько раз, напрягая все свои силы, — все напрасно. Устав, она снова села на кровать.

Если бы ей найти топор, молоток — она бы тогда знала, что делать. Стала шарить в темноте руками, однако ничего не нашла. Наконец после долгих поисков, в дальнем углу, под кроватью, нащупала какую-то железную вещь. Поднесла ее к свету, пробивавшемуся через щель в двери; это были старые клещи.

Левантина попыталась просунуть клещи в щель, но они не проходили. Затем повернула их и другим, тонким концом, с большим трудом продела в кольцо, стала рас-

шатывать его. Кольцо плохо поддавалось. Она еще поднажала и наконец выдернула его. Дверь открылась, и Левантина оказалась во второй комнате.

Бросилась к входной двери. Но тяжелая, крепкая дверь была плотно закрыта и заперта на висячий замок и еще, наверное, на засов. Левантина подергала за ручку, — дверь не подавалась.

«Буду толкать плечом, — подумала, — может, откроется хоть немного, чтобы можно было просунуть клещи».

Стала нажимать на дверь, стараясь делать это как можно тише. Но ее усилия были напрасны. Тогда она стала толкать изо всех сил локтями, плечами, до синяков, до крови, проступившей сквозь рубаху. Левантина уже не думала о том, что ее могут услышать, и в отчаянии колотила в дверь, сгоряча не чувствуя боли. Хотя и знала, что напрасно тратит силы, но не могла остановиться, охваченная желанием вырваться из этой тюрьмы. Билась о крепкую дверь, как пойманная птишка о жестокую решетку клетки-тюрьмы.

Вконец выбившись из сил, остановилась, склонилась на дверь, тяжело дыша. Побитые плечи и локти невыносимо болели. Она решила немного отдохнуть.

Увидела, что уже стемнело. Подошла к небольшому окну и стала осматривать его.

Окно забито наглухо, а стекла настолько маленькие, что если бы она и разбила, то не могла бы пролезть через них. Выбить оконную раму?

Но сможет ли она это сделать? А если бы и смогла, хозяева услышат треск дерева, звон разбитого стекла... Подошла ближе к окну и стала оглядывать двор, увидела сарай или конюшню. Людей не было видно во дворе. Но они могут оказаться поблизости, вот здесь, и услышат ее.

А если выставить окно — может, не заметят?

Снаружи окно было забито гвоздями. Но эти гвозди давно уже проржавели, а когда Левантина нажала на раму с одного конца, они сломались, и окно сразу подавалось наружу.

— И какого черта тебе нужно? — раздался поблизости чей-то сердитый, грубый голос.

Девушка мгновенно прижалась к стене и стояла, вся похолодев и дрожа от страха. Ее заметили, это же хозяин!

— Ходи в темноте, ищи! Черт знает что такое! — недовольно ворчал хозяин, и Левантина услышала, как бряцнул замок сарая.

— Да она здесь, с краю лежит, — ответил женский голос.

У Левантины немного отлегло от сердца: это разговаривают не о ней, наверное, хозяин с хозяйкой что-то ищут в сарае. Прислушалась, как они отпирали сарай, зашли туда, ругаясь, нашли какую-то вещь, замкнули его и ушли. Снова все стихло.

Переждав немного, Левантина опять принялась за окно. Осторожно, понемногу нажимая, она выдвинула раму настолько, что могла просунуть руку в щель сперва с одной стороны, а потом с другой. Вытащить раму и поставить ее на землю теперь не составляло труда.

Тем временем уже совсем стемнело. Прислушалась, нет ли кого поблизости, и осторожно выпрыгнула из комнаты в окно.

Она дрожала от страха — боялась, как бы ей не встретился кто-нибудь. Но никого не было.

Роман, наверное, солгал, что ключ отдаст хозяину. Она быстро пересекла двор и очутилась на улице. Бросилась было бежать, и тут же замедлила ход, боясь, что ее могут задержать, видя, как она удирает. Но шла очень быстро, стараясь держаться темных улиц, и вскоре оказалась за городом.

Остановилась на минутку передохнуть, а потом побежала по дороге на Дыблево. Пробежала около двух верст.

И вдруг промелькнула мысль: ведь и они пойдут по этой дороге. А что, если нагонят ее? А что, если они уже опередили? Что, если она опоздала?

Она знала и другой путь — через лес, потом через овраг. Он намного короче, но там не было проезжей дороги, только узенькая тропинка, по которой ходили люди. Левантина тоже ходила по этой тропинке, но днем и вместе с людьми, а сейчас... Идти одной через лес очень страшно...

А если пойдет по проезжей дороге — опоздает или ее нагонят. Роман поймает ее, и что потом будет?

Посмотрела налево: на горизонте зловещей темной тучей чернел лес. Сошла с дороги и побежала по направлению к лесу.

Пока бежала по полю, еще не так страшно было. По когда подошла к темному, мрачному лесу — ей стало жутко. Левантина остановилась в начале тропинки, которая потонула в такой черной и страшной пропасти, что у нее, бедняги, сердце сжалось от страха.

Но колебалась она недолго. Перекрестилась и вошла в лес.

Теперь Левантина уже не бежала, потому что устала, а кроме того, она боялась сбиться с тропинки и заблудиться. Однако шла быстро, меж огромных стволов старых деревьев. Изредка сплетенные ветки расходились вверху, и тогда она видела клочок неба с двумя-тремя звездочками. Она старалась не смотреть по сторонам, не прислушиваться, а все идти, идти...

Но порой невольно озиралась, и слух улавливал таинственные звуки огромного леса. Ей чудился тихий шепот, шелест и вздохи; малейший звук остро чувствовал напряженный слух бедной девушки.

Она все шла. Осень уже сбросила с деревьев их летний покров и расстелила по земле мягкий ковер из мертвых листьев. Левантине легко было идти по тропинке, хотя она часто спотыкалась о корни деревьев своими босыми ногами. Но она не обращала на это внимания и продолжала идти.

Порой перед глазами возникали какие-то огромные черные фигуры, и ей начинало казаться, что вот-вот сейчас загорятся две свечи волчьих глаз... Тогда она закрывала глаза...

Когда еще служила наймишкой в ближнем к лесу селе, она изредка ходила с девушками сюда по ягоды и хорошо знала эти места. Если бы не знала, то давно бы заблудилась.

Наконец Левантине показалось, что она уже подходит к опушке леса. Тогда она, сама не зная почему, бросилась бежать, до крови разбивая ноги, царапая ветками руки, лицо. Бежала, потому что гнал ее страх, до тех пор, пока не оказалась в поле. Усталая, она повалилась наземь и немного полежала, отдохнула. Но недолго. Вскочила и опять пошла. Однако не через овраг, а свернула вправо и снова выбралась на дорогу. Это немного дальше, но овраг был для нее страшнее леса...

Ноги сильно болели, но она не могла остановиться. Каждая потерянная минута могла погубить все. Нужно

идти, хотя и несколько медленнее. Сколько ей осталось еще? Версты четыре?

Шла... Что-то мерещилось слева. Вот и овраг, что возле Дыблева. Еще верста — и она в селе.

Что это?

Темное осеннее небо порозовело на горизонте — как раз над селом. Это луна всходит? Ну да, наверное, луна... Но нет, луна не оттуда всходит... Становится все светлее и светлее... Огненные языки поднимаются вверх, устремляются к небу. Пожар!..

Левантина закричала как безумная и побежала навстречу страшному красному зареву.

## V

Ярошу не особенно хотелось идти на это дело. Дыблевские крестьяне очень обозлились на конокрадов и выслеживали их так, что не безопасно было появляться в этом селе. Но Патроклу Фигуровскому, да и всей их шайке понравилось предложение Романа. Патрокл подвыпил вечером и всю дорогу, пока шли в Дыблево, был очень весел, шутил, смешил товарищей и все приставал к мрачно настроенному атаману. Но тот молчал, не отвечая на его остроты. Они разделились таким образом: Ярош с Патроком и Лукашом в одной группе засели в логу, охотясь за тремя лошадьми Панаса Гамана, а Кучма и еще один парень спрятались возле ветряной мельницы, рассчитывая взять пару Середенка. Роман после поджога должен тотчас бежать в город.

Троиц в логу хорошо было сидеть, потому что находились в укрытии и в то же время хорошо видели холм, где стоял овин Струка, и место, откуда Роман должен подать им свой огненный сигнал. Хотя атаман и не разрешал разговаривать, но в голове у Патрокла шумело от выпитой водки, и поэтому его язык болтал без умолку. Он шепотом разговаривал с Лукашом, тот прыскал со смеху, и взбешенный Ярош наконец не выдержал.

— Вот как заеду шкворнем по голове, сразу умолкнешь! — прошептал он, толкнув железкой Патрокла в бок.

Оба умолкли, хорошо зная, что с атаманом шутки плохи, — бывает, так пошутишь, что потом век будешь помнить.

Сидели они молча, глядя в ту сторону, откуда должен был последовать сигнал.

Сидели долго. Вскоре увидели, как зарево осветило стоящие вдали вербы. Затем яркое пламя взвилось вверх, озаряя ряды сонных хат и деревьев. В селе забегали, закричали люди, залаяли собаки. Сначала крики и топот были слышны вблизи, но вскоре человеческая толпа с шумом и воплями хлынула туда, где взмывало вверх пламя.

— А ну-ка тронулись! — тихо приказал Ярош. — Да побыстрее!

Чуть ли не бегом пересекли небольшое расстояние до ближайших хат. По левой стороне третья хата с краю — Панаса Гамана.

Быстро вошли во двор. Большая конюшня находилась напротив ворот. Во дворе никого не было, только собака выскочила из-под хаты и с лаем бросилась на Яроша. Тот прикончил пса ударом шкворня по голове и в одну минуту, при помощи того же шкворня, вырвал пробой. Конюшня открылась. Лукаш с Патроклом вбежали туда и, не мешкая, вывели трех лошадей. Вскочили на них и выехали за ворота.

— А ну-ка, пришпорь! — сказал атаман.

Но в эту минуту произошло нечто неожиданное.

С поля в село мчалось четверо всадников. Наверное, прискакали на пожар с ночного...

— Лови!.. Воры!.. Конокрады!..

Ярош безжалостно бил коня шкворнем, а Лукаш и Патрокл хлестали нагайками. Лошади бежали во всю прыть. Но, видно, у крестьян, прискакавших с ночного, лошади были лучше или не так измороженные. Казалось, вот-вот настигнут они конокралов. Ярош оглянулся и увидел, что им не уйти. Нужно было спастись иным способом.

— Отпускай лошадей!.. Сами — в овраг! — крикнул он товарищам.

Как раз подскакали к оврагу. Отчаявшись, спрыгнули с лошадей на землю, и те понеслись в поле, следом за ними мужики.

Трое конокралов свалились чуть ли не под ноги коням; к их счастью, только Лукаша лошадь задела задней ногой. Упали у самого края глубокого оврага и, будучи не в силах удержаться, скатились вниз. Но сразу же

вскочили на ноги, не чувствуя боли, хотя каждый из них здорово ушибся.

— Пошли оврагом!..— приказал Ярош.

Конокрады побежали, думая, что где-то есть выход из оврага и они спасутся. Пробежав некоторое расстояние, почувствовали, что у них под ногами уже не земля, а камни. Овраг понижался, углублялся,— и вдруг они оказались в какой-то каменной яме, перед ними стояли отвесные и высокие, как кручи, каменные стены глубокого оврага, из которого нельзя было выбраться.

Запыхавшиеся беглецы остановились, поняв, что попали в западню. Они не знали этого коварного, предательского оврага.

— Назад! Может, успеем выбраться! — крикнул Ярош.

И все трое повернули в обратную сторону и что есть мочи побежали. Не успели добежать до середины оврага, как увидели впереди себя темные силуэты всадников и пешех. Двое преследователей, заметив, что конокрады соскочили с коней, не погнались за лошадьми, предоставив это своим товарищам, а поскакали к оврагу. Тем временем подоспели несколько крестьян из села, услышавшие их голоса, зовущие на помощь.

Конокрады неожиданно наскочили на них в темноте.

— Бей! Бей! Они! — закричали мужики в один голос, и на конокрадов посыпались удары кольями. А они, точно попавшие в западню звери, растерявшись и не зная, что делать, бросились бежать от своих врагов опять туда, к каменной яме.

Теперь мужики были уверены, что конокрады от них не уйдут. Когда-то помещик в этом овраге добывал камень для постройки своего дома, и здесь выдолбили глубокую яму с отвесными стенами. Отсюда трудно было выбраться.

С криком они побежали за конокрадами.

А те, опять вскочив в эту яму, остановились, чтобы хоть немного передохнуть.

— Вот когда мы пропали! — промолвил Лукаш.

— Ну, ты, болтун! — окрысился на него Ярош.

Тучи разошлись, из-за них выглянула луна, освещая все вокруг. Беглецы стояли среди мелких и крупных камней. Некоторые были уложены в штабеля, а другие навалены кучей. В одном месте, почти у самой стены,

камни были уложены штабелем (в виде столба) высотой около полутора сажен. Патрокл посмотрел на него.

— Берите камни и укладывайте их, чтобы можно было влезть на этот штабель! — скомандовал он.

— Зачем? — спросил Лукаш.

— Чертов стультусяка! Бери скорее! — И он сгреб своими ручищами кучу камней и потащил к штабелю, делая из них что-то наподобие ступенек. Лукаш помогал ему.

Но только они начали складывать камни, как прибежали мужики. Они размахивали палками, кольями и кричали:

— А, чертовы шкуродеры, попались!..

И двинулись прямо на конокрадов. Им не видно было за штабелями камней Патрокла и Лукаша, и они бросились на Яроша. А тот, вытащив из-за голенища огромный нож, взял его в левую руку, а правой держал наготове железный шкворень. Когда бежавшие к нему мужики оказались от него в трех-четыре шагах, он крикнул, рванулся вперед и ударил первого из них своим простым, но страшным в его руках оружием. Мужик вскрикнул, зашатался... Ярош отскочил. Мужики в первый момент подались назад, но тут же опомнились.

— Так вы драться? — закричали они свирепо. — Бей их! Бей насмерть!..

И мужики снова бросились на них с кольями.

— А, негодяи, собаки! — заревел страшным басом Патрокл и в тот же миг, выскочив вперед Яроша, широко размахнулся и бросил в толпу мужиков огромный камень. Один из мужиков вскрикнул, схватился руками за живот, да так и присел.

— Раз! — заревел Патрокл. — А это вам два! — Следующий камень заставил мужиков отойти.

— Назад, канисы куцехвостые, а то ребра и зубы всем вам переломаяю! — кричал Патрокл. — Бей их и ты, атаман! Чего стоишь зря?

Ярош тоже бросил камень, но тут же закричал:

-- Берегись!

Они едва успели спрятаться за камни, крестьяне стали забрасывать их палками и кольями. Ударяясь о камни, затрещали палки и кольца. Правда, никакого вреда конокрадам они не причиняли.

— Бросайте! Черт с вами! Этими же дубинками ваши головы разможем,— крикнул своим врагам Патрокл.

Туча снова закрыла луну. Сразу потемнело. Мужики совсем потеряли из виду конокрадов. Они были уверены, что те не убегут из глубокой ямы, но не знали, как их поймать. Они понимали, что конокрады, не надеясь на их милосердие, будут защищаться до конца. Двое мужиков получили сильные ушибы камнями, а третий истекал кровью от удара шкворнем. Если продолжать наступление в темноте, то возможны и более тяжелые последствия.

— Нужно сбегать в село за ружьем и застрелить их,— посоветовал кто-то.

— В темноте не попадешь!

— А коль и попадешь, так в Сибирь пойдешь! Надо взять живьем да так избить, чтобы в острог попали живыми, а оттуда их вынесли на погост.

— Тогда давайте подождем до рассвета.

— Но ведь село горит!

-- Это не на нашей стороне.

— Глядишь, и к нашей подойдет, если не погасят.

-- Ветра нету.

Наконец решили послать в село всадника, чтобы посмотрел, большой ли пожар, и, если можно, еще людей на помощь позвал. Они были уверены, что пожар до их хат не дойдет, и намеревались остаться здесь до утра: днем удобнее будет расправиться с конокрадами.

Только парень уехал, как вдруг полетели камни в мужиков.

— Ты смотри! Снова бросают, дьяволы!

— Пусть бросают, сюда не достанут.

А камни все летели. Никого, правда, не задевали, но падали один за другим...

Это бросал Патрокл.

Покуда мужики советовались, конокрады тоже не тратили времени зря и выложили ступеньки к вершине каменного штабеля.

— А ну-ка, прыгай, хлопче, на камни,— тихонько сказал Лукашу Патрокл,— достанешь ли рукой?

Лукаш поднялся.

— Не достаю примерно на аршин.

— Чепуха! На вот, бери камни, укладывай там!.. Нет, не так! Ты, Ярош, подавай ему камни, а я буду бросать

в этих свинских плебеев, чтобы не заметили нашей работы.

И он стал бросать камни. Патрокл и не старался попадать в крестьян,— да и не мог бы попасть, потому что, находясь в яме, ему неподручно было бросать. Каждый раз он приговаривал:

— Вот тебе галушка в твой свиной рот!.. Что? Подавился? А это яйцо тебе в лоб, чтобы твои чертовы зенки лопнули! Получайте еще, азипусы, вот!..

— Готово! — тихонько произнес Лукаш.

— Поднимайтесь наверх, братцы!.. И ждите меня там,— я сейчас.

И Патрокл, схватив два огромных камня, выскочил из ямы, подбежал в темноте поближе к своим врагам и бросил их один за другим. И, наверное, один камень все же угодил в какого-то мужика, потому что кто-то вскрикнул. Патрокл засмеялся, бормоча потихоньку:

— Что? Вкусно? Пу, ешьте на здоровье, щенята слюнявые! Не оскализайте зубов, лупусы ничтожные, потому что не укусите! — бормотал он, влезая наверх.

— Атаман!

— Я тут.

— Айда!

Но в этот момент тучи снова разорвались, и коварная луна осветила беглецов. Мужики подняли крик:

— Удирают! Удирают! Ловите!..

Опрямью по полю бежали три конокрада, а следом за ними, выбираясь из оврага наверх, бросилась толпа мужиков.

## VI

Жене Струка не спалось. То разные мысли лезли в голову, то блохи не давали покоя. Она вертелась на постели, толкала мужа в бок, злясь, что он, похрапывая, так крепко спит. Она уже подсчитала, сколько у них хлеба будет в этом году и сколько согнет ползтна из наготовленной пряжи, и мечтала о том, какого теленка приведет любимая Лыска. Ее снова начала раздражать вчерашняя перебранка с сероглазой Юхимихой, и она сожалела, что не успела той все высказать... Как раз в это время во дворе залаяла собака.

«Чего это Шарка лает? — подумала Стручиха. — Она попусту никогда не лает».

Хотя Шарка обычно лаяла почти всю ночь, откликаясь на лай других собак, но Стручихе хотелось разбудить мужа, и она стала толкать его в бок.

— Мусий! Мусий!.. Ты слышишь?

Мусий ничего не слышал и поэтому не откликнулся. Это вконец разозлило Стручиху. Она сильно встряхнула его, чтобы он сразу услышал.

— Отстань, Охрим, не тронь меня, — пробормотал спросонья Струк.

— Какой я тебе Охрим? Вставай, чертова соня! Не слышишь, как Шарка разрывается, гавкает? — Стручиха изо всей силы ткнула его в бок, и он сразу вскочил.

— А? Что? Что там такое?

— Шарка надрывается.

— Что?

— Шарка надрывается, говорю тебе.

— Лает, говоришь?

— Разрывается.

— Хорошая собака!.. Пусть лает, спасибо ей!.. — И снова упал сонный.

— Горе мое, а не муж! Ему только бы дрыхнуть, нет чтоб за добром своим присмотреть. Это не хозяин, а какое-то бревно, какая-то соня полунощная!..

А Шарка лаяла все сильнее и сильнее, и Стручиха на самом деле забеспокоилась. Не дождавись Муспя, она как была, босая, раздетая, так и выбежала из хаты.

Во дворе не видно было никого. Заметив хозяйку, Шарка залаяла еще сильнее и побежала к перелазу на ток. Стручиха следом за ней. Шарка влезла на перелаз, продолжая лаять. Стручиха заглянула на ток. Там никого не было. Скирды хлеба темнели посреди тока, как и прежде, за ними торчал своей острой кровлей овин. И вдруг Стручихе показалось, что за скирдами, возле овина, блеснул огонек... Может быть, кто-то спичку зажег или что?..

«Воры хлеб крадут», — подумала женщина и опрометью бросилась в хату.

— Вставай, проклятый лежебока! Воры!.. — Она схватила мужа за ноги и чуть было не стащила его с постели. Он сразу проснулся от неожиданности.

— Тьфу, дура! Чего ты?

— Воры хлеб крадут!

— Ну?! — Он так и похолодел от страха.

— Чего стоишь?.. Беги скорее!

Они вдвоем выбежали из хаты и бросились к перелазу.

Вместо воров увидели на току огонь. Теперь уже видно было, как он вырывался из-под стрехи и красными змейками бежал по соломенной крыше овина.

— Спасите, люди добрые!.. Пожар!.. — закричал Струк и бросился на ток. Но тут же зацепился за какой-то хворост и упал. Поднимаясь, слышал, как жена его кричала во дворе Сиваша: «Спасите!» — и стучала в окна так, что стекла звенели. Потом она выбежала на улицу, стуча в окна, вопя:

— Спасите!.. Горим!.. Спасите!..

Струк тем временем подбежал к овину. Задняя стенка его уже горела ярким пламенем, и вверх поднимались клубы дыма. Подскочив к огню, Струк понял, что сам он ничего не сможет сделать, так как прибежал с пустыми руками. Тогда бросился за ведром. Схватил в хате ведро, разбудил дочь и батрачку, которые спали в сенях.

В это время Денис и Зинько, проснувшись от крика жены Струка, выскочили из хаты. Посмотрев на ток и увидев на своем овине отблески пожара, подумали вначале, что это они горят. Однако вскоре убедились, что ошиблись: их сад, находившийся между двумя овинами, был освещен пожаром на току у соседа. Схватив ведра с водой, братья бросились к дому Струка.

Они прибежали к месту пожара вместе с хозяином и все трое выплеснули на огонь по ведру воды. Вырвались клубы дыма, но тут же огонь разгорелся еще сильнее, ярко освещая ток, дворы и село. По улице, по переулкам, по огородам бежали люди, поднятые женой Струка. Большинство из них бежали с ведрами, кто с топорами, а кое-кто и с пустыми руками. Поднялись крик, плач, суетолака. Некоторые бросились к пожарной машине. Стручиха бегала и голосила. Струк метался от мужика к мужику и умолял:

— Люди добрые, спасите! Там же хлеб мой!.. Мы же по миру пойдем!..

Но что могли сделать эти люди? Бегали, носили ведрами воду, выливали на огонь, а он разгорался все сильнее. Сухая солома мгновенно вспыхивала, как порох,

лишь только к ней прикасалось пламя. Пожарной машины все еще не было.

Тем временем Денис поставил ведро — и без него много людей на пожар собралось — и дернул свата Манойла за рукав.

— Надо поджигателей искать. Это как пить дать поджог.

Горело так ярко, что вокруг было светло, точно днем. Они стали смотреть, не видно ли следов. Возле овина теперь нечего было искать их, потому что там суетились люди. Денис направился вниз, к огородам, а сват Манойло в сад.

— Вот! Вот! — вдруг крикнул Манойло.

Денис подбежал к нему. На сырой от осенних дождей земле ясно отпечатались следы пары городских сапог на высоких каблуках.

У Дениса даже глаза загорелись, когда он увидел их. Он побежал домой и принес фонарь. След привел их к перелазу в сад Струка. Заглянули через перелаз — следы и там. Денис поспешно перескочил через перелаз, и они с Манойлом прошли через сады Струка, Сивашей и подошли к их току. Следы вели от тока будто бы к воротам, выходящим в переулочек, но потом резко повернули к овину Сиваша, обошли его и оборвались перед дверью. В овине зерна уже не было, дверь в нем была не заперта на замок, но Денис хорошо помнил, что вместо замка заложил в пробой колышек. Теперь его в пробоине не было, — очевидно, кто-то открывал дверь.

— Видите? — шепотом произнес Денис. — Он тут. Хотел было убежать через ворота в переулочек, да, наверное, нас с Зиньком на току приметил или там люди бежали, и он вернулся да спрятался здесь. Я постою тут, а вы бегите людей зовите!

Манойло побежал, а Денис снова запер дверь на колышек. Он был глубоко уверен, что поймал вора, и боялся, как бы тот не выскочил и не улизнул.

Манойло вскоре вернулся, везя с собой пять мужиков.

— А что? Где? Как? — спрашивали те.

— Тут волк! Поймался! — сказал Денис. — Входите осторожно, чтобы не выскочил.

Приоткрыв немного дверь, все вошли в овин и снова закрыли его. Начали искать. Никого не обнаружили.

— Ищите в соломе! — сказал Денис. — Присветите-ка!

Стали раскидывать солому, копаться в ней — никого!

— Что за наваждение? — удивлялись мужики. — Может, ошибся ты, Денис?

Но Денис был уверен, что не ошибся.

— А ну-ка идите сюда! — сказал он и повел людей в дальний угол, где тоже лежала куча соломы. Манойло присветил, а Денис отбросил в сторону верхний слой соломы. Люди увидели спину и голову человека. Он лежал лицом вниз, зарывшись в солому, закрывшись руками.

— А ну-ка, поднимайся! — крикнул Денис и ударил неизвестного сапогом в бок.

Тот вздрогнул, но не встал.

— Нужно поднять его, — сказал Тонконоженко, и они вдвоем с Денисом взяли неизвестного под руки, поставили на ноги. Неизвестный не вырывался, однако и не вставал, а был он здоровенный детина, и Тонконоженко с Денисом с трудом подняли его. Тот стоял, закрыв лицо руками.

— Ты гляди-ка! Застеснялся, точно засватанная девка! — сказал Денис. — А ну-ка, покажитесь, паныч, какой вы есть! — И с силой оторвал его руки от лица.

И тут же отошел, пораженный: перед ним стоял Роман!

— Ого-го-го! Так это Роман! — воскликнул Манойло, а следом за ним и остальные... — Так вот это кто! Ну, волчик-братец, теперь не уйдешь!

— Чего вы ко мне пристали? — отозвался Роман хриплым голосом, глядя на них безумными глазами. — Что вам нужно? Я ничего не знаю... Пришел в село и хотел здесь переночевать.

— Хорошо! Хорошо! Если ты не знаешь, то мы покажем тебе, что ты сделал. Пошли!

Несколько человек схватили Романа и потащили к месту пожара.

Он не вырывался, шел, перескакивая через перелазы, но временами просил:

— Отпустите меня к отцу... Я пришел к отцу и заночевал в овине...

— Рассказывай!.. — смеялись над ним. — Надо было идти в дом, а не в овин... раз уж отца вспомнил!.. А то забыл, что у него и отец есть.

Когда Романа подвели к месту пожара, пламя охватило весь овин, оно поднималось ввысь огромным огненным столбом. Вытекая из небольшой пожарной машины, тоненькая струйка воды совсем не гасила огонь, а постепенно превращалась в пар и вместе с дымом поднималась в воздух. Несколько человек двумя баграми старались зацепить кровлю овина, чтобы разбросать бревна, но у них ничего не получалось. Сухое дерево вместе с соломой горело вовсю.

Подгоревшие стропила прогнулись, вся крыша накренилась набок, осунулась вниз, потом со страшной силой затрещала и провалилась в середину, разрушив стены овина. Дым черной тучей повалил вверх, закрывая пламя; во все стороны дождем летели огромные искры, и горящая солома падала на людей. Толпа, оказавшись среди вихря дыма и огня, закричала, шарахнулась в сторону. Но пламя снова взвилось высоко, облизывая черные челюсти темного ночного неба. Дым развеялся, и люди снова хлынули ближе к огню, крича, суетясь, но без толку. В этот момент позади них раздался крик:

— Пропустите! Пропустите!.. Поджигателя ведут!

И, проталкиваясь сквозь толпу, несколько мужиков подтащили Романа к огню.

— Кто это? Кто?.. Роман?.. Сивашенко Роман! — раздался голоса, и удивленные, обозленные люди пробирались поближе, чтобы посмотреть на конокрада. Тонконоженко и Манойло поставили Романа около огня. Старый, весь седой дед Карпо остановился перед Романом.

— Роман! — сказал он, показывая на пожар. — Это твой грех?

— Нет.

— А кто же это сделал, если не ты? Признавайся, ты согрешил?

— Нет.

Вдруг с противоположной стороны села донеслись крики, и тут же подскочил к нему взъерошенный, запыхавшийся человек, вопя:

— Лошадей увели!.. Лошадей!..

— Лошадей?.. Каких лошадей? Что ты говоришь? — разнеслось вокруг.

— Трех лошадей... у Панаса... Вывели и поскакали... Наши верхом погнались за ними.

Люди на миг утихли. словно буря взмахнула своими могучими крыльями по морским волнам — заревела, зашумела, забурлила свирепая толпа.

— Так вот оно что!.. Этот поджигает, а другие тем временем лошадей уводят!.. Убить его!.. Как собаку!..

Рассвирепевшая толпа двинулась на Романа, двое здоровых мужиков крепко держали его. Их красные от пламени лица, выкатившиеся из орбит страшные глаза, сжатые кулаки... еще миг — и набросились бы все, чтобы разорвать того, кто теперь уже не в силах был ни вредить, ни защищаться.

Но дед Карпо вдруг взмахнул рукой.

— Пойдите! Пойдите! — крикнул он людям.

На мгновение все остановились, а он снова спросил у Романа:

— Роман! Теперь хоть признайся! Ты это сделал?

Роман какое-то мгновение молчал... Как молния мелькнула у него мысль: «Попался!..» Если признаюсь, может, не будут мучить. И он произнес хриплым, сдавленным голосом:

— Я... Виноват...

И сразу поднялось что-то невообразимое, неожиданное, совсем неприсущее людям.

Толпа опять всколыхнулась, закричала, завывала... Десятки людей протянули руки к Роману, вырвали его у тех, кто держал, и свирепо толкнули, бросили прямо в огонь.

Раздался страшный крик, и Романа заволокло дымом.

Но тут же он выскочил оттуда с дымящейся одеждой, тлеющими волосами.

Перед ним стояли безумные, наполненные звериной ненавистью люди, которые снова бросили его в это пекло.

Он снова выскочил оттуда, весь охваченный пламенем.

— Сумасшедшие! Что вы делаете? — воскликнул Карпо, и, схватив ведро воды, вылил ее на Романа. Одежда теперь не горела, только дымилась.

Несчастный Роман стоял и дрожал от нестерпимой боли и нечеловеческого страха.

— И в самом деле, — отозвался кто-то, — зачем его сжигать? За него отвечать придется.

— А что же, по-твоему, помиловать его? — кричали другие.

— Нам нужно, чтобы он выдал своих сообщников, чтобы все их волчье гнездо уничтожить.

— Правильно! Правильно!

— Ну, так чего же вы смотрите? Снимите с паныча погни да подогрейте хорошенько его господские ножки пока не признается...

Еще советчик не договорил, а с Романа уже стащили обгоревшие сапоги, кто-то нагреб кучу жара. Четверо мужиков схватили полуобгоревшего Романа и поставили босыми ногами на жар. Он вырывался, извивался, как червь, в руках своих врагов, но толпа была сильнее его. В то время, когда жгли ему ноги, его искаженные рапиными мучениями глаза видели спокойно стоявшего брата Дениса...

— Признавайся! Это ты воровал лошадей?

— Я.

— Кто был с тобой?

— Я один! Всех пропавших лошадей я один увел!.. Слых!.. Никто мне не помогал!.. Отпустите меня!.. Отпустите!..

Этот страшный вопль: «Отпустите!» — разнесся далеко вокруг, и его услышал Зинько. Так получилось, что в то время он был далеко от места пожара — укрывался под крышами ряднами свою хату и стоги сена, — и не знал, что поймали Романа.

Заслышав это нечеловеческое: «Отпустите!» — он вбегнул в толпу, расталкивая, отбрасывая в стороны мужиков.

Роман, стоя босыми ногами на горящих углях, вырвался из рук своих палачей, а Денис стоял и молча смотрел на него.

Зинько рывком оттолкнул двоих мужиков от брата, другие неожиданно отпрянули в сторону, и Роман выскочил из жара.

— Каин проклятый! — крикнул Зинько Денису. — Брата убиваешь! А вы, убийцы! — обратился он к людем. — Палачи! Что вы делаете? Вы что, бога забыли, весть потеряли? Прочь, лютые звери! Первого, кто его погнет, я швырну в огонь.

Ошеломленная толпа на миг утихла. Но только на мгновение.

— Что вы его слушаете? Жалеть такого волка? Жгидо тех пор, покуда не выдаст всех!

И Романа снова толкнули, он упал руками прямо в огонь...

Вдруг толпа расступилась, пропуская девушку, которая бежала сюда, точно ее подгоняла какая-то сверхъестественная сила. Девушка, запыхавшись, с растрепанными от бега волосами, выскочила вперед и подбежала к огню... Роман в это время поднялся... Глаза безумные, лицо, искаженное болью, почерневшие голова и руки,— эти страшные, обугленные, потрескавшиеся, окровавленные руки, с которых свисала обгоревшая кожа...

Из ее груди вырвался нечеловеческий крик, покрывая и шум толпы, и гул пожара одним иступленным, безумным воплем,— и девушка, словно мертвая, повалилась под ноги толпы.

## ЭПИЛОГ

Трое судей, прокурор и судебный секретарь сидели за длинным столом, накрытым красным сукном, а слева от них, на двух мягких диванах,— присяжные. Напротив судей публика: несколько барышень и барынь, два-три молодых человека, какой-то господин из редакции газеты, несколько мещан... Справа стояло нечто сооруженное из дерева, похожее на клетку с перегородкой: в одной половине клетки никого не было, а во второй, опершись на пюпитр, сидел адвокат.

Велели ввести обвиняемых.

Первым вошел высокий коренастый мужчина в серой арестантской одежде, с черной, отросшей в тюрьме бородой. Он остановился, выпрямившись, как солдат. Старался держаться спокойно, но глаза его тревожно бегали, останавливаясь то на судьях, то на присяжных, а потом опять на судьях.

Следом за ним шла девушка. Надвинутый на лицо платок почти совсем закрывал худое, измученное лицо; она смотрела вниз, и ее длинные ресницы лежали на белых, как белила, щеках. Девушка нервно закрывала свою исхудалую грудь отвратительной серой арестантской шинелью.

Спрашивают их фамилии. Его зовут Роман Сиваш, ее — Левантина; судья поправляет: Валентина Тополева.

Избрали присяжных: двое крестьян, четыре городских торговца, а остальные какие-то господа чиновники. Секретарь читает обвинительный акт.

В нем говорится о том, как Роман Сиваш был пойман во время поджога; он сам признался в этом преступлении и еще в том, что воровал лошадей.

Валентина Тополева помогала ему. Это можно заключить из того, что она должна была находиться у своего хозяина в городе, однако во время пожара почему-то оказалась в Дыблеве. На нее так подействовали пытки Романа Сиваша, что она потеряла сознание и после этого месяц лежала в больнице. Расследуя преступление, следователь обратил внимание на этот факт и установил, что Тополева была любовницей Сиваша, ее неоднократно видели вместе с ним; она жила у Струков, была зла на них, поскольку те не полностью расплатились с ней; подсудимая знала каждый уголок во дворе хозяев и свободно провела туда Сиваша. Придя к такому выводу, следователь распорядился посадить Тополеву в тюрьму, вскоре она выздоровела, и вот теперь ее должны судить.

Роман Сиваш признает себя виновным, но утверждает, что сообщников у него не было. И хотя его жестоко пытали, после чего он два месяца лежал в больнице, — он продолжает утверждать: один во всем виноват, и больше никто.

Левантина Тополева чуть слышным голосом говорит, что она не виновата.

Приводят свидетелей. Среди них нет ни одного, кто мог бы сказать что-нибудь хорошее о Романи или Левантине. Следователь заботился о том, чтобы обвинить, а не о том, чтобы доказать невинность тех, кого он отдает под суд.

Первый свидетель — Денис Сиваш. Суд считает, что он может не давать показаний, поскольку он брат подсудимого, но Денис сам просит слова. Он начинает рассказывать о брате, что тот не хотел трудиться, обворовывал всех и наконец совершил поджог. Говорит о пожаре, утверждая при этом, что Романа никто не пытал, что он сам признался в своих преступлениях. После Дениса давали показания другие свидетели, мужики села Дыблево. И все они заявляли то же самое, что и Денис. О Левантине все говорили, что она и впрямь была любовницей Романа, имела от него ребенка, ушла к нему в город и вернулась в село в ту же ночь, что и Роман.

После крестьян давали показания городские. И прежде всего Квасюк. Он рассказал, что не раз видел, как Роман приходил к Левантине, как они гуляли вместе по городу, а за день до пожара Левантина, неизвестно почему, убежала от него. Жена Квасюка засвидетельствовала на суде, что Левантина была ленивой, гулящей девушкой, а когда убежала от них, то многого в их хозяйстве они не досчитались.

— Побойтесь бога, хозяйка... — начала говорить Левантина, но главный судья прервал ее, сказав, что она может спрашивать свидетелей только через него. Левантина, ничего не поняв, умолкла и уже больше ни о чем не спрашивала. Затем давал показания хозяин, на квартире у которого жил Роман, он сказал, что утром видел Левантину у своего квартиранта; наверное, у него и ночевала.

Какой-то присяжный спросил у Левантины, почему она в ту ночь оказалась в Дыблеве? Она ответила, что хотела предупредить о пожаре. Откуда же ей об этом стало известно? — Узнала от Романа. — А зачем она приходила к Роману? — Она краснеет, молчит. Присяжные и судьи были убеждены, что она лжет.

Выступает прокурор. Ему легко обвинять Романа Сиваша, потому что его вина доказана. Но, по его мнению, и Левантина не может быть невиновной. Испорченная, ленивая девица уходит от одних хозяев, переходит к другим, при этом она не прочь прихватить с собой и чужое. Находит себе такого же любовника, как сама, следует за ним в город и, хотя живет отдельно, часто встречается с ним и, наконец, помогает ему в ужасном преступлении — поджоге. Что касается ее утверждения, что она прибежала в село, чтобы предотвратить пожар, то, зная все ее проделки, можно только поражаться тому бесстыдству, которое позволяет ей так нагло запутывать дело. Видно, какая у нее испорченная душа. И нельзя ее, эту опасную для общества женщину, оставлять на свободе, ибо она и впредь будет причинять людям вред. Нельзя допустить, чтобы эти хищные враги человеческого благополучия грабили наш беззащитный, убогий народ. Поджигатели и конокрады — это опаснейшие враги нашего крестьянства, и кому дорого его счастье, кому дорог крестьянский кровавый труд, тот должен осудить не только Романа, но и Левантину, потому что,

несмотря на свою невинную внешность и красивые черты лица, она преступница. Поэтому он надеется, что присяжные не проявят к подсудимым никакого снисхождения. Он говорил красноречиво, горячо и под конец, довольный собой, уселся в кресло, думая, что если присяжные послушают его, то Сиваш будет осужден к каторжным работам, а Левантина — к ссылке в Сибирь.

Поднялся защитник. Он в душе почти соглашался с доводами прокурора, однако по долгу службы должен был защищать обвиняемых. И он старался использовать малейшую возможность, чтобы в какой-то степени смягчить вину своих подзащитных.

Спрашивают обвиняемых, не желают ли они еще что-нибудь сказать в свое оправдание. Роман молчит. Левантина же твердит одно:

— Я ничего не знаю... Я ничего не делала!.. — И умолкает, рыдая.

Старший судья произносит длинную речь. Он говорит, что хотя Сиваша и сильно изувечили, за что виновные понесут соответствующее наказание, однако присяжные не должны принимать это во внимание, вынося приговор: эти пытки не являются карой преступника, ибо они незаконны. Поэтому суд не может учитывать их и должен Сивашу определить меру наказания, соответствующую его преступлению.

Уходят присяжные, судьи, частично публика. Роман и Левантина остаются сидеть, охраняемые двумя солдатами с саблями.

Левантина настолько была подавлена своим горем, что не могла понять, что здесь, в суде, происходит. Ей было ясно лишь одно — ее хотят наказать. Она побывала уже в тюрьме, и там ей рассказали, что значит, если присяжные возьмут бумаги и уйдут в свою комнату.

Она должна ждать приговора.

Уже пять месяцев она ждала его в тюрьме. Пять долгих, страшных месяцев...

Тяжело отбывать наказание даже за свершенное преступление. Еще тяжелее отбывать его невинному. А ужаснее всего и страшнее, чем смерть, — быть осужденной за то, что хотел сделать людям добро.

Левантину именно за это и наказывали.

Она всю свою жизнь отбывала наказание.

Маленькой — когда все помыкали ею, называя незаконнорожденной, оскорбляли, унижали.

Взрослой сиротой — работая по найму, тяжело трудясь, перенося побои, издевательства и другие еще более горькие обиды.

Любовницей — отдав всю себя тому, кто погубил ее.

И наконец теперь — попытавшись предотвратить беду, грозившую людям.

Это был конец и венец ее земных испытаний, самая высокая горькая нота в печальной песне ее исковерканной жизни.

Самая высокая и последняя.

Резко зазвенел звонок.

Зал наполнился людьми.

Вошли присяжные.

Они осудили Романа, а Левантину... Они отнеслись великодушно: все, кроме одного, были уверены, что она виновна, не может не быть виновной, однако пощадили ее, помиловали...

Но что ей от этого?

Левантина вернулась в тюрьму, чтобы сбросить арестантскую одежду; она подошла к своему месту в камере, на котором пять месяцев промучилась, убивая свое тело и душу, упала и не смогла подняться. Она тяжело заболела и уже больше не встала на ноги. Зинько, приехав за ней из села, не нашел даже ее могилки.

Умерла она, окруженная мрачными тюремными стенами с решетками.

Ни один солнечный луч не озарил ее лица в предсмертный час.

Ни одна родная, искренняя рука не пожала ей руку.

Над ней склонились только измученные неволей и грехами люди.

Это были такие же несчастные, как и она... хотя и не такие прекрасные и чистые душой.

Тихо, тяжело и безмерно печально угасала и наконец угасла униженная, оскорбленная человеческая жизнь. Угасла без солнца. А как мечтала она о счастье, о радости!.. И теперь зарыта в земле под небольшим холмиком, на тюремном кладбище...

Умерла она, не увидев ясного солнышка, нежные лучи которого теперь целуют ее могилу. Оно светит ласково и добрым и злым; освещает и ее могилу, светит и Роману

в далекой Сибири, и тем, кто пытал его, а теперь отбывает наказание, и тем, кого судят, и тем, кто судит. Одинаково сияет и над хатами, и над городскими домами — там, где люди превратили широкий и светлый мир в тесный мир неволи и тьмы, звериной борьбы за кусок хлеба, за право жить; там, где щедрая рука могучей природы разлила богатства жизни и средства к существованию, и там, где люди стараются причинять друг другу всевозможные страдания, где царит несправедливость и бесправие.

Эти мысли волновали и Зинька...

Тоскливо теперь в семье Сиваша. Дениса среди них давно уже нет: в семье не могли простить ему того, что он не только не защищал Романа, но и сам подвергал его пыткам. Денис живет отдельно, богатеет. Старый отец сгорбился, стал белый, как молоко, за короткое время совсем состарился. Печальным стал и Зинько, который вместе с отцом и матерью часто вспоминает и горемычную Левантину и бесталанного Романа, блуждающего по холодной Сибири, тоскующего по родной стороне. И задумывался Зинько над тем, как несправедливо устроена жизнь па земле, что одни живут в полном довольствии, а другим — белый свет не мил. И нужно бы изменить эту жизнь, но как?

Думает он просто, по-мужицки, но думает над тем, что глубоко затрагивает и не дает покоя всем честным людям, всем благородным сердцам, мучительно ищущим разгадку человеческой жизни, без усталости работающим ради достижения человеческого счастья...

*Чернигов, 1900*



**ПОД ТИХИМИ  
ВЕРБАМИ**

*Часть первая*



Наступае чорна хмара,  
А другая — сняя...

*Народная песня*

## ЧЕРНАЯ ТУЧА

Прошло уже около четырех лет, как Денис Сивашенко отделился от отца и от Зиньки, младшего брата... сразу после того, как среднего брата Романа сослали в Сибирь. Нерадостная была эта история!.. Роман, облепившись в солдатах, ничего не хотел делать дома, поссорился с отцом и Денисом, а уйдя в город, присоединился к шайке конокрадов и был пойман, судим, а затем сослан в Сибирь. Денису это не повредило, наоборот — он получил большую часть наследства, а кроме того, всем стало известно, что именно он поймал Романа и выдал его. Никто из крестьян не упрекал его в содеянном... хотя и не совсем хорошо, что люди знают о брате, находящемся в Сибири... Ну да ничего! Пусть лучше в Сибири остается такой лодырь, чем дома из-за него будут происходить постоянные ссоры. Вот только беда, что Денис поссорился с отцом... В этом, правда, он не виноват:

поссорился из-за Романа, которого он уличил в воровстве. Вот потому отец, мать и Зинько возненавидели его!. Ну и пускай. Все, что полагается ему получить от отца в наследство, он получил. Да и не дал бы он себя в обиду,— ведь в хозяйство вложен и его труд. Денис рад, что отделился от родных: ему давно уже надо было стать самостоятельным хозяином. Он построил себе хату на противоположном конце села, подальше от родителей, и стал хозяйничать. И хорошо хозяйничать, за каких-нибудь четыре года он многого достиг: из простого мужика Дениса превратился в Дениса Филипповича, из мало-мощного хозяина в зажиточного. У него было собственной земли уже тридцать десятин, да еще вместе со своим тестем Манойлом он арендует у других... Вот каков он! Пускай этот дурак Зинько лопнет от зависти, глядя на его богатство. Сам живет, как нищий,— наверное, ничего не накопил с тех пор, как умер отец, только проедает наследство. Ха-ха! А Денис в этом году к своей хате построил еще вторую половину — большую горницу и комнату. И в горнице так убрано, что даже и станového принять не стыдно: два дивана, черные покрашенные стулья, на стенах большие картины,— Денис уплатил щетиннику<sup>1</sup> не то по одному золотому, не то по пятьдесят копеек, потому что там есть и такие что с золотом... Одних генералов пять, и турецкая война, и Страшный суд со змием, и «вид города Тулы» — и все под стеклом, в больших красных и зеленых рамках... А окна в доме такие, что открываются, а не отодвигаются, и на них занавески ситцевые болтаются, ну, как у господ. И кровать здесь стоит — высокая, широкая, на ней три перины, и покрыта она красным одеялом (ценой в пять рублей); а четыре большущие подушки поднимаются чуть ли не до потолка, все в ситцевых наволочках с огромными цветами, — это уже Домаха, жена Дениса, покупала, — очень красивый ситец, по золоту за аршин. Никто на этой кровати не спит (потому что все спят в противоположной комнате), а стоит она просто так, для украшения «комнаты», да чтобы люди видели, что здесь живет хозяин, а не бедняк... И дочерей у Дениса две,— так это для них Домаха и приготовила: пускай

---

<sup>1</sup> Щетинник — торговец мелкими товарами, меняющий их за щетину и другие сельскохозяйственные продукты.

люди знают, какое у них приданое. Накопили, благодарение богу, и для дочерей и для сыновей; есть в чем выйти, есть что поесть и попить. Не стыдно, нет, не стыдно пригласить к себе людей, хотя бы и таких зажиточных, как вот сейчас сидят в светлице за столом, пьют, сдят и о делах судят-рядят.

Знатные гости!

В красном углу сидит старшина Григорий Павлович Копаница — тот, что когда-то был волостным писарем, а теперь стал старшиной. Ого-го! Теперь писарство ему ни к чему, он богатый человек; одной земли у него сколько! А когда едет в город, в земское собрание (ведь он там гласным) да нарядится в сюртук — ну прямо-таки барин! Да ему иначе нельзя: ведь среди господ бывать приходится. Правда, и в селе не выйдет он без пиджака из хаты.

Рядом с ним сидит Сучок Михайло Григорьевич. Ох, это теперь не маленький Сучок! У него сейчас есть и магазин, и земля, и свою дочь Горпушу выдал замуж: теперь они вдвоем с зятем заправляют так что куда!

А поодаль сидит Манойло Гаврилович, тесть Дениса, отец Домахи. Рядом с ним сват — Остап Колодний, кум — Терешко Тонконоженко и Ефрем Рябченко — все богатые, хорошо одетые, в синих чумарках, в таких, как и у Дениса; только Рябченко одет по-городскому, в пиджаке.

Тесть и кум Терешко — старые приятели Дениса; с ними он давно в дружбе живет, он им помогает, а они ему. С Копаницей Денис подружился в то время, когда помогал ему стать старшиной; тогда же и с Сучком сблизился. А вот с Остапом Колоднем и с Яхремом подружился недавно.

Остап Колодний — красивый высокий чернявый мужчина, — он родственник Дениса, вернее — сват, потому что выдал за Зиньку замуж свою дочь Ганику (Гананией ее нарекли, когда крестили, это теперь уже по-простонародному стали называть так ее). Остап думал Зиньку привлечь на свою сторону, чтобы тот был заодно с ним, — да разве дурака научишь? Поэтому Остап и не любит Зиньку, а больше дружит с Денисом.

А Яхрем Рябченко... ну, это штука! Они совсем было поссорились — Денис и Яхрем. Когда-то о Яхреме всюду болтали, что он ворованное перепродает. После того

когда у Сивашей украли сало, Денис добился, чтобы у него произвели обыск. Правда, у него ничего не нашли, и после этого они стали еще больше враждовать. Известно, что из этого получилось бы, но вскоре после истории с салом Яхрем ушел куда-то на заработки... Около года его не было, а потом он вернулся и привез с собой деньги... Да еще, говорят, и немалые... И сразу же купил себе два надела... Прошел еще год или два — и вдруг Яхрем арендовал у глушковского помещика триста десятин земли. Как это произошло — никто не мог понять. Прежде эту землю брала в аренду община, снимали и зажиточные люди, но им помещик не отдавал ее — хотел больше получить... а те не соглашались: подождет помещик, подождет, да и отдаст по цене, предлагаемой крестьянами. А Рябченко подъехал к помещику, набавил ему немного, да и взял всю землю в аренду. Где он столько денег достал, чтобы помещику одну треть вперед заплатить, никто понять не мог — все диву давались. Но достал и купил!.. И не зря: сам не стал обрабатывать ее, а сдавал в аренду за деньги людям; а в то время цена на землю очень поднялась, — вот он по два рубля прибыли и получил на каждой десятине! И как стал с тех пор богатеть, так богатеет и богатеет! Ого-го! Теперь уже никто и не вспоминает о том, что когда-то бабы болтали, будто он ворованное перепродавал! Куда там! Теперь он Яхрем Семенович, богач... Всюду в компании бывает... И с Денисом они помирились. Зачем им ссориться? Что было, то прошло, а ссоры к добру не приводят. Теперь при случае они друг другу и помочь могут.

Вот такие гости сидели в светлице у Дениса Филипповича Сивашенка за столом, заставленным всякой едой. Хозяйка, пожилая женщина, молча подавала на стол угощения, иногда приглашая гостей откусать; хозяин был разговорчив, весел и с радостью угощал друзей. Вель это такие желанные гости! Не бедняки, с которыми водится Зинько, а уважаемые, крепкие хозяева, с ними любое дело по плечу — одолеют! Да и по своему капиталу-богатству они — сила, и в общине — сила.

Домаха пошла в соседнюю комнату ставить самовар, а Денис все угощал и говорил:

— Истинная правда все, что говорит Григорий Павлович, наш господин старшина: никакого покорства те-

перь у мужика нет. (Денис немного повертелся среди «образованных» людей и сам стал «по-образованному» выражаться.) Всякая голь стремится сравниться с достойным, с порядочным хозяином. Чем мужик беднее, тем больший крик поднимает на сходе против зажиточного человека. А того они не понимают, что, если бы нас не было, туго им пришлось бы. У кого землю взять в аренду для посева? — У нас! У кого скотину можно пасти? — У нас! У кого денег занять? — Тоже у нас! Что бы они делали без нас?

— Вот именно! Истинная правда! — поддержали гости. — Погибла бы проклятая голытьба без нашей помощи.

А кум Терешко (он же среди господ побывал и уж знает, что сказать) добавил:

— Настоящее благодеение оказывается им, настоящее!

А Денис продолжал:

— Вот видите!.. А еще становятся против нас на дыбы! Только порадошный человек захочет что сделать — то ли в обществе, то ли так, — сразу крик, вопль, шум поднимут, настоящая бунтация, да и только! Вот хотя бы сказать, как Остап Дорофеевич, — он кивнул в сторону Колодия, — хотел, чтобы община поручила ему строить новую волость, — беда! Крик-то какой подняли мужики! Говорят: «Богатеть хотите за наш счет!..» А все это брехня!..

— Конечно брехня! — подтвердил старшина, а Остап только руками развел.

— Вот так и я, — продолжал Денис, — хотел бы сделать одно полезное небольшое дельце, да боюсь с ним обращаться к общине, чтобы не нарваться на неприятность. Разве что вы, господа хозяева, пособи-те мне.

— Говорите, говорите, какое там дело! — зашумели гости. — Что хорошего надумали?..

— Вы же знаете, — начал Денис, — что когда переселенцы пошли на Амур, у нас остались их наделы. Община тогда не разрешила переселенцам продавать землю и взяла ее себе.

— Хотели между всеми поровну поделить! — крикнул кум Терешко, уже немного подвыпивший. — Ге! А мы воспротивились да тебе в арендное содержание отдали на три года, — вот и вся твоя неприятность.

— Именно, именно! И до сих пор благодарен вам, спасибо за это! Хотя оно от этой земельки и небольшая польза, ну а все же земелька.

— Да еще и какая! — добавил старшина. — Не приbedняйся, Денис Филиппович! От нас скрывать нечего. Мы хорошо все дело знаем. Свои люди.

— Да, да!.. Что и говорить!.. Вам да не знать!.. Я уже два года арендую эту земельку, вот и третий наступает, вот и конец...

— А там опять поднимут крик и шум на сходе, чтобы тебе не давать, — сказал Манойло.

— То-то и оно! Когда приходится снимать, они та-кой поднимают шум, такой шум! Все вопят, и никак от этого вопля не избавишься, — говорил Денис.

— А что же вы сделаете? Нет выхода! — промолвил Остап.

— Да можно найти выход, — намекнул Денис.

— А ну как? — спросил старшина.

— Да так: взять и продать эту землю кому-нибудь из путных людей.

— Да... — сказал старшина; и все на мгновенье умолкли. Все поняли, что Денис сам хочет эту землю купить, и задумались над тем, как поступить.

Выходит, что земля эта именно Денису должна была достаться. Во-первых, он уже арендует ее; во-вторых, все эти наделы граничат с его наделом, — такое совпадение; в третьих, он свой же человек, и если пособить ему теперь, то и он не останется в долгу. Может быть, кому-нибудь из них хотелось бы вместо Дениса себе эту земельку прибрать к рукам, но, видишь, тогда пришлось бы поссориться с Денисом, да и с его тестем Манойлом, да и с его кумом Терешком... А уж если они начнут враждовать между собой, тогда голытьба возьмет верх. Они до тех пор сильны, пока вместе.

Вот так и думал каждый, пока старшина не сказал:

— Да, Денис Филиппович!.. Что же, дело хорошее! Этим мы уж навек закроем им рот. Может быть, ты и купил бы ее, а?

— Да я... как вы, господа хозяева, решите, — сказал Денис, — а я, конечно, взял бы, хотя у меня сейчас и туговато с деньгами, ну да я уж как-нибудь постараюсь...

— Постараешься!.. Постараешься!.. — зашумели го-

сти. — А мы тебе поможем в общине: не допустим, заткнем рты горлохватам.

— Спасибо вам, господа хозяева, спасибо! — кланялся Денис. — Я на вас — как на бога!.. Уж вы теперь мне, а когда-нибудь и я вам, даст бог, чем-нибудь пособлю.

— Истинная правда! — сказал кум Терешко и добавил господскую поговорку: — Рука руку моит.

— Правильно! — промолвил старшина. — Постановь продать переселенческие наделы Денису Филипповичу Сивашеву.

— Продать! Продать! — закричали гости.

— А голытьбу, которая будет орать, — скрутить.

— Скрутить! Скрутить!

— Чтобы не посмели свое рыло совать туда, куда не следует, — в морду им!

— В морду им! В морду!

И все присутствующие захохотали. Громче всех смеялся старшина Григорий Павлович, и его толстое, откормленное лицо с неказистой рыжей бородкой даже содрогалось. Во всю глотку хохотал кум Терешко, смеялись Манойло и Остап, радостно хихикал в свою широкую русую бороду Денис, а толстопузый, одутловатый Сучок гудел своим важным голосом — го-го-го-го, словно пустая бочка. Пьяные покрасневшие лица, блестящие от пота и жира, выступившего на них, как-то странно растянулись. Глаза закрылись, лишь зияли широкие красные рты-пасти с желтыми огромными зубами, оскаленными из-под щетинистых усов.

Только Яхрем Рябченко не хохотал, а ехидно улыбался. Все время он сидел молча, поглаживая свои аккуратно закрученные темные усы и чисто выбритый подбородок да поблескивая пронзливыми глазами. Когда хохот немного утих, он произнес:

— В морду... Дай ему сегодня в морду, а завтра он снова полезет к вам. Точно свинья: ты ее бьешь, а она визжит и все-таки лезет сквозь тын в огород.

— А ты все же дай в морду, чтоб больно было, она и повернет обратно! — сказал Манойло.

— А отойдешь — она снова там!

— Пу, так что же делать?

— А что свиньям делают, чтобы они в огород не лезли? — спросил Рябченко.

— Да что же? Колодку привязывают...

— Ну?

— Что — ну?

— А то, что мы привяжем им колодку! — сказал Рябченко.

— Вот так здорово! — произнес Остап. — А как же?

— А вы хотели бы? — лукаво спросил Рябченко.

— Конечно!.. Чего только человеку не захочется!.. — заговорили все. — Если бы!.. Но как?

— Да очо и дело не мудреное, — спокойно и не спеша начал Рябченко. — Вы, Денис Филиппович, и вы, Маноило Гаврилович, арендуете комаровскую землю?

— Арендуем.

— А у вас, Григорий Павлович, возле комаровской тоже есть земелька?

— Есть.

— А я арендую рядом с вашей — у глушковского помещика.

— Верно!

— А с другой стороны комаровской земли находятся переселенческие наделы, которые Денис Филиппович хочет купить?

— Конечно!

— А за ними земля Вавилова, Ивана Ивановича?

— Да! Да!

— А между ней и глушковской землей лежит земля помещика Горянского?

— И это правда.

— Ну а где же общинная земля теперь? А? — спрашивает Рябченко.

— Общинная?.. Общинная... Где же? В середине...

— Ну? — спросил Рябченко.

— Ну и что же? — не понимали слушатели.

— Эва! А еще и люди умные! — засмеялся Рябченко. — А то, что все эти земли со всех сторон окружили общинную. Она среди них — как остров на реке. Возьмем в аренду землю Горянского да пригласим себе в кумпанию Вавилова, — тогда дыблянам без нас не обойтись.

Все утихли, пораженные необычной, удивительной мыслью. Утихли, стараясь осознать, хорошо ли они поняли суть дела, не ошиблись ли. И потом вдруг заговорили бойко, весело, радостно.

— Да это же здорово! Вот придумал так придумал! Правда, земли у Горянского много — две тысячи с половиной десятин, — по сообщу взять можно. Тогда общинная земля окажется в таком кольце, что мужикам выхода никакого не будет. Куда ни ступи — вокруг наша земля. И как мы захотим, так и будет: свои цены установим на аренду земли, за пастбища для скотины, за работу и за все. Где тогда мужики будут арендовать землю, как не у нас? У голытьбы другого выхода не будет. Тогда они уже не посмеют горланить на сходе. Община сделает то, чего мы захотим. Зажиточные станут господами. Ого-го! Повластвовали господа помещики, теперь надо и нам, господам хозяевам, повластвовать!

— Хитро придумано! — весело произнес Копаница. — Подумайте только — одними отработками можно так прижать мужиков, что настоящую паншину отбывать будут! Ну и голова у тебя, Яхрем Семенович! Дай поцелую я тебя!

Копаница взял левой рукой Рябченка за шею, наклонил к себе и стал целовать толстыми, масляными губами.

— Голова! Голова! — закричали все и полезли целоваться сначала с Рябченком, а потом и друг с другом. Они сгрудились, мусоля друг друга засаленными усами и бородами, их красные лица дышали пьяным перегаром, которым пропахла вся светлица.

— Стоящая голова! — закричал кум Терешко. — Цены ей нет!

Постепенно все успокоились, сели и стали обсуждать, как быть дальше. Их здесь семь человек. Вавилов будет восьмым. Но присоединится ли он? Это человек чужой, пришлый издалека, москаль. Был когда-то объездчиком у одного помещика, потом приказчиком, затем управляющим, а потом уже и сам себе земельку приобрел. Он равнодушно относился к делам дыблян. А впрочем, если рассудить, то и не совсем равнодушно, потому что крестьяне этого села арендуют у него землю... Судили так и этак: наверное, присоединится к ним.

Восемь человек — это уже компания. Они сложатся и за эти деньги возьмут в аренду горянскую землю. Кто сколько вложит денег, столько и получит земли. Можно хозяйничать и сообщу, хотя лучше каждому в отдельно-

стп. А советовать обо всем сообща и сообща, как на сходе, дела решать... Да не только об этой земле, но и о другом: по какой цене сдавать в аренду десятину, по сколько платить батракам и косарям, какие брать проценты. Прежде чем решать дела на сходе, необходимо советовать со своими компаньонами...

Обо всем этом говорил им Рябченко.

— Тогда нас никто не одолеет... Одно только... Хотя мы и хорошо рассуждаем, но все-таки есть одна заковыка.

— А какая же? Говори!

— Есть один человек, который может нам большой урон нанести.

— Ты смотри! А кто же это? А ну-ка говори! — забеспокоились все.

— Да кто же? Дениса Филипповича брат, Зинько.

— Хи! Что он может сделать?

— Начнет мутить людей в общине, мудрствовать, — и беды не оберешься.

— Да он теперь уже притих, — отозвался Сучок, — после того как женился. Верно я говорю, Остап Дорофеевич?

Остап покачал своей красивой головой.

— Ох, нет! Когда я выдавал замуж за него свою дочь, думал — будет хозяином, может быть, и к своему делу привлеку его. Да где там!..

— Чуждается? — спросил Копаница.

— Нет. Он пас со старухой не чуждается: и в гости с дочерью приходит, и у себя принимает, а чтобы в каком-то деле принимать вместе со мной участие — ни в какую! «Я, говорит, не хочу, чтобы люди из-за наших барышей по миру ходили. И вам, говорит, батя, советую не связываться с богачами, а жить по-божески».

— Ишь продова душа! — возмутился Терешко. — Богачи стали ему на пути!

— Ну, — сказал Рябченко, — а я все-таки думаю, что нам без него не обойтись. Потому что может навредить нам в общине. Помните, как было с делом Стецка? Из-за него же, Зинька, все пошло насмарку.

— Так что же нам с ним делать? — спросил Денис.

— Принять его в пашу кумпанию, — ответил Рябченко.

— Вот так здорово!  
— Иного ничего не придумаеть.  
— Да у него ведь денег нет.  
— Можно ему сообща одолжить, лишь бы рот заткнуть.

— А если не захочет? — спросил Манойло. — Ведь он, знаешь, какой упрямый?

— Нужно сделать так, чтобы захотел, — настаивал на своем Рябченко.

— Ну а как же ты сделаешь? — не понимал Копаница.

— Надо, чтобы в этом деле он хорошую выгоду имел, — ответил Рябченко.

— Но уж больше, чем остальные, не получит!..

— Если ему покажется мало, надо и больше дать.

— Почему же так? — недовольно спросил Денис. — И деньги ему одолжи, и прибыль его со своего заработка увеличивай! Это уж совсем несправедливо.

— Что ж поделаешь, — спокойно ответил Рябченко, — коль этого дело требует? Да оно и не так страшно, как кажется. Если потребуется, то мы ему дадим большую часть прибыли, лишь бы он не поднимал скандала на сходе о переселенческих паделах... Этим мы его от общины оторвем. Потому что он только тем и силен, что с ними, с такой же голытьбой, как и сам, заодно. А если он хоть раз изменит им, то они уж его ни за что не примут к себе, и тогда ему поневоле придется остаться с нами, хотя и с небольшими доходами.

— О, тогда мы его прижмем!

— Конечно!.. А если он от них отколетя, то они одни долго не удержатся.

— Ведь он у них голова, старшина!.. — захохотал Копаница. — Что правда, то правда, — нам нужно сбить с него спесь. Ведь что он? Блоха. Да ведь и блоха, коль начнет кусаться, спать не даст. Пускай Остап Дорофеевич поговорит с ним, — ему это удобнее.

— Что ж, поговорю, — согласился Остап. — Только вы мне скажите, о чем с ним говорить.

Стали рассуждать, какими доходами можно лучше всего прельстить Зинька. Велели Остапу торговаться, вначале предлагать меньше. А Денис просто сказал, что слишком много ему предлагают.

— Ничего, лишь бы поймать его!

- А потом мы ему — шею свернем!
- Чтобы не брыкался!
- А если на рожон полезет — в морду!..
- В морду! В морду!..

И снова все захохотали, — так им по душе пришлась эта шутка. Смеялись от души, их огромные желтые зубы блестели из-под щетинистых, испачканных жиром усов и бород.

## II ЗИНЬКО

Зинько Сивашенко шел по полю. Шел не спеша, — ведь было воскресенье, а, потрудившись всю неделю, он любил отдохнуть. И впрямь отдыхал, медленно идя, наслаждаясь ярким, солнечным весенним днем, не жарким, так как легкий ветерок развевал духоту. Кончалась весна; была та пора, когда хлеба и травы поднимаются вверх и, освещенные лучами солнца, блестят своими свежими, зелеными, молодыми, сочными всходами.

Зинько остановился в восхищении. Перед ним широко простирались поля с зелеными буйными хлебами. Ветер разгуливал по ним, ударял их своими мягкими невидимыми крыльями, обдавал животворным дыханием. Он забавлялся, он обнимал их, а они, веселые, радостные, полные молодых сил, молодой жизни, извивались в его объятиях, перекатывались быстрыми яркими темно-зелеными волнами.

Волновалось, бурлило зеленое море. Убегали волны от ветра. Катились, катились без усталости, всё двигались туда, в далекую даль, где небо склонялось к земле. Волны подкатывались к небосклону, обдавали и целовали его. И небо улыбалось широкой, бесконечной голубой улыбкой, усеивая это зеленое море золотым солнечным дождем, наполняя его жизнью и силой.

А ветер, веселый и сильный, разгуливал между лазурным небом и зеленым морем, кружился и купался в просторе, широко и свободно врываясь в грудь Зиньки; тело его крепкое как сталь наполнялось этой силой, трепетало от одного неудержимого желания броситься куда-то и совершить что-то большое, могучее и очень хорошее, хорошее!.. Зинько и сам не заметил, как это стремление

к движению, к действию вырвалось из его груди громким возгласом: «Э-э-эй!» — и далеко разнеслось по полю.

Зиньку показалось, что голос его полетел туда, к краю зеленого моря, ударился о берег голубого неба — и небо улыбнулось ему, Зиньку, так же, как и зеленому морю, оврагам и буеракам, видневшимся вдаль, птицам, парившим в воздухе, и этим мотылькам, что размахивали своими цветистыми крылышками над зелеными волнами.

Ах, как хорошо жить на свете, и легко, и весело!.. И как хочется жить! Жить и работать, творить что-то прекрасное — такое, как вот эти чудесные поля! Он тоже обрабатывает их, здесь есть и его труд, — вот он видит, как вдаль волнуется и его поле, орошенное его потом... Оно волнуется не меньше, чем другие, нет — еще больше!..

Ах, как хорошо, радостно, легко! И небо улыбается, и поле улыбается, и счастье улыбается! Почему говорят, что нет на свете счастья? На свете много, много счастья! Нужно только его добыть. Все надо добывать, ничто само по себе к тебе не придет. Так и счастье.

Все надо добывать самому. Он задумался над этим. Сейчас ли он только подумал об этом или и раньше знал? Конечно знал, только, может, не думал об этом так... глубоко...

Все нужно добывать собственным трудом. Коль добудешь — тогда ты счастлив, не добудешь — зачахнешь или погибнешь.

Зинько задумался над тем, всегда ли он сам поступал так. Вспомнил свою прошлую жизнь, каждое событие в ней. Начал с ближайших, которые произошли сегодня, вчера, и уходил все дальше, дальше, погружаясь в море прошлой жизни — то ярких, то туманных воспоминаний. И понемногу забывал, о чем начинал думать, воспоминания полностью овладели им, и прошлое предстало перед ним как живое.

Он почувствовал в душе боль, вспомнив о том, о чем никогда не мог спокойно вспоминать, хотя и прошло с тех пор много лет.

Его брат Роман, не желая честно трудиться, разорял вместе со своими друзьями-конокрадами родное село, воровал у мужиков лошадей. Наконец он поджег овин

соседа Струка, надеясь, что крестьяне побегут гасить пожар, а его товарищи-конокрады тем временем свободно уведут лошадей. Его поймали, пытали на огне, требуя, чтобы он выдал своих друзей. Однако он никого не выдал — выдержал, долго болел после пыток, а потом его судили и сослали в Сибирь. Осудили и тех, кто его мучил, посадили в тюрьму... Все это уже давно прошло, но и до сих пор стоит перед Зиньком как живое: и этот охваченный пламенем, истерзанный брат Роман, и брат Денис, что помог поймать его, равнодушно смотрящий, как того пытаются.

...Ах, этот Денис!..

Если бы он не гнался за богатством, не ссорился с Романом, мирно уговорил бы его взяться за работу, может быть, ничего и не было бы. А то ненасытная жадность: все хотел захватить себе, — вот и начал выживать Романа, чтобы себе получить побольше наследства... Он так ненавидел Романа, что, если бы мог, — в ложке воды утопил бы!.. И все же утопил...

Боже! Какое горе обрушилось тогда на их семью! Отец, глубоко переживая этот позор, стыд, тяжело заболел и, пролежав год в постели, умер... Мать до сих пор слезы льет.

После того что произошло, отец уже не мог видеть Дениса и выгнал его, не дал, а бросил, как собаке, его часть — все, чего тот желал. С той поры не хотел и слышать ничего о нем. Так и умер. Остался Зинько хозяйничать вдвоем с матерью. Трудились они так около двух лет; мать все жаловалась, что стара уже, не может одна хозяйничать... И хотя Зинько и нанимал батрачку, но батрачка — не хозяйка. Пришлось Зиньку жениться.

А он не собирался жениться. Потому что не находил себе пары. С той поры как стал он подумывать о женитьбе, только одна девушка прилась ему по сердцу — это была бедная сирота, незаконнорожденная, наймишка Левантина — тихая, боязливая, нежная и красивая. Ее обманул брат Роман, бросив с ребенком... Зинько хотел жениться на ней, но Левантина, похоронив младенца, убежала от него... Вскоре умерла она от тяжелого недуга, а Зинько долгое время не знал об этом... Он даже не знает, где ее могила. Но память о ней жила в его сердце, и о женитьбе он не думал.

Время шло, боль утихла... Зинько женился; и теперь

его старая мать может отдохнуть. И Зиньку хорошо. Было бы еще лучше, если бы не эти думы!..

Думы одолевали Зиньку, не давали ему покоя, сжимали сердце, разрывали на части голову. И не мог он с ними справиться, хотя все они вертелись вокруг одного. Как в той песне поется:

Нема в світі правди, правди не зіскати;  
Бо тепер неправда стала правдувати.

Вот это верно: стала *неправда* верх брать, потому что кривду принимают за правду. Зинько присматривался к крестьянской жизни и видел, что так оно и есть.

В семьях не было согласия. Дети спорили с родителями и уходили от них с пустыми руками. Каждый стремился избавиться от свитки, надеть господское пальто. Думали не о том, чтобы стать хозяевами, а о том, чтобы не быть простыми людьми. Шли на заработки в город, а возвращались часто развратниками, лентяями. Братья между собой грызлись — больше всего из-за наследства, — точно собаки за кость. Были и тихие семьи, где все жили в согласии, но их было немного.

Что-то нехорошее творилось и в общине. Там верховодили Копаница, Деннис, Рябченко, да и другие такие же притеснители, заботившиеся не о счастье людей, а только о своих доходах. Что было выгодно им — за то и голосовали, дрались, вырывали из рук, не задумываясь совсем над тем, что многие, может быть, из-за этого слезы льют. Но все же таких богачей было немного, и если бы они были одни, то, очевидно, ничего не могли бы сделать с общиной, потому что община — большой человек. Но, к несчастью, сами мужики помогали им. Одни поддерживали их потому, что были им должны и не хотели из-за этого портить отношения, другие же стремились тоже подняться вверх, стать зажиточнее, поддерживали богачей, надеясь, что те помогут им скорее возвыситься над другими гражданами; третьих богачи покупали за водку, — и таких было чуть ли не большинство. Но была и небольшая группа крестьян, которые держались обособленно. Одни из них не знали, как отстаять свои права, другие были уж слишком маломощны, чтобы иметь какой-то вес. Поэтому во время сходки много кричали, шумели, спорили, но всегда побеждали богачи со своими сторонниками и подхалимами. И чем дальше, тем

их сила росла все больше и больше. Народу родилось столько, что уже не хватало той земли, которая была в общине, а богачи стремились прибрать к своим рукам и ту, что осталась у обедневших крестьян, забирали ее за долги. С течением времени каждый из них становился все зажиточнее и зажиточнее, и Зиньку казалось, что может наступить такая пора, когда они захватят всю общественную землю и крестьянам придется работать на них.

Такой порядок казался Зиньку плохим. Разве нельзя создать лучший порядок? Но как?

Зинько не знал этого. Однако он был уверен, что об этом можно узнать и что где-то кто-нибудь да знает. Где и кто? Может быть, знают господа знатные генералы? Может быть, ученые люди? Может быть, где-нибудь в книгах написано? Ведь в книгах обо всем сказано: и как в бога верить и по закону жить, как и почему все произошло на земле! Почему же там не должно быть написано, как улучшить жизнь на селе?

К господам, к знатым вельможам Зиньку трудно добраться, хотя они, наверное, и знают о том, что его интересует. Об ученых людях — не о господах, а о настоящих ученых — Зинько только слышал, но никогда ни одного из них не видел, не знал, какие они и где их искать. Остаются только книги. Много об этом думал Зинько. Еще с детства он рос не таким, как все: он был тихим, задумчивым мальчиком. Скромный и прилежный, он поступал всегда так, как ему велели, только слишком забывчив был. Вот пасет телят и присматривает за ними, чтобы не заскочили на чужое поле... А вокруг трава зеленая, небо широкое, птицы летают... Как они летают? Почему они летают? А если бы человек себе крылья пристроил, тоже полетел бы? Наверное, нет, потому что если бы можно было, то уже давно все люди приделали бы себе крылья и летали бы, — это лучше, чем ходить или ездить. А почему птицы могут? Ведь люди умнее птиц, — наверное, когда-нибудь придумают такое, что и летать будут. Вот хорошо было бы! Можно было бы полететь прямо на небо и посмотреть, что там есть... да на ангелов и бога поглядеть. Э-ге-ге! Теперь он знает, что люди не могут летать: ведь если бы могли, то каждый грешный человек вместо ада полетел бы в рай, да и надоедал бы богу. Поэтому бог так и сделал, хотя это

и несправедливо,— ведь и среди птиц не все праведные, а есть и грешные. Вон аист — каждую птицу раздирает. А может быть, ему бог велел птиц есть? Ведь людям можно есть овец, коров, кур... Как странно устроено в мире — друг друга едят: овца ест траву, а человек и волк — овцу; птица ест насекомых, аист и человек едят птиц, рыба ест червяков, а человек — рыбу... Странно!.. Человек все ест, только его никто не ест! Разве никто? А волк и медведь, когда поймают человека, могут и съесть, если тот не убьет их. Вот как: друг друга едят, друг друга едят... а это плохо,— ведь больно, когда режут или убивают. Почему бы не устроить в мире все таким образом, чтобы никто никого не ел, а ели или хлеб, или фрукты, или овощи, или траву... Ха-ха-ха! Тогда бы люди паслись, как телята...

— Ой-ой-ой, а где же это телята?

Посмотрел, а они давно уже на пашне. Бежит Зинько заворачивать их... Не дай бог увидит сторож или хозяин, отлупят его... Бывало, поймают теленка, и тогда отцу Зинька приходилось платить за потраву... Отец кричал на него, а Деннис даже нещадно бил за это...

А когда Зинько вырос, стал взрослым, ему захотелось научиться писать. Школы у них тогда еще не было, и он из своего заработка платил дьячку, пока тот научил его кое-как грамоте. Писать он и сам понемногу выучился: купил в городе прописи, да и научился писать... Пишет медленно, но все же пишет. Читает лучше. Он уже много книг перечитал. Больше всего ему понравилось из священных книг евангелие. Очень трудно ее понять, а книга и в самом деле святая, потому что в ней написано, как справедливо жить и людей не обижать. А из несвященных книг больше всего ему понравились две. Однажды был он в городе на базаре и купил там две старые, потрепанные книги. Одна, поменьше, называлась «Роберт Оуэн». Трудно было осмыслить ее,— Зинько и теперь не все еще в ней разобрал. Но одно он хорошо усвоил: есть такая страна Англия, и в ней рабочему человеку на фабриках и заводах живется очень плохо; так вот и нашелся такой человек, Роберт Оуэн,— он и заботится о том, чтобы людям лучше жилось, и добивается этого не щадя своих сил. И Роберт Оуэн казался Зиньку таким хорошим человеком — чуть ли не святым: подумать только — богатый помещик, мог бы вкусно есть и пить, хорошо оде-

ваться, ни о чем не думать, а он стал о бедных людях заботиться! Совсем как святой! В книге был портрет Оуэна. Зинько вырвал его оттуда, вставил в рамку под стеклом и повесил на стене. Смотрел на него и думал:

«Вот видишь, нашелся такой человек, который заступился за бедных. Почему же у нас нет такого, который заботился бы о наших землепашцах и создал бы у нас лучшие порядки?»

Вторая книга была очень понятна, даже слишком понятна Зиньку, как ни одна в мире; каждое ее слово Зинько понимал, осмысливал и чувствовал, потому что оно близко было его сердцу, затрагивало душу. Называлась эта книга «Кобзарь», Тараса Шевченка, и когда Зинько ее читал, ему казалось, что родного отца он слушал или песню, которую напевала ему любимая девушка, и он наслаждался ею. Так хорошо! И написана она о таких простых вещах и простых людях, — а хорошо! Поэтому она и нравилась Зиньку. В ней как о простых людях, так и о великих господах очень понятно говорится.

И Зинько думал: «Большая душа была у человека, написавшего эту книгу, ибо он доказал, что и мы люди, да и рассказывает о нас как о людях».

И Зинько вырвал из книги портрет Тараса Шевченка и повесил его, в рамке под стеклом, на стене, рядом с портретом Оуэна. Глядя на него, каждый раз вспоминал его родные, такие искренние слова (он многое помнил наизусть); а когда вспомнит такие вот, как эти, строки:

Обніміте ж, брати мої,  
Найменьшого брата,—  
Нехай мати усміхнеться,  
Заплакана мати! —

то у него даже слезы появляются на глазах, дух захватывает. И он читал:

Учітесь.  
читайте.  
І чужому научайтесь  
І свого не цурайтесь.  
Бо хто матір забуває,  
Того бог карає.

Вначале он не понимал, почему здесь вспоминается мать, а потом, несколько раз перечитав «Кобзарь», чуть

ли не выучив его на память, размышляя о нем часто,— все-таки понял...

И тогда он дал себе слово, что всегда будет уважать свой дом, не станет чуждаться своих людей и будет учиться.

Учиться! О, к этому стремилась вся его душа, к этому стремилось все его существо! Учиться, чтобы знать, как и что происходит в мире. Учиться, чтобы знать, как избежать беды, как сделать, чтобы не кривда, а правда восторжествовала! Он был уверен, что при помощи знаний можно достичь этого, ведь неспроста же тот, кто написал «Кобзарь», любил так сильно правду и бедных людей и призывал всех учиться. Шевченко знал, зачем так писал, и Зинько хочет слушать Кобзаря, следовать его совету, учиться.

Но как? Где? У кого?

В школу уже поздно было идти в таком возрасте. Поэтому пошел к учителю и попросил, чтобы тот взялся учить его одного, а он ему за это будет платить.

— Чему же тебя учить? — спросил учитель.

— Всем наукам, какие существуют на свете! — ответил Зинько.

Учитель свистнул, а потом захохотал.

— Глупый ты!

— Да я знаю, что глупый,— потому и пришел, чтобы вы меня уму-разуму научили.

— Разве можно все науки изучить?

И стал перечислять, какие есть науки: и такая, и этакая, и вон какая... даже страшно Зиньку стало...

Однако учитель все же согласился кое-чему обучить Зинька. И в самом деле, в течение года он научил его немножко арифметике, изучил разбираться и в прочитанных книгах... Вскоре Зинько увидел, что учитель и сам ненамного больше его знает... Да и в книги редко заглядывает, а все больше играет в карты или в гостях водочку попивает. А то ходит с собакой диких уток стрелять... Еще больше он не нравился Зиньку тем, что каждого крестьянина, даже старого и почтенного, называет на «ты» и старается подчеркнуть тем самым, что он — барин... Перестал Зинько ходить к нему. Решил сам учиться.

Купил учебник по арифметике, принялся изучать его; купил и учебник географии, потому что хотел знать о разных странах на земле... Покупал еще много разных книг.

Деньги, которые он мог бы потратить на одежду или на что-нибудь другое, тратил на книги. Покупал их на рынке у щетинников и в небольшом книжном магазине в городе. Покупал, не зная, что это за книги, а так — какая понравится по заглавию. Покупал и читал много, а затем бросил читать. Чаще всего ему попадались неудачные, а порой и скучные книги. Зинько не находил среди книжной старины того, чего искала его умная, стремившаяся к свету голова. Лучше «Кобзаря» и «Роберта Оуэна» он не нашел книг, хотя и не потерял надежды когда-нибудь найти то, что ему необходимо. Он понимал, что есть хорошие книги, но не знал, как отыскать и где купить их. Понял, что должен обязательно посоветоваться с каким-нибудь образованным человеком.

Где же этот человек? Где его искать?

Там, где жил Зинько, его не было. Учитель сам не очень-то интересовался книгами; священник не любил разговаривать с крестьянами ни о чем другом, кроме церковных дел; помещик Глушковский (живший вблизи) только и знал, что гонялся с гончими за зайцами, — поэтому Зинько и не надеялся услышать от него что-либо путевое... да и не смел к незнакомому идти.

«Разве пойти в город?» — думал порой он, но тотчас отбрасывал эту мысль: во-первых, он почему-то недолюбливал город после несчастного случая с Романом и Левантиной, а во-вторых, — к кому же он мог пойти? Все там незнакомые ему люди, разве они захотят разговаривать с ним. И остался Зинько один со своими думами...

Хотя и не совсем один. У него были товарищи, с которыми он мог разговаривать о том, что волновало его ум и сердце. Больше всего он дружил с Карпом и Васютой.

### III

#### НА ПАСЕКЕ

Становилось душно, — солнце давно уже повернуло с юга. Зинько весь вспотел, — знойный, словно дувший из раскаленной печи ветер не охлаждал его.

Невдалеке, посреди поля, Зинько увидел небольшую дубраву. Там, должно быть, прохладно, хорошо, — хотя бы быстрее дойти туда.

Он сбросил чумарку, чтобы было не так жарко,

и остался в одной красиво вышитой сорочке из тонкого полотна. Открытый воротник слегка охватывал его загоревшую шею. Загорело у него и лицо, немного худое, но молодое и привлекательное; темные волосы на голове не могли скрыть его высокого лба, хотя и были они зачесаны наперед. Из-под черных ровных бровей (о которых мечтают девушки) светились умные лучистые глаза. Он всматривался этими глазами в близкую уже дубраву; не увидит ли там кого, кто ему нужен. Но там никого не было. Ускорил шаг и вскоре подошел к дубраве.

Небольшая тропинка извивалась между деревьев.

Зинько пошел по ней, и его тут же обдало такой удивительной, приятной прохладой. Он глубоко и легко вздохнул, замедлил шаги, наслаждаясь этой животворной прохладой. Не спеша пошел по мягкой дорожке. Вскоре деревьев стало меньше, и перед Зиньком показалась лужайка, вся залитая лучами солнца.

Это была пасека. Около трех десятков ульев, крытых черепицей и корой, стояли посреди дубравы. Золотистые пчелы жужжали в золотых солнечных лучах, теснились у летков ульев, весело гудели. Слева стоял небольшой шалаш; возле него, ближе к Зиньку, в тени огромной развесистой груши, сидели двое. Прямо перед Зиньком — совсем белый старик. Он низко опустил свое изрытое глубокими морщинами лицо с копной снежных волос на голове. Большая длинная борода спала на грубую белую сорочку, на которой она белела, как снег. Сухощавый старик был плечист, с крепкими жилистыми руками. Спокойно положив руки на колени, он неторопливо рассказывал ровным, спокойным голосом, изредка слегка кивая головой, и тогда Зинько видел, как из-под его белых кустистых бровей блестели черные, удивительно молодые глаза.

Его внимательно слушала, устремив на него свои темные мечтательные глазенки, девушка, сидевшая рядом с ним. Нет, не девушка, потому что у нее на голове был маленький праздничный чепец, — только казалась она девушкой — такое было у нее молодое лицо, чуть ли не как у ребенка. Она сидела к Зиньку боком, прямо на земле, поджав под себя ноги. Зинько отчетливо видел ее высокий, такой же, как и у старика, лоб, словно нарисованные черные брови и маленький, чуть-чуть с горбинкой, носик, красные губки и нежный подбородок.

Немного загоревшее ее лицо так и пышет румянцем. Возле ушей и на шее завитки непокорных русых волос, выбившихся из-под чепца. Тонкая шея, казалось, сгибалась под тяжестью цветистых бус и дукачей; блестящими волнами падали они на высокую грудь, на белую тонкую сорочку с чудесной вышивкой. Ее тонкий стан стягивал красный плетеный пояс, а колени обнимала цветная старинная плахта<sup>1</sup> с зелеными, красными, синими и желтыми клетками. Молодица внимательно слушала рассказы старика, положив свои маленькие ручки на колени. В сравнении с могучей фигурой человека, усеянного снегом старческой зимы, его маленькая слушательница казалась ярким, нежным весенним цветком.

О, как Зинько любил ее, эту розу! Любил и сейчас любит так, как и тогда, когда впервые встретил, впервые посмотрел на нее, да и полюбил с первого взгляда и навеки. Уже прошло почти полтора года; но Зиньку кажется, что он видит ее такой, как и во время их первой встречи.

До той поры он не замечал ее. Видел раз или два, но давно, когда она была еще маленькой девочкой. Жили они далеко от Сивашей, в противоположном конце села. Зинько и у себя не очень любил ходить гулять на улицу, а на чужую сторону — и подавно. А когда бывал в церкви, как-то не обращал на нее внимания. Однажды отец послал его в поле, на пасеку деда Дороша Колодия, спросить, не продаст ли тот пару ульев. Зинько пришел вот на эту пасеку, но никого там не застал. Стал оглядываться, нет ли поблизости старика, — и вдруг увидел очаровательную девушку. Именно в этом же наряде, что и сегодня, только без чепца, с венком на голове и с длинной пышной косой. Она стояла на краю лужайки, собираясь выйти из дубравы на пасеку. Разведя руками кусты, остановилась, встретив неожиданного гостя, и молча смотрела на него. Ему казалось, что перед ним стояла лесная царевна — такая, о которой рассказывается в сказках: красивая, как роза, легкая и пугливая, как пташка. Он с ней еще и словом не обмолвился, только посмотрел ей в глаза — и сразу же почувствовал, что полюбил ее, что она для него дороже всех людей на свете... И они стояли друг против друга, молча,

---

<sup>1</sup> Плахта — род юбки.

словно заколдованные, охваченные единым могучим чувством.

Только тогда понял он, что никого и никогда не любил, что к Левантине относился, как к несчастной и любимой сестре... Теперь он снова стоит на той же пасеке и перед ним — старик Дорош и она, Гаинка, — его любимая, его жена, его счастье, — сидит и слушает.

Старик рассказывает, слегка покачивая головой:

— А в лесу живет Полесун, — бог волков. Бродит он с большой дубиной по лесу и гонит их. Где война, вот он и гонит туда их на пропитание... Он такой, как человек, только огромный, будто дерево... И тени от него нету: от всего падает тень, а от него — нет...

В поле живет Полевой — это нечистая сила... В камышах на берегу реки — Камышаннк. Выскакивает он, как белый баран, из камыша и пугает людей... В воде живет Водяной, — этот зеленой водяной крапивой опутан; людям пакостит, плотины рвет... А в болоте живет Болотяник — такой грязный и испачканный... ночью затягивает в болото человека... Точно огонек горит посреди болота, и человек думает, что там люди, и идет туда, а он все дальше и дальше уходит... — до тех пор, пока заведет в такую трясицу, что и завязнет бедный человек... А в скале живет Змий — это тоже нечистая сила. Семь лет живет как гадина, потом семь лет — полозом (это такая огромная и страшная змея), затем семь лет живет словно змий с крыльями, такими огромными, как у ветряка... И только чуть взмахнет крыльями — поднимается буря, начнет кружиться по шляху; и если встретит человека, то завоет, подхватит его — да бросит и тут же искалечит. А если сильно взмахнет крыльями и вылетит из скал, то завоет, как буря, — даже деревья валятся и хаты рушатся...

— Ах, страшно!.. Боже!..

— И в тучах есть нечистый, — собирает маленькие тучки и сводит их вместе в огромную тучу. А когда у нечистой силы наступает свадьба, она видимо-невидимо насобирает снега и начнет сыпать и крутить им так, что настоящая метель поднимается.

— Вишь, почему так бывает! А я и не знала!..

— Нечистый еще летает в образе змия-перелесника. Если увидишь на дороге ленту или поясок — никогда не бери. Одна женщина нашла, да и спрятала в скрыне, а это был змий-перелесник: вылез он ночью из скрыни —

и к ней... С той поры стал он летать к ней и жить как муж с женой. Она высохла, подурнела от этого... и умерла... А ежели кто закопает клад, то бережет его Казначей: он никого не подпустит к тому богатству... А в доме живет домово́й...

— Что людей во время сна душит?

— Да, душит, когда злится... А чтобы не злился, надо оставлять для него кипяток, — пускай пьет... А то, если он рассердится, то и сжечь может...

— О господи! — даже руками всплеснула Гаинка. — И всюду, где ни ступнешь, нечистая сила: и в воде, и в земле, и в лесу, и в камыше, и в бузине, и в развалинах, и в скалах, и в тучах — всюду! всюду! всюду! И все для того, чтобы вредить людям! И зачем бог создал их? Ведь от них нет никакой пользы, только один вред!

— Нет... немножко есть... Каждый день, когда всходит солнце, так они, черти, выкатывают его. А оно, говорят, и сжигает их!.. Каждый день тысячи там работают, но мало кто в живых остается.

— А откуда же они берутся?

— Те, что остаются живыми, купаются и, купаясь, разбрызгивают вокруг себя воду до тех пор, пока появится тысяча капель, — и с каждой капли сразу зарождается аспид.

— Боже! Так это каждый день рождается их по целой тысяче! Да вскоре из-за них и по земле ходить нельзя будет!

— А ты думала как? Да разве только эти? А еще Мана, которая манит людей, чтобы они заблудились, и Мара, которая одурманивает людей, и Мания, которая раздражает их. Моровая язва — такая, как корова или конь, но у нее только одни кости, без шкуры... Как только пройдет она по селу ночью — коровы страшно ревут, а собаки молчат — боятся; и обойдет все село, и где ни остановится, там скотина и гибнет, и гибнет...

— Ох, как страшно!.. Это еще страшнее русалки, дедушка... Я страх как боюсь, чтобы меня русалки не зашекотали.

— Так этим русалки занимаются во время своей пасхи.

— А мавки?

— Да и мавки тоже... и русалки, и мавки — все это нехрещенные дети... Они живут в полях, в лесах, в воде.

— И всюду такое, что ты его не видишь, а оно живет... Вот диво!

— А почему их не видно? Иногда и люди видят. Придется и тебе когда-нибудь увидеть.

— Ой, нет, нет, нет! Не хочу! Не хочу! Не хочу!.. — И она закрыла лицо одной рукой, а второй стала отмахиваться, словно защищаясь от нечистой силы.— Не хочу, я боюсь!

В этот момент Зинько подошел к ней, обнял за плечи.

— Ой! — воскликнула она не своим голосом, вскочив на ноги, отбежав в сторону и глядя на него из-под руки.— Зинько!.. Какой ты дурной! Так напугал меня! Прочь, прочь, прочь отсюда!.. Зачем сюда пришел?.. Только пугать меня!..

Бросилась к нему и стала отталкивать его от себя. А он одной рукой обнял ее, маленькую, за талию и поднял вверх.

— Уйди!.. Чего ты пристал? Дедушка! Да скажите ему!.. Вот еще выдумал!..

Она вырывалась, отбивалась от него своими маленькими кулаками.

— Ах ты котенок мой! — воскликнул Зинько, хватая другой рукой ее маленькие руки.— Вот и попалась! В плен!..

— В плен!.. Ишь какой!.. Пусти!.. Здоровый, как медведь, и рад... Пусти, а то рассержусь, расплачусь!..— говорила она и впрямь плачущим голосом.

Зинько опустил ее на землю. Она тут же отбежала в сторону и залилась веселым, звонким смехом.

— Обманула! Обманула! А что? А я и не думала плакать и не плакала бы... Ага, обманула!..

И она прыгала от удовольствия, а Зинько и седой старик смотрели на нее нежными, ласковыми глазами, веселые, счастливые. «И откуда появилась эта ясочка?» — прошептал старик. А ясочка выбежала на лужайку, залитую лучами солнца, остановилась посреди нее, окруженная золотистыми пчелами, и казалась золотой. Она раскачивала маленькой красивой головкой, махала рукой Зиньку и говорила:

— А что? Убежала! И не догонишь теперь, не догонишь!.. На пасеке бегать нельзя, дедушка не разрешает! А что?

— Довольно уж! Я не буду гнаться за тобой. Иди и присаживайся с нами!

— Вот еще! А ты опять будешь за руки меня хватать?

— Иди, иди, я не позволю,— говорил дедушка.

— Ну, иди же! — звал Зинько.

— А не будешь трогать меня?

— Да не буду, говорю тебе! Вот я лягу,— сказал Зинько и в самом деле прилег в тени на граве.— Как хорошо здесь отдохнуть от жары!

— Вишь, жарко!.. А почему так долго не шел сюда? — сказала Ганника, садясь рядом с ним.

— Пока управился с хозяйством... то да се...

Она стала прятать непокорные русые волосы, завитки которых выбивались из-под чепца.

— Ох, эти мне волосы!..

Дубрава и пасека принадлежали Колодню, но Зинько и свои ульи летом ставил здесь. А Дорош, дедушка Ганники, сторожил пасеку. Дедушка Дорош был старый, но еще крепкий, все лето жил на пасеке, изредка только навещивался домой. Он не любил бывать дома; все там не нравилось ему. Его сын Остап, отец Ганники, завел там такие порядки, что, как казалось деду, ни к чему хорошему они привести не могли. Вместо того чтобы хозяйничать по-божески, он подружился с Деннисом, с Копаницей, с Рябченком, стал давать под проценты и за отработку деньги, начал притеснять людей... И сам стал жить не так, как прежде: строил из себя какого-то мешанина или черт знает кого... пьянствовать стал... Все это не нравилось дедушке, привыкшему жить по старинке.

— Земля — мать! — говорил он.— Уважай ее, и она озолотит тебя; а твоя коммерция к добру не приведет. Это все от лукавого!.. От нее добра не жди!..

Он давно отписал хозяйство сыну и с тех пор не вмешивался в его дела. Правда, как-то раз старик сказал Остапу, что он не туда гнет, но тот ему тут же отрезал:

— Не ваше дело, батя! Вы свое отработали, а теперь, коль поставили меня хозяином, поступать буду как бог на душу положит.

— Только бы умно да по-божески,— ответил старик и больше уже ничего сыну не говорил. Он сам по натуре был человеком, который, раз начал какое-то дело, не любил, чтобы кто-нибудь мешал ему. Поэтому он и не

вмешивался в дела сына. Правда, он мог совсем отобрать у сына свое хозяйство и сам заниматься им, однако он был стар, к тому же в семье возникли бы ссоры, непонимания, а Дорош этого не хотел и страшился, точно чумы. Умереть хотел по-божески, в покое и в мире со всеми. А вот с нравом сына не мог смириться, временами разозлится да скажет что-нибудь невзначай — и уйдет, чтобы не слышать его ответа. Ему больно было смотреть, как сын не по правде хозяйничает, — и поэтому, как только наступала весна, становилось тепло, вынимал ульи из омшанника и переезжал жить в эту дубраву, в шалаши, и уж редко когда заглядывал домой, потому что сюда ему белую сорочку каждое воскресенье принесут, а есть он и сам себе сварит. Так жил он до осени, когда ульи перевозили в омшанник, — вместе с пчелами возвращался и старик в село.

Сегодня, сразу после обеда, Гаинка побежала из дому к матери, а оттуда — к бабушке на пасеку. Зинько не хотел идти к тестю, а пришел прямо сюда и лежал теперь в тени под деревом, упиваясь свежим, ароматным воздухом. Рядом с ним сидела и щебетала Гаинка, а дед Дорош порой и сам вставлял словечко.

— А батя спрашивал, — сказала Гаинка, — почему ты к ним не пришел... У него к тебе какое-то дело есть... — Спрашивал, будешь ли ты дома? «Нет, говорю, он пойдет к бабушке...»

— А что за дело? — поинтересовался Зинько.

— Разве я знаю? Говорил — дело... Да он придет сюда сегодня, у него и спросишь.

— Хорошо.

— А что, сынок, — спрашивал бабушка Дорош, — какие хлеба?

— Благодарение богу, — неплохие. Думаю, что урожит хорошо.

— Если бог даст!.. А то все неурожай да неурожай... обеднеют люди совсем!.. — жаловался старик.

— Обеднеют, бабушка, если заботиться не будут о том, чтобы лучше хозяйничать. А то леса вырубают, дождей меньше становится и земля пересыхает... Истощилась земля. утратила свою былую силу, а мужики не восстанавливают ее...

— А как же эту силу восстановить? — спросил старик.

Зинько стал рассказывать о том, что он прочитал недавно в книге, но дед и слушать не захотел, только рукой махнул:

— А! Выдумки! В свое время и без ученых какие были урожаи! А нынче потому и недород бывает, что ученых много развелось и не верят нам, старым, все у них — чепуха! Гневается земля, поэтому и не родит! Вот что!..

— Разве земля живая? — спросила Гаинка.

— А ты думаешь — нет? Она все слышит и знает. Она видит все грехи людей и прогибается, когда по ней грешник идет... И глядишь, еще какого и из могилы выбросит мертвого! Когда люди добры к ней, она радуется и помогает им, а когда нет — плачет и гневается.

— Но почему же она гневается? — спросил, улыбаясь, Зинько.

— Потому что ее не уважают! Она — наша мать, она — святая! Ее целовать нужно, низко кланяясь!.. А у нас что делают? Не только глупые дети, но и здоровые верзилы сядут да и давай дубиной ударять по ней. Им забава!.. Вот в старину, бывало, молодница, когда несет обед пахарям, то нарядится, словно на пасху: наденет красивую плахту, на голову намитку<sup>1</sup> длинную, — потому что именно так нужно к земле идти. Вот поэтому она и родила и в поле и на огороде. А теперь идет молодница, прости господи, как та росомаха! В одном чепце, да еще и волосы у нее на голове растрепаны, а вместо плахты — грязная юбка. Да разве так уважают землю? Ну вот она, святая, и сердится.

Гаинка глянула на свои колени и осмотрела плахту; затем потрогала себя за голову; непослушные русые волосы ее выбивались из-под чепца; она быстро схватила платок, лежавший возле нее, и повязала им голову.

— Нет, дедушка, — ответил Зинько, — тут не в этом сила.

— А! — перебил его дед. — Вот я тебя, Зинько, сильно люблю за то, что ты добрый человек и хорошо, по-божески живешь, а вот не нравится мне, когда ты начинаешь всякую всячину из книг плести. Книга — это уже от лукавого.

— И евангелие книга, — сказал Зинько.

---

<sup>1</sup> На м и т к а — головной женский убор.

Дед рассердился.

— Что ты сравниваешь! Это евангелие, а то черт его знает что!.. Вот уж не люблю!..

По дорожке, ведшей с поля, кто-то шел.

— Отец, отец идет! — воскликнула Гаинка.

И впрямь, вскоре на противоположной стороне пасаки появилась высокая, дородная фигура Остапа.

— Здравствуйте, батя, с праздником вас!

— Здравствуй, сынок, и тебя с праздником.

— И ты здесь, Зинько? Здравствуй.

— Здравствуйте, батя.

— А почему ты ко мне с Гаинкой не пришел? У меня к тебе дело есть.

— Гаинка говорила мне. Какое же дело?

— Погоди, малость отдохну.

Он подсел к ним и стал расспрашивать старика Дороша о пасеке. Поговорив с ним, обратился к зятю:

— А пойдем-ка, Зинько, к той ниве, что возле кривой балки, я хочу тебе что-то показать.

— И я с вами, — воскликнула Гаинка.

— Нет, ты не ходи, — велел отец. — Да мы сейчас вернемся.

— Ну, так возвращайтесь скорее!

Тесть и зять ушли с пасеки. Выйдя в поле, они медленно пошли среди высокой ржи. Зинько молчал, ожидая, пока тесть сам заговорит с ним о деле. Когда они отошли немного, тот начал:

— Вот что, Зинько: я хочу поговорить с тобой об одном очень интересном деле.

— Ну что ж, говорите!

— Ты знаешь землю Горянского? Хорошая земля?

— Еще бы!

— А что, если бы нам ее в аренду взять?

— Да что вы? Две с половиной тысячи десятин! Разве это нам под силу?

— Если взяться дружно, под силу будет. Создадим такой кружок — товарищество, возьмем землю, а потом разделим ее на части, сколько кому надо. Ведь тебе тоже нужна земля?

— Да немного нужно бы...

— Вот и хорошо! Вот и порядок! — обрадовался Остап. — Возьмешь сколько захочешь.

— Или на сколько денег хватит...

— О деньгах не беспокойся! — ответил Остап. — Ежели у тебя сейчас их нет, то можно на какое-то время одолжить, добыть... А потом земля их вернет... Денег я уж тебе раздобуду.

— Спасибо вам, батя!

— Так, значит, присоединяешься?

— Почему бы и нет? Коль вся община присоединится, то и я...

— Да нет же! Не община будет брать землю, а товарищество, компания мужиков.

— А не лучше — кабы вся община?.. Кто же в этом товариществе?

Остап чувствовал, что его прижали, однако и вида не подал, а продолжал спокойным голосом:

— Да люди все хорошие, зажиточные — бояться нечего. Разве только задержки с деньгами, когда помещику платить придется.

— Так кто же это?

— Да вот я да ты... Тонконоженко Терешко... сват Манойло Гаврилович... ну, уж тут, понимаешь, не обойдешь и Дениса... хотя ты его и недолюбливаешь, но все-таки он твой брат, надо бы вам и по-родственному...

— А еще кто? — допытывался Зинько.

— Пожалуй, и все..

— Ну, этих мало: не осият.

— Да еще старшина... Да Ефрем Рябченко... Вавилов... вот пока и все... Может быть, еще кого-нибудь придется принять, но это мне неизвестно. Дело прибыльное! Здесь так, что на рубль можно два заработать.

— А почему оно такое прибыльное? — расспрашивал Зинько.

— Вот подумай! Ведь там хорошая земля — это раз. А во-вторых, цену на землю тогда уж мы сами будем устанавливать, какую хотим, потому что вокруг не будет такой, где могли бы наши мужики арендовать... Ну, сколько тебе выделить десятин?

— Нисколько, — спокойно ответил Зинько.

— Как так? — удивился Остап. — А ты же говорил, что присоединишься.

— И присоединюсь, коль вся община будет арендовать землю.

— А почему ты с нами не хочешь?

— Потому что это товарищество богатеет, оно хочет

подчинить себе общину, а я не желаю этого. И вам советую, батя, не присоединяться к таким недобрым людям.

— Что ты учишь меня? Я постарше тебя!

— Это не важно, батя,— лишь бы я дело говорил.

— Ты черт знает что говоришь! Ты лучше брось об этом думать и присоединяйся к нам!

— Нет, этого я сделать не могу.

Остап стал уговаривать Зиньку подсчитать, какая будет прибыль, как тот разбогатеет.

— Зачем вы мне об этом, батя, говорите? Доход-то большой, но он же нечестный.

Остап совсем рассердился. Почему это Зинько все время болтает о своей правде? Не думает ли, что он умнее и святее других? Лучше бы слушался тех, кто постарше!

Зинько не смолчал и ответил, что не все, что старое, то и хорошее. Остап разозлился на зятя, оставил его посреди поля и, не попрощавшись, пошел в село.

Зинько возвратился на пасеку и остался там до вечера. Уже на темно-голубом небе зажглись звездочки, и роса тяжелыми каплями упала на травы, на хлеба, когда Зинько с Гаинкой возвращались с пасеки домой по узенькой тропинке среди высокой ржи.

— Что тебе отец говорил? — спросила Гаинка, прижимаясь к Зиньку.

— Говорил, чтобы я пристал к их товариществу, куда входят отец, Денис, Тонконоженко, Манойло, старшина, Рябченко, Вавилов... и вместе с ними арендовал землю.

— А ты ведь хотел?

— Да с ними я не хотел.

— И не связывайся, милый, с ними. Бог с ними! Потому что Денис, старшина и Рябченко — страшные люди.

Зинько засмеялся.

— Почему же они страшные?

— Я не знаю... Только я почему-то боялась их, когда они бывали у отца и украдкой о чем-то шептались.

— Страшные они, правда, тем, что приносят людям зло,— вздохнул Зинько.

— Хоть бы отец с ними не дружил,— говорила Гаинка.— Люди их всех проклинают, а отец с ними заодно. Может, это и грех, что я так об отце говорю, по... однажды я видела, как к отцу приходила Марчиха... Все

насчет тех денег, которые ее покойный Марк одолжил у отца... Да как упала перед ним на колени, да начала, бедная, плакать и рыдать да целовать отцу ноги, чтобы землю у нее не отбирали... А все-таки взяли... Не помиловали!.. Как вспомню, и сейчас бы вместе с нею плакала!.. Разве об этом не скажешь, хоть и отец он?

— Поэтому я никогда к ним не пристану.

— И не надо... Глянь-ка, глянь-ка, звездочка... яркая, яркая!.. Ах, звездочки, детки солнышка!..

— А кто же у них отец?

— Кто? Месяц. Солнце — красивая барышня — вышло замуж за месяц... Их двенадцать братьев-месяцев, вот они по очереди и светят.

— А солнце-то как? За одного брата или за всех двенадцать вышло замуж? — спросил, улыбаясь, Зинько.

— Ну что ты выдумываешь? Зачем ты смеешься надо мной? Где это видано, чтобы двенадцать мужей было? — недовольным голосом произнесла Гаинка.— Я уж знаю, ты сейчас скажешь, что все это выдумки, что солнце круглое, как арбуз, а звездочки... а звездочки как дыни, не так ли? Ха-ха-ха! Ну где это видано: солнце как арбуз!.. Солнце — словно красивая барышня, звездочки детки... а то вдруг арбуз!.. Совсем некрасиво!.. Ты говоришь — русалок нет, а дедушка говорит, что они есть.

— Ты слыхала, что он сегодня говорил... Все это выдумки.

— Разве дедушка неправду говорит?

— Нет, он ошибается. Ты же знаешь, что он ошибается: ты ведь сама говорила, что ведьм нет.

— Да, Зиня, нет... Только... ну а что, если есть?

— Ну вот, опять ты свое! — недовольным тоном произнес Зинько и стал рассказывать ей о том, что ведьм и нечистую силу люди сами выдумали. Она поняла, что ему неприятны эти разговоры, и покорно слушала его, мысленно убеждая себя, что должна с ним согласиться, потому что Зинько такой умный, все знает, — разве может он говорить неправду! И сердится он на нее за это — изредка, но сердится... Как же она может не слушаться его? Пора бы ей уж и самой разобраться: не маленькая, вот-вот семнадцать стукнет годков... Уже и замуж вышла.

И она тихо, точно маленький ребенок, промолвила:

— Да, Зиня, я не буду больше этому верить...

— И хорошо!.. Вот мы обязательно книгу об этом прочитаем,— сказал Зинько,— а то давно уже ты книг не читала. Зачем же я тебя грамоте учил?

— Ты прав! — горячо ответила Гаинка, обрадовавшись, что переменяла тему разговора.— Я недавно читала «Катерину»... читала и пела ее.

— Как это — пела?

— Да гляжу в книгу и пою.

— А на какой мотив?

— Кто его знает... Какой в голову взбредет... Вот послушай, как я пела!

И она стала петь первые куплеты поэмы Шевченка:

Кохайтесь, чорноброві,  
Та не з москалями,  
Бо москалі — чужі люди,  
Роблять лихо з вами.

Она пела на мотив, который сама придумала, но Зиньку он понравился.

— А что, хорошо?

— Очень даже.

— Неужто?

— Ей-ей, хорошо! Но как ты придумала?

— Разве я придумала? Песня сама льется... Стихотворение такое написано, что прямо хочется петь.

— Ах ты певунья моя!..

Гаинка и впрямь очень любила петь. Но сейчас она покачала головой и ответила:

— Нет, как когда... Вот слышишь — в селе поют.

Они уже подходили к селу, откуда и впрямь доносились пение девушек, и парней.

— Весело им... гуляют!..— промолвила Гаинка.

— Может, и тебя тянет к ним? — спросил Зинька.

— Ой, нет! — ответила, покачав головой.— Когда я с тобой, меня никуда не тянет.

И она прижалась к нему еще ближе.

— Правда? — спросил Зинько.— А вот такие красивые крупные бусы, как у Горпины, хотела бы иметь?

Она не сразу ответила:

— ...Красивые крупные бусы все-таки хотела бы...

IV  
НА УЛИЦЕ

Они вошли в село. Темные вербы и сады дремали у хат, освещенные окна весело улыбались из-под черных стрех и бросали на улицу яркие полосы белесого света. У одной хаты стояли девушки и парни, оттуда доносился веселый говор.

— Зинько, ты? — окликнул его кто-то.

— Я, Васюта, — ответил Зинько.

— А я заходил к тебе, — думал почитаем сегодня. Но тебя не застал.

— На пасеке у дедушки Дороша были.

— Хочу тебе об одном деле рассказать.

— Говори.

— Нет, сейчас не могу. Приходи завтра вечером к Карпу, я там тоже буду, — вот и поговорим.

— Хорошо. До свидания!

Гаинка и Зинько пошли дальше, а Васюта возвратился к своим товарищам. Оттуда доносились хохот и крик: это Микита смешил всех своими шутками. Микита Тонконоженко, сын Денисова кума Терешка, верховодил на улице с той поры, как вернулся из города. После окончания школы отец отвез его в город, где он пробыл пять лет. Микита там и работал — то сторожем, то приказчиком, а потом на чем-то проштрафился: что-то продал украдкой от хозяина, себе деньги прикарманил, а тот узнал и прогнал. Поболтавшись по городу без службы, вернулся к отцу, но дома не стал заниматься крестьянской работой.

— Вот меня хорошее место ждет, а я буду в навозе руки поганить!..

Сам отец потворствовал этому:

— У меня сын образованный!

Отец трудился, а «образованный» сын лежал под грушей, дожидаясь, чтобы прутья сами ему в рот падали. Зато Микита удивлял всех на улице своей одеждой: сапоги «бутылками», брюки узенькие, красная ситцевая рубашка навывпуск синим поясом с кистями подпоясана, а сверху еще и «паджак с искрой», как сам он его называл.

— Какая же в нем искра? — насмешливо спрашивали девушки.

— Да просто пестренький...

Микита был здоровый, румяный, на язык острый — кому хочешь голову заморочит. Среди парней слыл жожаком, — одни уважали в нем «образованность» и то, что часто угощал их водкой, а другие боялись его огромных кулаков. Только Васюта ни во что не ставил его и часто подтрунивал над ним, и за это Микита безмерно ненавидел не только Васюту, но и всех тех, кто с ним дружил.

Упершись руками в бока, Микита стоял в толпе парней, отставив ногу в сторону, ковыряя землю носком сапога, и болтал:

— Ну и баба эта Гаинка! Ну прямо такая, что, вместо сахару, чай бы с ней пил.

— Ха-ха-ха! — захохотали парни.

— Ей-ей, не я буду — отобью ее у этого дурака Зинька.

— Что ты болтаешь! — отозвался один из парней. — Ведь она чужая жена!

— Вот пустяк внимания, нуль обращения! Какое нам до этого дело? Лишь бы мне понравилась — моя будет! Это по-вашему, по-сельскому, так никак нельзя, еще и невозможно, а в городе — го-го-го! Там, брат, каждая барыня иметь любовника, и даже не только барыня, но и горничные и кухарки. Мне один лакей знакомый рассказывал. Дела — первый сорт!

— Так это ты и у нас, что ли, такое завести хочешь? — спросил Васюта.

— А тебе что за дело? Хотя бы и хотел! Что ты мне, перепьянство сделаешь или как?

— Я тебе никакого там перепьянства чинить не буду, но если ты еще хоть раз отзовешься так о Гаинке, то поверь — зубов своих не соберешь! — сердито сказал Васюта.

— Кто — я? Хив-ва! Большая барыня твоя Гаинка! Наплевать на нее! Не таких видали!

— Да и те на вас плевали, — поддел Васюта, начиная уже, по своей привычке, насмехаться над ним.

Парни и девушки захохотали.

— Вот так отрезал! А ну-ка, Микита, а ну-ка и ему отрежь.

Микита, заложив руки в карманы брюк, откинул голову назад и произнес:

— Что мне стоит ответить ему! Кабы я ответил, так он своим носом землю вспахал бы. Да не стоит связываться со всяким!..

— А знаете, хлопцы и дивчата,— не унимался Васюта,— я выучил одну очень интересную новую песенку!

— А ну-ну? Какую? — заговорили все, заинтересовавшись новой песней.

— Послушайте! Я буду петь, а вы хорошенько слушайте, потому что песня городская, значит, хорошая. Эх, черт его подери! — воскликнул он. — Нет у меня в брюках карманов — некуда руки спрятать!.. Да пустяки — хорошо будет и так! Ну, открывайте рты да слушайте. — И он начал напевать:

Закладает руки в брюки,  
Да й говорить, что он пан.  
Присмотрись-ка хорошенько —  
Настоящий шарлатан!

— Ха-ха-ха! — Все захохотали, а Микита даже задрожал.

— Ты будешь меня шарлатаном обзывать?! — закричал он и бросился к Васюте с кулаками.

— Что с тобой? Опомнись! Да он с ума спятил!.. Свят, свят!.. — говорил Васюта, пятясь назад и осеняя крестом Микиту. — Чего ко мне пристал? Это ведь не я, а песня моя!.. Почему ты вдруг ее к себе приплел? Куда это годится? Разве она на тебя похожа? Это ведь про барина или, вернее, про шарлатана поется, а ты ведь мужлан неотесанный, такой же, как и мы, только, видишь, сверху черной ваксой помазан, вот она и смердит так, что в нос ударяет.

— Замолчи! — закричал Микита, все еще стоя с поднятыми кулаками. Он не осмеливался ударить, потому что Васюта мог дать сдачи.

— Ой-ой-ой! Уже занемел! — И Васюта закрыл рот рукой...

Вдруг он крикнул:

— Спасайте! Горит!

— Где горит? Где? — всполошились испуганные девушки и парни, готовые уже бежать на пожар.

— «Паджак с искрой» горит!..

Все хохотали, чуть не падали от смеха.

— Тьфу ты, собака паршивая! — воскликнул Микита, отворачиваясь и отходя в другую сторону.

А Васюта не унимался:

— Погоди! Погоди! Гасить будем!.. Искры разгораются!..

— Не оравнится Микита с тобой,— говорили парни.— Всех забудет, а вот тебя, Васюта, нет!

Микита и несколько парней отделились от толпы молодежи и ушли на другую улицу.

— Ну и досаждаешь тебе Васюта! — сказал один парень.— Почему ты его не проучишь?

— Рук поганить не хочу, вот что, Ванька! — ответил обиженный Микита.

— Сильный, как тигр! — произнес второй парень.— Один вряд ли справишься с ним.

— Так давайте сообща нападём, да и проучим! — посоветовал тот, которого Микита назвал Ванькой.— Ей-ей, Микита, мы тебе поможем.

Микита повеселел.

— Вот спасибо, други! Вот бы их обоих с Зиньком!

— А что? И Зинька можно! Пускай не задаётся!

— Тоже праведник нашёлся: все парни плохи — не такие, как ему угодно. Он-то в городе не жил, вот у него и понятия мужицкие,— сказал Микита.

— А скажи, Микита, неужто в самом деле в городе так живут, что, кто с кем захочет, с тем и любовь крутит — обвенчанный или не обвенчанный — все равно? — спросил Ванька.

— Еще и как!

— Вот это штука!

— А что, хорошо? Не журись, Ванька, и у нас заведем! Вот немного поживу с вами, и мы такое заведем, что только гляди да облизывайся! А то вы царамонитесь! Вот я вас научу!

Продолжали идти, а он их поучал.

Тем временем Зинько и Гаинка подходили уже к своей хате.

— Ой, кто-то ссорится,— сказала Гаинка.

И впрямь кто-то ссорился. Грубый, раздраженный мужской голос кричал:

— Врешь! Врешь! Не будешь ты, чертово кодро, косить эту рожь! Я ее скошу, потому что она на моей земле.

— Момоты уже из-за земли спорят,— сказал Зинько.

Момоты — соседи Зинька: с одной стороны живет

Струк, с другой Момоты. У старого Момота было трое сыновей: старший — Грицько, затем — Панас, оба женатые, а потом Иван — тот парень, что дружит с Микитой. Грицька отец давно уже отделил, женил его и выпросил для него у общины землю в конце села; построил хату, дал немного скотины. Однако отдал ему не всю положенную по наделу землю: десятины не додал, потому что оставил пока еще для себя; а умирая, в позапрошлом году, при людях сказал, что Грицьку нужно дать еще одну десятину, тогда у всех братьев земли будет поровну. Однако братья не захотели отдать ему этой десятины, уверяя, что отец, еще когда был жив, выделил ему все. Грицько пошел, отмерил себе десятину, да и засеял ее. Спустя некоторое время Панас и Иван узнали об этом. С тех пор между братьями и начались ожесточенные распри. Где бы они ни встретились, сразу же начинали ругаться из-за этой земли, дело чуть до драки не доходило. Иван хотя и был младшим и не таким жадным, все же поддерживал Панаса (поскольку он вместе с ним жил).

Ссора разгорелась и сейчас. Грицько шел по улице, а Панас, стоя у ворот, затронул его.

— Не дожدهшься ты, — ответил Грицько, — чужой хлеб косить! Я буду работать, а ты будешь мое добро собирать?!

— Так не сей на чужой земле! И соберу, а ты дулю скушаешь! — отозвался Панас. — Дули будешь есть: я тебя так ими накормлю, что лопнешь. А хлеба тебе не придется с нее есть, потому что урожаи с десятины я сам соберу.

— Да я тебя и на ниву не пущу! — ответил Грицько. — У меня в руках коса будет.

— Увидим еще! Если не пустишь меня на мою землю, сам в ней сгниешь! — угрожал Панас.

— Да они и в самом деле когда-нибудь с ножами набросятся друг на друга! — промолвила Гаинка.

В это время Грицько, миновав хату Панаса, подошел ко двору Зинька.

— Добрый вечер, дяденька, — сказал ему Зинько.

— Добрый вечер!.. Кто это? А, Зинько!.. Да я из-за этого разбойника Панаса тебя и не заметил.

— И стоит вам, дяденька, ссориться с ним?

Грицько махнул рукой:

— Ну, ты скажешь такое! Шел к себе домой мимо его двора, и даже в мыслях не было ссориться с ним, а он сам затронул меня.

Грицько уже немного поостыл, успокоился; у него обычно быстро проходила злость, не так, как у Панаса: тот если обидится на человека, то никогда не простит, всеми силами пытается вредить; а если возненавидит, то за горло схватит. Многие возмущались его поведением: если чья-либо свинья забредет к нему во двор, он тут же ей хребет перебьет; кот повадится чужой — лапы ему отрубит. А однажды поссорился с одним мужиком из-за какой-то чепухи и все время угрожал: «Ну, хорошо! Останешься ты без скотины!» Тот мужик не обратил внимания на его угрозы, но однажды утром, поднявшись, пошел в сарай, — а его лошади — пара хороших лошадей — околевают: кто-то ночью залез в конюшню и ножом им животы распорол... Все в селе знали, что это дело рук Панаса, но нельзя было доказать, — так ему ничего и не было. Поэтому жители села не любили, даже немного побаивались Панаса, а во время его распри с Грицьком большинство поддерживало старшего брата, потому что тот был прав. Но у Панаса был защитник — Копанца.

Грицько стоял у ворот с Зиньком, рассказывал ему о том, как сегодня началась ссора, и добавил:

— Вот ты говоришь — не спорь с ними! А как мне не спорить, сам подумай? Это мои труды! А земля? Она ведь принадлежит мне, — об этом каждый знает. У меня же дети! Как я могу уступить ее им? Теперь каждый дрожит над клочком земли, потому что народу много стало, а земли мало, — так как же я откажусь от нее?

— Да нет, я не о том говорю, — ответил Зинько. — Знаю, знаю, что земля ваша, и она вам нужна. Но когда вы ссоритесь и деретесь из-за нее, из этого ничего путного не выйдет. Вы делайте свое, а коли он будет приставать к вам, подайте в суд.

Грицько задумался.

— Бабушка надвое сказала: отсудишь ли еще... — промолвил, вздыхая. — А впрочем, тогда и впрямь виднее будет; а теперь чего спорить?.. Будьте здоровы!..

— Будьте здоровы!

— Жаль человека! — промолвил Зинько. — И порядочный он мужик, а не везет ему.

Грицьку и в самом деле не везло. То лошадь у него украли, то бык околел, то ниву градом побило — и так чуть ли не каждый год, одна беда сменяется другой. Обижала судьба этого горемыку. Совсем измучился человек, особенно после того, как у него померла жена, оставив его с тремя маленькими детьми. Маялся он что-то больше года, а потом все-таки женился вторично. Он и не хотел жениться, потому что до сих пор тосковал по первой жене, но люди говорили, да и сам он видел, что не сумеет один с тремя малышами справиться в своем хозяйстве. Но какая женщина захочет выйти замуж за вдовца с тремя детьми? Посоветовали ему жениться на покрытке Ивге — красивой и здоровой женщине, но с ребенком. Это еще полбеды, но о ней шла дурная молва в селе. Что оставалось делать Грицьку? Разве другая выйдет за него? Хорошо, что и такая нашлась. И женился. Однако что-то и теперь не совсем ладно в его семье...

Мать уже спала, когда Зинько и Гаинка вернулись. Они не решились ее будить. Гаинка в потемках нашла в комнате еду, вынесла на улицу, и вдвоем уселись они на завалинке ужинать. Луна высоко поднялась в небе, было светло, хоть иголки собирай. Проголодавшиеся и счастливые, они поели остатки от обеда и улеглись спать в саду у хаты.

— Зиня, правда, что на месяце брат брата на вилах держит? — спросила Гаинка, лежа на спине и глядя на месяц.

— Говорил же тебе, что нет! — ответил Зинько, засыпая. — Спи уж, а то завтра встать рано.

— Ишь какой работающий нашелся! Посмотрим, как сам встанешь!

Зинько уже спал, а Гаинка все смотрела на небо и думала об искристом Воze<sup>1</sup>: кто на нем ездит? бог? или святой Илья? Может, на этой колеснице он и ездит, когда гром гремит? А вон там Наседка... Почему вдруг на небе оказалась эта Наседка? Наверное, это божьей матери наседка с цыплятами. Вишь, и на небе есть домашние птицы... Неспроста люди говорят, что бог тоже любит хозяйничать... Ведь и в колядках поют, будто

---

<sup>1</sup> Воз — так по-украински называется созвездие Большая Медведица.

Иисус Христос землю пахал и сеял, а богородица ему обедать носила... Верно говорил дедушка, что за землей ухаживать надо, ибо сам бог ее пахал и сеял... Земля — мать, она любит нас... и я люблю ее... И она... и я...

Мысли переплелись. Гаинка уснула.

## V

### ДРУЗЬЯ ЗИНЬКА

На другой день, проснувшись рано утром, Зинько и впрямь увидел, что спал дольше всех! Хлопотливая Гаинка давно уже поднялась, вместе с матерью отогнала коров в стадо; и покуда мать возилась на огороде, потихоньку окучивая своими старыми руками картошку, Гаинка затопила печь. А когда Зинько проснулся, она в старенькой юбчонке, с засученными до локтей рукавами, выбежала во двор взять дров.

— Почему ты меня не разбудила? — крикнул ей Зинько.

Она, закрывая глаза рукой от солнца, которое сейчас поднималось на горизонте багровым полукругом, посмотрела на него.

— А ты уже встал? Эх, соня!

— Я спрашиваю: почему ты меня не разбудила?

— Хороший хозяин сам знает, когда ему вставать! — засмеялась, освещенная пунцово-золотистыми лучами солнца Гаинка, поглядывая из-под руки на Зинька. Потом добавила: — Зачем бы я тебя будила? Все равно сейчас дел немного, — ну и поспи!

И побежала за дровами.

Зиньку немного стыдно стало, что проспал. Он бросился быстро через сад к реке, в одно мгновение искупался и, проворный, бодрый, не заходя в хату, отправился в сарай.

Он немного столярничал, когда не было работы по хозяйству, — хотя никто его не обучал этому. И теперь он решил смастерить большую кровать. Это было нелегко, потому что Зинько делал ее впервые. Ему очень хотелось ее сделать, и он на время выпросил у дьячка старую, поломанную деревянную кровать, разобрал ее на части и изготовлял по ним детали, будучи уверенным в том, что сделает из них кровать, как сделал когда-то

шкаф для книг, а затем веялку. Он взял в аренду у мужика веялку, чтобы очистить свое зерно, присмотрелся к ней и подумал, что не мудрено и самому сделать ее. И смастерил точно такую же. Железные части ему готовил кузнец, а деревянные — он сам. Увидел один крестьянин, что веялка хорошо работает, — и купил ее у Зинька, а тот себе новую, еще лучшую смастерил. И так он четыре веялки сделал: одну себе, а три людям.

Строгал и думал о вчерашней беседе с тестем. То, что друзья тестя хотят взять в аренду землю у помещика Горянского, не удивляло Зинька: они были зажиточными людьми, и это им под силу, а хорошая земля принесет им и хороший доход. Почему бы и не взять, если у них есть возможность? Но Зинька удивляло другое: почему именно тесть приглашал его в свою компанию?

Правда, после того как Зинько женился на Ганике, тесть не раз пытался повлиять на зятя, чтобы тот вместе с ним по одной стежке шел. Но Зинько понял вскоре, что это за стежка, и не пошел по ней. Да и Остап Колодий убедился наконец, что ошибся в зяте: он надеялся с грамотным Зиньком зажить на славу, — ведь ему, Остапу, только грамоты и недоставало! Однако он понял, что Зинько не мечтает о богатстве, и не настаивал на своем. И Зинько никогда никакой помощи у него не просил. Поэтому они с Зиньком и не ссорились, но и не дружили, — каждый устранивал свою жизнь по-своему.

Зинько не мог даже подумать, чтобы тесть, знач очень хорошо его взгляды, снова стал приглашать его в какую-то компанию. Однако пригласил! Но зачем?

Сделать Зиньку добро? Может быть... Хотя Остап Колодий не из тех, кто зря делает добро, даже родственнику... А тем более такому, который ничего у него не просит и может прожить без его помощи.

Может быть, у них денег не хватает, чтобы за аренду земли заплатить? Может быть... Но ведь Зинько небогат и в этом деле им пособить не сумеет: если бы им нужна была такая помощь, то они легко нашли бы более зажиточного, чем он.

Зачем же? Зинько думал об этом, думал, да так ничего и не мог придумать. Но сердцем чувствовал: тут что-то неладное.

Вечером Зинько пошел к своему другу Карпу. Это был молодой, недавно женившийся крестьянин. Он был

грамотен: как и Зинько, научился читать у дьячка. Очень любил божественные книги и накопил их немало. Других не любил, думая, что все это чепуха, сказки — не больше. «Зачем они нам?» — спрашивал он. Говорил главным образом о божественных и общественных делах, и особенно настойчиво выступал против старшины Копаницы, который занимался нечестными делами в общине. Карпо жил в своей небольшой, но чистенькой хате небогато, хотя они вместе с женой и много трудились. Женился он на не очень красивой, но ласковой, молчаливой, работающей девушке и счастливо жил со своей Катериной и маленьким сыном. Сам он тоже был некрасивым и худым, с коротко подстриженной русой бородкой, с глубокими морщинами на лбу, но с пытливыми, умными глазами.

Зайдя к Карпу, Зинько застал у него Васюту, уже немолодого белобрысого парня с необыкновенно веселыми голубыми глазами и с целой копной взлохмаченных русых волос на голове, с жиденькими светлыми усиками; он казался моложе своих лет.

— Вот и вся небольшая, но честная компания! — произнес он, увидя Зиньку. — Если бы ты пришел с женой, тогда здесь все были бы в сборе. Надо впредь нам встречаться вместе с женами.

— Ты сначала женись! — пошутил Зинько.

— Да никак не подберу себе пару! Одна слишком высокая, а другая кажется низенькой.

— Но разве нельзя найти такую, чтобы по росту тебе подошла? — засмеялась Катерина.

— Почему же нельзя? Есть! Да вот одна очень толста, а другая слишком тонка. Одну не обниму, потому что рукой не обхватчу, а другую не за что обнять. А коли и найдешь по своему росту — опять беда: одна очень молчалива — не с кем будет слова молвить; другая говорлива — не даст и слова сказать.

— Ну, — засмеялись в хате, — вряд ли найдется такая, чтоб тебя могла переговорить!

— Вот и я так думал, но все же отыскалась! Стал я за ней тогда приударивать да ухаживать!.. Ухаживал, обхаживал — и вот тебе на!.. Оказалась она такой прыткой, что взяла да и убежала в Черноус. С тех пор и перестал подбирать дивчат по своему росту.

Все знали об этой истории с Одаркой Момотовой, в которую Васюта был влюблен. Она водила, водила его за нос, да и вышла замуж за богача из села Черноус. Васюта до сих пор еще не мог ее забыть,— вот и по-сменывается над собой.

— Есть ли что-нибудь такое на свете,— спросил Карпо,— над чем бы ты, Васюта, не смеялся?

— Вот чтоб я помер, если я не плакал над луком!

Зинько и Катря захохотали, улыбнулся и Карпо, а Васюта сидел как ни в чем не бывало.

— Вот что, братцы,— произнес наконец Зинько,— я пришел к вам с новостью... Не знаю, как вам покажется, а мне она не очень по душе.

— Молодичка! Навострите уши, сейчас новость услышите — есть с чем по селу пробежать! — крикнул Васюта Катре.

— Ну, она не из таких,— ответил ему Зинько.

Катря и в самом деле была степенной женщиной. Она ни с кем попусту не болтала, и за это Карпо очень уважал ее.

— Ну, коль она такая, что своих женских дел не знает, я вместо нее по селу этот слух распущу! — не унимался Васюта.

— Ха-ха-ха! — не удержалась Катерина.— С тобой и глухой бы смеялся, Васюта.

— Где уж там смеяться? Сердятся! Вчера пришел я к своему глухому соседу, а он ворота в гумне чинит. «Здравствуйте, дедушка!» — «А то чьи же, если не твои волы, говорит, я уже второй раз прихожу к гумну. Я им рога отобью!» — «Да не о волах я говорю, а «здравствуйте!» — «Сам ты, отвечает, злодей, а я хозяин!..»

Катерина опять засмеялась, а Карпо не выдержал и сказал Васюте:

— Ну, довольно тебе балагурить!.. Здесь человек о деле, а ты... Послушаем лучше, что Зинько скажет!

Васюта умолк, однако как-то странно поглядывал на Катерину, подкручивая свои небольшие белесые усики, с которыми ему труднее было справиться, чем с шутками.

Карпо сел на скамью, оперся локтем о стол, а головой склонился на руку — трудовую, худую, огромную и костлявую руку,— и приготовился слушать.

Зинько рассказывал о своем вчерашнем разговоре с тестем, объяснив, что ему в нем кажется подозрительным.

— Что подозрительно, то подозрительно! — промолвил Карпо. — «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Хорошо и ты учинил, что к ним не пристал.

— Да не об этом речь, — ответил Зинько, — а о том: что они задумали предпринять?

— Плохой человек и днем и ночью только о злом и помышляет, — сказал Карпо.

— А я вам еще одну новость сообщу, — отозвался Васюта. — Твой брат Денис, Зинько, решил выкупить землю, которую переселенцы, уезжая, общине сдали.

— Неужто? А откуда тебе это известно?

— Разве трудно узнать? Еще вчера я хотел сказать вам... Они уже и Захарка подговорили, чтобы людей к этому склонял.

Захарко — пожилой мужик, беспросветный пьяница: за четвертинку водки готов кричать на сходе то, что ему прикажут.

— Тревожится моя душа: не хитрее ли они тут придумали, чем с горянской землей? — произнес Карпо. — Денис уже богат, а ежели купит переселенческую землю, тогда он и его нечестивые друзья совсем согнут наши шеи, как волам в ярме.

— Нельзя этого допускать, — сказал Зинько.

— Они вон уже как носы задрали. Теперь они в общине сила! — сказал Васюта.

— Надо, чтобы мы оказались сильнее, — упорно настаивал на своем Зинько. — Они пьяного Захарка заставили подбивать людей на свою сторону, а мы сами должны растолковать мужикам, какой от этого может быть вред, и повести их за собой.

— Да, верно, братцы! — воскликнул Васюта. — Нельзя им разрешать садиться нам на шею! Давайте с ними, с чертовым отродьем, бороться!

— Ты что, опять начал того вспоминать? — упрекнул его Карпо. Он не любил, если кто-нибудь вспоминал черта, особенно в хате, а словоохотливый Васюта каждый раз его вспоминал.

— Не буду, ей-ей не буду! — клялся он. — Чтоб черт забрал этого чер... Ой!.. Ну скажи на милость божью, так и лезет на язык!

— Верно говоришь, Зинько, что нам нужно свои интересы отстаивать,— произнес Карпо, не обращая внимания на клятву Васюты.— Но плох тот воин, который начинает воевать, а как победить в этой войне — не знает.

— Вот штука! — не удержался Васюта.— Сам ведь говоришь, что господь и младенцев умудряет, не то что нас, вот таких здоровых дубин!

Зинько засмеялся, но Карпо с достоинством произнес:

— Не извращай святого писания, если не смыслишь в нем. Да разве тебе понять, коль ты его и в руки не берешь! Не знаю, зачем мы с Зиньком тебя читать научили! Только и знаешь, что басни рассказываешь.

— Постараемся людей на свою сторону привлечь,— прервал Карпа Зинько,— растолкуем им, докажем; они должны наконец понять, что для них лучше.

— Они слепы и глухи,— ответил Карпо.— Они скорее склоняются к плохому, а о добре, глупые головы, и не помышляют. Однако и бездействовать нельзя. Будем поступать так, как советуешь ты,— уповая на бога.

— Обязательно надо действовать! — говорил Зинько.— У нас много бедняков, которые и сейчас нуждаются в земле, а если она попадет в руки богачей, тогда уж ее себе не вернем.

— Не допустим этого! Подавятся они ею! — ободряюще воскликнул Васюта.

Друзья еще долго советовались, а на следующий день начали рассказывать мужикам о стремлении Дениса прибрать общинную землю к своим рукам. Они уговаривали односельчан не уступать ему этой земли. Все мужики поносили Дениса и его компанию, но когда Зинько и его товарищи спрашивали, выступит ли кто-нибудь из них против Дениса на сходе, то те обычно старались увильнуть и ничего не сказать в ответ. Наши друзья прекрасно понимали, в чем тут дело: один должен был самому Денису или кому-нибудь из его компании; другой собирался одолжить у них что-то; третий арендовал или думает арендовать землю... — и многие не хотели открыто выступать против этих людей. Только Грицько Момот искренне признался Васюте:

— Что же, братец, с дорогой душой к вам присоединился бы, да я так обеднел! Ты же знаешь: у меня вол околел, лошадь пропала... всем столько задолжал, что

уже и сам не знаю, как быть. У Дениса одолжил двадцать рублей на покупку лошади и через неделю должен ему вернуть их. А у меня ни гроша. Если не смилюстивится Денис и не отсрочит, что тогда делать? Заберет он последнюю лошадаенку, да еще и этим не расплачусь... А у меня детишки малые! Если бы я мог вернуть ему двадцать рублей, тогда бы поддержал вас, а иначе вынужден молчать.

Васюта понимал, что Грицько говорит правду, и не знал, что ему ответить.

Но были и совершенно независимые от компании Дениса люди. Они говорили, что на сходе будут выступать против Дениса. Им можно было верить, но таких было немного, и надежда на победу была слабая.

Встретились Карпо, Васюта и Зинько, стали совещаться о том, как идут дела. Васюта рассказал им и о Грицьке. Зинько задумался.

— А что, братцы,— наконец произнес он,— если мы поможем Грицьку?

— Как же? — спросил Карпо.

— Давайте соберем денег, да и одолжим Грицьку, чтобы он мог вернуть Денису долг, потому что, понимаете ли,— во-первых, помочь человеку всегда хорошо, а во-вторых — нынче для нас каждый человек очень дорог.

— Правда! — воскликнул Васюта.— Чтоб я сдох, ежели Зинько не дело говорит!

— Ты разумно советуешь,— промолвил и Карпо,— да соберем ли мы столько денег?

— Как-нибудь соберем! А для общего дела не грешно и одолжить, потому что, как ни говорите, и впрямь это доброе деяние,— уверял Зинько.

— Сколько же ему: двадцать рублей надо?

— Да.

Карпо подумал.

— Вот что я вам скажу! — наконец произнес он.— Туго у меня сейчас с деньгами: больше пяти рублей не могу дать.

— И то хорошо! — сказал Зинько.— А ты, Васюта?

Хотя тот и не был женат, но после смерти отца ему пришлось заниматься хозяйством и он был старшим в доме.

— Да и я больше пяти не наскребу.

— Вот уже десять. Ну, хорошо: у меня сейчас десять рублей тоже найдется, и я дам ему десять,— сказал Зинько.— Вот и будет двадцать. Так и скажем Грицьку, что это мы ему сообща помогаем, чтобы он мог расплатиться с Денисом и присоединиться к нам.

— А не обманет ли он нас? — спросил Карпо.

— Не думаю, он человек искренний, — ответил Зинько.— А ты, Васюта, как думаешь?

— Да что ты! Я Грицьку больше верю, чем себе! Коль мне доверяете, то ему и подавно верьте!

— Раз ты такого мнения о нем, то и отдадим ему эти деньги,— сказал Карпо.— Пойдемте-ка все вместе к нему, так будет надежнее и солиднее. Должно быть, ему будет приятно, что не только один Васюта его поддерживает, но и все наше товарищество.

— Это верно! — согласился Зинько.

И тут же друзья направились к Грицьку.

Три товарища вошли в убогую хатку, освещенную плохой, тусклой лампой, висевшей на стене, застав всю семью дома. Четверо детей уже собирались ложиться спать на полу. Ивга стелила им постель. Грицько сидел за столом. В хате было грязно, сорочки на бедных детях и на Грицьке были темные, заношенные, а жилетка на нем — заплатка на заплате! Сам Грицько уже немного сгорбился от тяжелой работы; с худым лицом, изрытым морщинами, заросшим темной бородой и с глубоко запавшими серыми глазами, он казался старше своих лет. А ведь ему не было еще и сорока, хотя по виду можно дать и все пятьдесят. Казалось, что-то угнетало и эту тесную хату, и людей, живших в ней. Только Ивга выделялась в этом мрачном уголке нищеты и беспросветности. Высокая, красивая и здоровая, она была и одета лучше, и по комнате ходила точно чужая, словно гостья. Она не любила Грицька и вышла за него замуж, лишь бы куда-нибудь пристроиться со своим ребенком, а сейчас сожалела, что поступила так. Эта мрачная комната, сгорбившийся Грицько и четверо крикливых детей безмерно опротивели ей,— если бы она могла, ни за что и не заглянула бы сюда!

Гости поздоровались, сели. Грицько тотчас стал рассказывать им о своей ссоре с братьями из-за земли. Он ходил к судьям, говорил, что братья угрожают скосить рожь на его десятине. А судьи говорят: «Ведь не

скосили еще, чего ты нам голову морочишь?» Вот ты им и пожалуйся! Теперь он видит, что правды нигде не найдешь. Будет сам защищать свое добро, как сумеет.

— Защитишь! Гляди! Их двое, а ты один! — произнесла неодобрительно Ивга, словно радуясь, что Грицько был таким бессильным. Она мыла на скамейке, возле полки с посудой, ложки и все время, пока Грицько рассказывал о своей ссоре с братьями, молча поглядывала на Зинька своими смелыми, лукавыми глазами, — он как раз сидел на скамье с краю, рядом с ней. Слушая Грицька, Зинько не замечал ее взглядов, но теперь, когда она вставила свое слово, посмотрел на нее, и глаза их встретились.

— Много ты знаешь! — ответил сердито Грицько.

Но она уже не слушала его и все время смотрела на Зинька: он нравился ей. Грицько снова продолжал говорить о своем, Васюта и Карпо расспрашивали его, а она тем временем шепотом обратилась к Зиньку:

— Почему ты к нам никогда не заходишь?

— Я? — спросил, немного удивляясь, Зинько. — Да так... дел не было.

— Но ты ведь живешь по соседству, — продолжала она шепотом, словно напевая, а ее страстный взгляд пронизывал Зинька. — Ведь рядом живешь... Заходи, и мне веселей будет.

— Хорошо! Спасибо! — ответил Зинько и тут же присоединился к беседе друзей.

Грицько, размахивая своими мозолистыми черными руками, говорил:

— Я и сам вижу, какие они шкуродеры. Из-за них нигде правды не добьешься — ни у старшины, ни у судей, нигде!

— Вот видите, дяденька, — вмешался Зинько, — сами говорите, что из-за них нельзя управы найти на ваших братьев, что богачей и судьи поддерживают. Коль это так, то нам нельзя допускать, чтобы они еще богаче становились, потому что тогда они еще крепче взнуздают нас и опутают со всех сторон — и судом, и землей, и скотиной, — всем. Вот нам и нужно вместе быть, да и обуздать их малость.

— Да я и рад, но как... — начал было Грицько, но Зинько перебил его:

— Знаю, почему вы не можете. Но вашей беде можно пособить. Вот мы собрались и принесли вам двадцать рублей. Возьмите их, отдайте Денису, а нам потом возвратите, когда будут, и без процентов.

Зинько положил на стол деньги. Грицько сидел молча и смотрел на них.

— Да как же это так? — спросил наконец. — Зачем вы мне даете деньги?

— Мы хотим помочь вам, — ответил ему Карпо, — с тем чтобы, когда отдадите свой долг Денису, вам можно было на сходе выступить против него, чтобы не досталась ему общинная земля.

— Да-а... — как-то неуверенно протянул Грицько. — А зачем вам эта земля? Хотите сами ее купить?

— Да что вы, дяденька? — воскликнул Васиота. — Разве я вам не говорил?

— Что говорил, то говорил... Да я думал, что и впрямь только бы Денису не дать. Ну а теперь вижу, раз деньги принесли, так оно как-то...

— Что — как-то? — спросил Карпо сердито. — Мы от чистого сердца вам помочь хотим, а вы тут напраслину на нас возводите, полагая, что вместо Дениса сами хотим хитрым путем общину обмануть! Сами, очевидно, не по правде живете и добрых дел не хотите видеть. Словно и правды совсем нет — все только и стараются обмануть. Не терплю я такого! Пойдемте, братцы, отсюда! «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых».

Карпо поднялся уже было со скамьи и хотел уходить, но Зинько остановил его.

— Погоди, братец! Вы, дяденька, в самом деле не то говорите. Не о себе заботимся, а об общине. Да если хотите — и о себе: будет людям в общине легче жить, и нам тоже. Каждому в одиночку трудно чего-то добиться, поэтому и следует все делать сообща. И чем крепче мы объединимся, тем большего достигнем. Потому и вам помогаем, чтобы вы к нашему общему делу пристали. Вам хорошо, да и нам неплохо, — ведь наши силы растут.

Карпо стоял посреди хаты с шапкою в руках, сердитый, готовый каждую минуту уйти отсюда. А Грицько, склонив голову, думал. Затем он вдруг поднял голову.

— Да неужто вы, братья, заботитесь об общине?

— А вы не верите, дяденька? Э-эх! — воскликнул Васюта.— Что, нам землю еще грызть, чтобы вы повесрили? Если уж так строиться, то лучше хату развалить.

Лицо Грицька вдруг засияло.

— Ну и хорошие же вы люди! — воскликнул.— Ей-ей, таких людей я еще не видел! Да я с дорогой душой!.. Мне бы только рассчитаться с Денисом, а то я... Ну никогда бы не подумал, что вы беспокоитесь об общине. Когда принесли деньги, думал, что вы себе землю хотите приобрести. А вы, вижу... Спасибо вам, братцы, за то, что выручили!..

После этого все повеселели, заговорили о том, как и что будут делать в общине да кого можно привлечь на свою сторону!.. Ивга все время молча сидела на конце скамейки, склонившись слегка на полку, да на Зинька смотрела.

Зинько, вернувшись поздно домой, пошел в сад, думая, что Гаинка давно уже спит, но ее не было там. Пошел в хату — и на пороге встретил жену.

— А ты почему до сих пор не спишь?

— Да я было легла спать, но сразу и поднялась.. Боюсь!

— Чего?

— Кто-то ходит в саду у реки... И вчера, мне казалось... кто-то ходил там. Но думала, что это мне приснилось... А сегодня только легла,—вдруг в саду треск раздался: по сухим ветвям кто-то ходит; вот слышишь — опять...

Они прислушались. И верно, в саду кто-то ходил. Зинько тихо сказал Ганке, чтобы она осталась здесь, а сам быстро и осторожно стал пробираться между деревьями вниз, откуда доносились шаги. Ночь была нелунная, хотя и звездная, и надо было хорошенько присматриваться, чтобы разглядеть что-нибудь среди деревьев. Зинько всматривался, но так ничего и не увидел. Вдруг услышал, как затрещал тын в той стороне, где находился сад Струка. Посмотрел туда — и увидел, что кто-то перелезает через тын. Огромная темная фигура на мгновение показалась над плетнем и тотчас соскочила вниз, в сад Струка.

— А кто там бродит? — крикнул Зинько. Но в ответ только услышал топот ног по ту сторону плетня.

Когда вернулся, Гаинка спросила:

— Ну что, видел?

— Видел; кто-то в сад Струка прыгнул с забора.

— А не узнал?

— Где же узнать! Темень такая, да и далеко. И зачем теперь ходить? Было бы лето... яблоки, груши... А теперь?..— удивлялся Зинько.

— Может, он на кого-нибудь похож? — расспрашивала Гаинка.

— Да разве разберешь! Фигурой немного похож на Микиту Тонконоженка — здоровый такой же, как и он... Однако зачем ему здесь ходить? Может быть, к дочери Струка?

— Да и впрямь, может, к дочери Струка! — сказала Гаинка и добавила: — Ну и не люблю я этого Микиту! Как встретишься с ним где-нибудь на улице, как глянет он на тебя,— противно становится.

— Не люблю и я его,— ответил Зинько,— плохой парень.

— И всегда, когда встречается со мной, пристаёт ко мне, а я не переносу даже его голоса. И глаза у него какие-то такие... как у Ивги!..

Зинько вдруг вспомнил глаза Ивги — как она сегодня на него смотрела. Но тут же забыл о них и начал рассказывать жене, о чем они беседовали у Грицька...

Прошло еще несколько дней. Вдруг десятский пошел по селу, сзывая мужиков в воскресенье на сход. Оставалось для наших друзей только три дня. Они изо всех сил бились, чтобы за это время привлечь на свою сторону как можно больше людей.

## VI

### СЕЛЬСКИЙ СХОД

Крестьяне собрались у волости на сельский сход. Одни уселись на бревнах, лежавших под тыном, другие толпились у волостного крыльца, а большинство стояло поодаль группками, ходили взад-вперед и оживленно беседовали. Разговаривали громко о разных новостях, видах на урожай и о своих делах, только не касались дела Дениса, потому что тот тоже был здесь: вертелся

среди своих людей, улыбался и, наклоняясь то к одному, то к другому, что-то нашептывал. Зинько умышленно пришел на сход очень рано, потому что в его присутствии не так легко будет сторонникам Дениса привлечь на свою сторону людей. Однако вскоре он заметил, что десятский всякий раз украдкой вызывал того или другого мужика в волостное управление, где давно уже находились Копаница, Сучок, Рябченко и куда часто заглядывал Денис. По-видимому, они там сообща уговаривали мужиков, которых еще не успели или не смогли уговорить. Зинько смотрел на присутствующих на сходе и прикидывал, кто может поддержать их и выступить против Дениса. Обстановка складывалась не в пользу общины.

— Видишь, Зинько,— тихо обратился к нему Васюта,— ни Павла, ни Оксена, ни Юхима нет.

И впрямь, несколько человек, которые дали слово поддержать Зиньку и его товарищей, совсем не пришли на сход, побоявшись выступить против богачей.

— Лукавые души! — промолвил Зинько.— А почему до сих пор Грицька нет?

— Вон идет,— ответил Карпо.

Грицько подошел и стал рядом с ними. Вернув долг Денису, он не боялся его и готов был драться с ним изо всех сил. Он окинул взглядом крестьян и сказал:

— Мало наших!

— Мало,— подтвердил Зинько,— а все же бороться нужно во что бы то ни стало.

— Погляди-ка, Грицько,— промолвил Михайло, один из молодых хозяев, поддерживающих Зиньку,— погляди, как твой братец увивается возле Дениса!

Действительно, Панас ходил следом за Денисом.

— Ты смотри, какой богач нашелся! — сказал другой мужик, Савка.— Тоже туда лезет!

— Не удивительно,— сказал Грицько.— Надеется, что они помогут ему отнять у меня землю.

— А посмотрите, где Кирилл! — промолвил Карпо.

Все увидели, как Кирилл выходил из волости.

— Кирилл! — крикнул Васюта.

Но тот словно и не слышал — смотрел в противоположную сторону и, быстро сойдя с крыльца, исчез в толпе Денисовых друзей.

Его измена очень омрачила Зинька и его товарищей. Ведь они считали Кирилла не глупым, речистым и смелым человеком. За ним пошли бы многие крестьяне, а теперь они или пойдут следом за ним, или будут молчать.

А в это время Захарко, в старенькой, но не рваной поддевке, еще не пьяный, только немного подвыпивший, вертелся среди людей. Его одутловатая с красным носом рожа появлялась то там, то здесь. Он размахивал руками, подмигивал глазами и тихонько что-то шептал на ухо то одному, то другому мужику. Васюта украдкой шел позади его и прислушивался.

— Поддерживайте, хлопцы, Дениса Филипповича! — уговаривал пьяница. — Ведь это, знаете, выгодно общине! Ну и угостит вас Денис Филиппович! Два ведра, говорил, поставлю. Сразу же после сходки пожалуйста!

И двигался дальше, говоря всем, кому следовало, о двух ведрах водки.

— Старшина, старшина! — заговорили вокруг.

Шум утих, все посмотрели на крыльцо и сняли шапки, здороваясь. Там стоял Копаница с медалью на шее, а рядом с ним писарь, держа в руках какие-то бумаги, и староста. Общество совсем утихло, дожидаясь, что скажет старшина.

— Ну, сходка начинается! — громко произнес Копаница. — Семен Семенович, читайте бумаги!

— «Предписание уездной земской управы от девятнадцатого апреля сего года за номером тысяча восемьсот двадцать девять. Ввиду появления на рогатом скоте эпизоотии ящура, озаботиться...» — читал что-то мудреное писарь, а крестьяне слушали...

— Разобрали? — крикнул Копаница. — Хворь! Так чтоб береглись!

— А какая же это хворь, коли про ящериц говорят? — спросил кто-то из крестьян.

— Так вот и велено, чтобы скотина не ела ящериц, а то будет такая болезнь, пизотня называется, — объяснял кто-то более мудрый.

— Да где это видано, чтобы скотина ящериц ела? Такое выдумают! — сказал какой-то старик, махнув рукой.

— Ах, какие там ящерицы! — не соглашался один мужик. — Разве не слышишь? О *ящуре*, а не о ящерицах

написано. Чтобы дивчата и парубки не играли весной в яшура, а то на скотину мор будет.

— Фу, черт его знает что! И в старину играли в яшура, да ничего не случилось со скотиной, а теперь, вот видишь, уже и этого нельзя! Что за напасть такая? — возмущались люди.

— Не рассуждать! Коли пишут, — сполняй, и больше ничего! — закричал старшина. — Продолжайте, Семен Семенович!

— «Предписание господина станового пристава первого стану от пятнадцатого мая сего года за номером двадцать семь тридцать четыре — о немочении конопля в реке... под угрозой штрафа в два рубля, для чего выкопать бассейн, собрав на этот предмет по двадцать копеек с каждого двора».

— Слышите? Чтобы коноплю не мочили в реке, а то штрафу два рубля!

— Так где же мы ее мочить будем? Вот беда! Разве мы можем прожить без конопля? — раздался голоса.

— Не выдумывать! — крикнул старшина — Сказано не мочить, значит, не мочить! Сполняй, и больше ничего! Когда соберете по двадцать копеек со двора, тогда волость разрешит мочить где хочешь.

— А что там еще сказано копать? — допытывался кто-то.

— Ничего не копать! Снести в волость по двадцать копеек со двора — да и мочи где хочешь. А не принесешь — штраф и в холодную! — ответил Копаница. — Продолжайте, Семен Семенович!

Семен Семенович еще долго «продолжал», читая и об «уплате земству денег за пожарную машину», и о «розыске беглых рештантов», и о всякой всячине, — но крестьян это мало интересовало, и они пропускали мимо ушей все сообщения, поскольку хорошо знали, что их пригласили сюда не за этим. Наконец, когда уже все прочитали, Копаница спросил у писаря:

— А что, Семен Семенович, делов больше нету?

— Нету, все.

— Ну, так и по домам можно... А впрочем, погодите! — остановил он крестьян, словно только теперь вспомнил о том, что хотел сказать. — Есть еще одно

небольшое дельце... Вот вы знаете, что у нас есть переселенческие наделы... Мы за них всей общиной платим поземельное и все отработки производим,— а за что? — бог его знает! Не лучше было бы нам взять да и продать?..

— Продать! Продать! — закричали изо всех сил сторонники Дениса, но слишком рано, потому что Копаница тут же прикрикнул на них:

— Замолчите вы! Дайте сказать!.. Видите ли, ежели бы нашелся добрый человек, да и продать ему, нам было бы выгодно, а теперь только одни расходы. Мы бы сумели за эти деньги что-нибудь хорошее сделать. Что на это скажете, люди добрые?

— А какие же у нас расходы,— раздался звонкий голос Зинька,— ежели мы эту землю сдаем в аренду и за счет полученных денег все налоги оплачиваем, да еще и кое-что остается?

— Кто это говорит? — крикнул Копаница.

— Я! — произнес Зинько, выходя вперед.

— И я! — вышел следом за ним Карпо.

— Да и я! И я! — отозвались друг за другом Васюта, Грицько, Дмитро, Михайло, Савка и еще несколько голосов из толпы.

— «И я! И я!» — передразнил их старшина.— Разъякались как! А вы откуда знаете, что еще и остается? — А может быть, еще и не хватает?

— Да потому, что Денис платит за аренду десятины больше, чем за нее следует податей платить,— уверенно ответил Зинько.— Разве не так? Разве это не записано в книгах? Коли не записано, надо узнать, куда деньги ушли.

Старшина увидел, что попал впросак, и тотчас ответил:

— Деньги все целы и записываются куда следует... Ты мне тут не болтай! Как ты смеешь говорить: куда деньги деваются? Мне вся община, все начальство верит, а ты говоришь, что у меня деньги пропадают! Да я тебя сейчас в холодную запру!

— Погодите малость, не спешите в холодную запирать! — спокойно ответил Зинько.— Я не говорил, что у вас деньги пропадают, это вы сказали, что у вас их не хватает на оплату расходов; вот я и хочу узнать — на что же они истрачены?

— Я только говорю,— перебил его старшина,— что выгоднее общине эту землю продать да получать с денег проценты.

— Выгоднее! Выгоднее! — закричали сторонники Дениса.— Продать!.. Продать!.. Лишь бы человек хороший нашлся!..

— Да такой человек есть! — воскликнул старшина.

— Вот Денис Филиппович, наверное, и купил бы!

— Хорошо!.. Вот и отлично!.. Продать Денису Филипповичу!.. Продать!

— Не продавать! — закричали с другой стороны.— Не хотим!.. У нас вон сколько безземельных!.. Лучше им по частям раздать... Не хотим больше ни в аренду сдавать, ни продавать землю Денису!

Поднялся такой шум, крик, что трудно было что-либо понять. Дело было весьма важное, животрепещущее, и поэтому все были слишком раздражены. Говорили все вместе,— одни взывали к толпе, другие спорили между собой. Денис в это время оказался на крыльце рядом со старшиной. Там уже стояли и Остап, и Рябченко, и Сучок, и вся их компания. Они обращались к старшине и ко всем людям, стоявшим возле них. Карпо, Васюта, Грицько подходили к крестьянам, уговаривая их не соглашаться и не продавать землю. Зинько в это время подошел к крыльцу и медленно, протискиваясь сквозь толпу, поднялся по ступенькам.

— Да прекратите вы орать! — крикнул старшина.— Послушайте, что скажет Денис Филиппович!

— Замолчите! Замолчите! Слушайте! — начали люди останавливать друг друга. Но шум продолжался.

— Не хотим его слушать! Не надо!

Так они спорили еще некоторое время, пока все утихомирилось. Денис откашлялся и начал:

— Господа хозяева! Я не навязываюсь со своими деньгами. Это как вы хотите: хотите — продавайте, хотите — нет. Я бы эту земельку купил, а не схотите продать — за свои деньги и в другом месте найду. Деньги такая штука, что за них всюду что хочешь найдешь. Я только потому и покупаю, что рассуждаю себе так: все равно мне покупать, а ежели у общины куплю, этим же ей пособию. Вот что! Цену мою вы знаете за

десятину,— цена подходящая; и деньги тотчас уплачу волости. Так что, воля ваша.

Едва он закончил, никто еще не успел и слова сказать, как вдруг неожиданно перед сельским сходом, став впереди Дениса, появился Зинько и громко начал:

— Люди добрые, уважаемое общество!

— А ты чего здесь? — крикнул старшина. — Прочь отсюда!

— Денис говорил, хочу и я сказать!.. — ответил Зинько. — Почему ему можно, а мне — нет? Каждый может выступить.

— Денис землю покупает, а ты что?

— А откуда вы знаете, что я не хочу ее купить? Может, и я собираюсь купить! Я такой же хозяин, как и Денис, — ответил Зинько, не поворачиваясь к старшине и не сходя с места, а потом снова обратился к сельскому сходу.

— Уважаемое общество, если я что-нибудь и не так скажу, простите меня и научите, потому что я человек еще молодой, надобно мне уму-разуму у старших учиться. Может быть, я и промолчал бы, но совесть не позволяет: когда идешь мимо хаты и видишь, что она начинает гореть, а хозяин спит — разве можно не забежать и не разбудить его? А у нас наш общий дом начинает гореть!

Все внимательно слушали, интересуясь, что будет дальше. Только кое-кто шепотом спрашивал у соседа, толкая его локтем:

— О каком это доме он говорит. Где горит?

— Да ты слушай! — отвечал сосед.

— С маленькой искры начинается пожар, — продолжал Зинько. — С искры разгорается пламя. Вот и у нас зародилась такая искра. Каждый год людей становится все больше, а земли нет. Теперь на душу приходится в два раза меньше земли, нежели было раньше. У нас сейчас и безземельные разобрали бы эту землю, которую вы хотите продать одному. Разве это справедливо? Продайте или дайте по десятине, по две беднякам, тем, у кого земли мало или вовсе нет, а не обогащайте того, кто и так богат. Тогда общине хорошо, когда все живут в достатке.

— Правда! Правда! — слышались вокруг голоса. — Не в бровь, а в глаз!

А Зинько, ободренный поддержкой, горячо продолжал:

— Говорят: община — великий человек. Нужно, чтобы у великого человека и сила была большая, иначе он станет беспомощным. Пусть община не теряет своей силы. Наша сила — земля. Если община ею владеет, — она сильна. Если же община продаст ее кому-нибудь, то этим она себя ослабит, а другого усилит. Тогда великим человеком будет не община, а кто-то другой, и крестьяне станут его холоуями. Кто желает превратить общину в холоуев — пускай продает землю, пусть поджигает общественный дом! Вот и все, что я хотел сказать!

Зинько спустился с крыльца, смешавшись с толпой. Сельский сход на минуту притих. Слова Зинька поразили всех. Постепенно стал говорить то один, то другой.

— А что же, разве это не правда?.. Нельзя им уступать!.. Не надо продавать!.. Не хотим!.. — все больше и больше раздавалось голосов.

Весь сход уже гудел, точно пчелы в улье. Тем, кто ради водки соглашался поддержать Дениса, сейчас было стыдно думать об этом. Да и те, кто находился в кабале у Дениса и его приспешников, забыли об этом на миг. Каждый почувствовал себя гражданином. Каждый понимал, что здесь у него есть сила, и ему приятно было сознавать это. Сторонники Дениса молчали, а те, кто отстаивал интересы общины, кричали. Зинько и его товарищи ходили среди людей и растолковывали то, что не успели раньше разъяснить.

— Да замолчите вы! Слушайте! — закричал изо всех сил старшина.

Сельский сход утих, прислушиваясь к тому, что он еще скажет. Но начал говорить не он, а Денис:

— Если сход не желает продавать, так я за свои деньги в любом месте куплю, — жалеть не буду. Только как люди ко мне отнесутся, так и я к ним. Пусть теперь уж никто не приходит ко мне брать в аренду землю, да и тем, кто мне деньги должен, больше отсрочивать не буду. Вот что!

Сказав это, он отошел в сторону и сел на скамью, стоявшую на крыльце. Потом выступил Рябченко:

— И мне кажется, сход несправедливо поступает с Денисом Филипповичем. Ежели такое дело, так и я

поддержу его: земли никому в аренду не дам, а с долгами церемониться не буду.

— Да и я иначе поступить не могу,— отозвался Остап, следом за ним тесть Дениса, Манойло, а затем — Сучок.

Все эти угрозы, словно молот по голове, обрушились на крестьян. Голова кругом шла.

— Вот так, как сейчас сказали, и я буду поступать с вами! — воскликнул Копаница. — Слыхали?

Крестьяне это очень хорошо слышали, ибо тотчас неизвестно куда исчезли вся смелость, общественный пыл, которые только что их вдохновляли. Стояли нахмурившись, и каждый думал о том, сколько он должен Денису или кому-нибудь из его сторонников; где он найдет денег, чтобы вернуть долг? и у кого он осенью возьмет в аренду землю? где он будет пасти свою скотину?..

— Слыхали,— кричал Копаница,— коли не оглохли? Теперь видите, кого надо поддерживать! Вот что, кто за то, чтобы продать Денису Филипповичу Сивашу землю,— оставайтесь там, где стоите, а кто против — выходите налево, к бревнам.

Зинько, Карпо, Васюта, Грицько и еще человек десять, среди которых были Дмитро, Михайло и Савка, направились налево. Все остальные, преобладающее большинство, стояли молча, опустив головы.

— Люди добрые! — воскликнул Зинько. — Да что вы делаете? Вы же сами себя продаете!

— Молчать! — крикнул старшина. — Что ты мне здесь бунт поднимаешь? Я тебя в холодную посажу. Я тебя к становому поташу!

— Хватит, хватит! — ответил Зинько. — Что это вы все холодной мне угрожаете? Я не бунтую, а правду говорю. Уважаемые граждане! Позор вам, что вы такие трусливые. Разве уж нет в мире правды, кроме как в кармане у богачей?

— Десятские! Заберите его в холодную! — орал старшина!

Десятские неохотно подошли к Зинько.

— Братцы,— обратился к ним Васюта,— не будьте свиньями! Чтоб я сдох, коли первому, кто к нему прикоснется, не заеду по его свиной роже вот этой штукой! — И он поднял свой огромный кулак.

Десятские остановились, не зная, как быть. Но и старшина, видя, что начинается что-то опасное, оставил Зиньку в покое и, словно забыв о нем, обратился к писарю:

— Семен Семенович! Пишите приговор о продаже обческой земли Денису Филипповичу Сивашу!

— Еще вчера написал! — ответил писарь.

— Пусть приложат руку! — приказал старшина.

Два грамотных крестьянина вошли в толпу, чтобы неграмотные прикладывали свои руки к приговору. Обычно расписывались за них и без этого, но поскольку дело усложнилось, старшина приказал поступить именно так. Двое крестьян толкались в толпе людей, которые стояли потупив головы...

Зинько молчал, не зная, что делать, хорошо видя, что здесь уже ничего не добьешься. И вдруг, словно огнем охватило голову, он, не зная как, бросился к Денису и, сжимая кулаки, воскликнул:

— Живодер! Всех проглотить хочешь? Чтоб ты не двинулся с этого места!..

Еще миг, и Зинько ударил бы Дениса, свалил бы его на землю, затоптал ногами. Но Денис, никогда не видевший Зиньку таким разъяренным, испугался и крикнул:

— Господин старшина! Я протестуюсь... Он меня убьет!..

Перепуганное лицо Дениса, его преисполненный страха голос тотчас отрезвил Зиньку. Он опустил руку.

— А, так! — воскликнул старшина.— Десятские! Чего рот разинули, стоите, как столбы... Берите его!..

Но пока десятские подошли к Зиньку, Карпо взял его за руку и увел со сходки.

— Пошли, брат! Теперь нам здесь нечего делать!..

— Ну и сволочи! — ругал Васюта мужиков.— Вот свиное отродье!

— Перевешал бы всех! — мрачно и с возмущением сказал Карпо.

— Такую землю, такую хорошую землю продать! — с сожалением говорил Грицько.

— А мы еще заботимся о них, об общине... а она доброго слова не стоит.

Зинько в ответ ничего не сказал, только тяжело вздохнул, стиснув зубы.

— Все в их руках, точно рыба в сети, вот что! — сказал Грицько.— Захотят — выпустят, а нет — с ухой съедят.

— А там находились и такие, что были свободны от этих сетей, да пошли следом за ними,— произнес Васюта.

— Справедливый человек ничего не испугается, а зловредный, и сам того не желая, причиняет людям зло,— продолжал Карпо.— Зачем же нам заботиться о них, брать на себя лишние хлопоты? Недаром говорится: другому свой ум не вставишь. Вот так и здесь.

— Ах, перестань, Карпо! — с горечью произнес Зинько.— Ты не прав, но об этом в другой раз, потому что сейчас...

Он не досказал, почему ему сейчас так тяжело и горько, что не хотелось разговаривать.

Долго думы в эту ночь не давали Зиньку спать. Не раз и не два приходилось ему неудачно выступать на сходе против этих людей, но никогда он так глубоко не переживал, как в этот раз. И не только потому, что для общины это было очень большое дело и важное для крестьян. Нет, чем дальше, все сильнее и сильнее Зиньком овладевала одна мысль, беспокоившая его: мысль о создании в общине такого порядка, при котором все делалось бы справедливо. Хотелось видеть общину умной, правдивой и дружной. Тогда всем хорошо, счастливо и прекрасно жилось бы. Много думал Зинько над тем, как создать лучшую жизнь для людей, но не мог прийти к чему-нибудь определенному.

Однако он понимал, что прежде всего сам должен всегда поступать так, как ему хочется, и наставлять на этот путь других. Но, наверное, этого недостаточно. Вот и сегодня он и его товарищи стремились сделать добро мужикам, а из этого ничего не вышло...

А победы он вместе со своими товарищами сегодня на сходе — совсем другое дело! Тогда смелее можно было бы противопоставить себя тем, кто хотел сесть им на шею. А теперь будет все хуже и хуже! И надежда на то, что в общине дела улучшатся, пойдут на лад, отодвигалась еще дальше!..

Но все же Зинько не хотел отказываться от этой надежды, не хотел забыть о том, чем была наполнена вся его душа. Ведь правда должна пересилить неправду! Может, не скоро, а все-таки пересилит! Зинько в этом был уверен. И он будет поступать по велению своего сердца, чтобы был прок...

А там, далеко на площади, шумели мужики.

Их шум доносился и до Зинька. Это крестьяне после сходки пили водку Дениса. Пьянея, горланя, пошатываясь и бранясь, они забыли о том, что сами себя добровольно отдали во власть тех, кто стремился превратить их в своих рабов.



Часъ вѣсна



Зажурився соколонько:  
«Бідна моя головонько,  
Що я рано з вир'я виїшов:  
Ніде сісти, гнізда звити,  
Малих дітей розплодити,  
Бо по горах сніги лежать».  
*Народная песня*

I

ГАЙНКА

Гайнка сердилась.

— Плохой, плохой, плохой,— говорила она, отворачиваясь от Зиньки.— И не говори, что хороший,— ты плохой!

— Да я и не говорю, что хороший,— улыбаясь, ответил Зинько, лежа в саду под раскидистым дубом и глядя на нежное, красивое лицо жены, на ее тонкую, словно детскую, фигурку. Она, повернувшись боком, сидела на граве рядом с ним, надула губки, и лицо ее показалось Зиньку таким смешным, что он засмеялся.

— Чего смеешься? — быстро повернулась она к мужу. Ну скажи, чего ты смеешься?

— Потому что ты сердишься.

— А, вот как! Вот как! — воскликнула. — Я сержусь, гневаюсь, а он смеется, радуется! Ну, так я уйду от тебя, уйду!

И уже было поднялась, чтобы бежать, но тут же остановилась.

— Злючка!.. Недобрый!.. Насмехаешься!.. Вот я тебе задам!.. Вот... изобью!..

Бросилась к нему, схватила его за плечи и начала изо всех сил трясти и колотить своими маленькими руками.

— Вот тебе!.. Вот тебе! Чтобы не насмехался!.. Чтобы не насмехался!..

А он хохотал еще сильнее, схватил ее своей сильной рукой, обнял, прижал к груди и стал целовать в глаза, в щеки, в губы.

— Прочь! Прочь! Злюка... Не хочу, не трогай!..

Она отбивалась, отстраняла его, но вскоре утихла, закрыла глаза, наслаждаясь его поцелуями, а потом, наконец вырвавшись, отбежала в сторону, остановилась и посмотрела на него: погонится ли он за ней. Но Зинько и не думал гнаться.

Вернулась, уселась рядом с ним на траве, а он лежал, опершись на локоть, и смотрел, как она своими пальчиками прятала под чепец непослушные русые волосы, короной обрамлявшие разругавшееся лицо.

Ах, эти волосы!..

— Ну, и почему же ты на меня сердишься? — спросил Зинько.

И она стала упрекать его:

— Видишь, подмазываешься, а сам стал каким? Мало когда и дома бываешь: словно перекасти-поле, все гуляешь. Я без тебя жить не могу, а ты забываешь обо мне.

— Глупенькая моя! Почему же я о тебе забываю?

— А потому, что прежде, бывало, как наступит вечер, воскресенье или праздник, мы все с тобой, как орехи-близнецы, — или разговариваем, или читаем, или поем... А теперь!..

— А теперь?

— А теперь ты и вечером и в праздник или сам идешь к Васюте, к Грицьку, или к себе призовешь полный дом людей!

— Почему полный дом, ежели два-три человека придут? Разве они тебе не нравятся?

— Почему? Васюта такой хороший, добрый... и смешной-смешной!

— Ну вот видишь! А Карпо?

— Вот еще, Карпо твой! Катря хорошая, а Карпо твой, как начнет причитывать, словно из книги: «Помни, жено, и вставая, и ложась, и за стол садясь, что грех тебя ловит, и в уста твои входит, и из уст выходит, и к носу подходит!..» Ха-ха-ха!..

Она так смешно копировала Карпа с его наставительным тоном, что даже Зинько засмеялся.

— Что ты выдумываешь? Когда это Карпо так говорил на Катрю: «Жено»?

— А вот говорил, я сама слышала... А мы с Катрей как захохочем!.. А он как рассердится, как стукнет дверь, да из хаты!..

— Ну а Грицько тебе нравится?

— Я Ивгу не люблю! — быстро отрезала Гаинка.

— Так я же спрашиваю не про Ивгу, а про Грицька.

— А Грицька... Грицька мне жаль... Да они все хорошие; только мне не по душе, что из-за них и поговорить с тобой некогда, словно в жатву!..

— Да не особенно-то и некогда,— засмеялся Зинько,— но отчасти ты права, потому что в последнее время столько забот было: то надо было с товарищами посоветоваться, то в город поехать, то еще что-то...

— Вот видишь! Вот видишь!.. А я одна, как та верба в поле.

— Но ты же с матерью... И хорошо знаешь, делаю я это не ради каприза, а в интересах общины, крестьян.

— Ради общины...—начала было неуверенно говорить Гаинка, но Зинько прервал ее, продолжая:

— А ты у меня умная, не такая, как другие женщины, которым безразлично, что творится вне дома. Ты понимаешь, что каждый человек должен беспокоиться об общинном добре.

В умной головке Гаинки вот это — общинное добро — отображалось как туман: белест вдаль, а подойдешь ближе — ничего нет; развеялся, что ли? Но так как Зинько похвалил ее (она очень любит, когда он ее хвалит!), она стала добрее. Во имя этого премудрого тумана, общинного добра... Она ввсвь подседа к Зиньку,

положила его голову к себе на колени, сделалась серьезной и произнесла:

— Оно конечно, если общинные дела, так надо... Только, знаешь, Зиня, было бы лучше, если бы ты уделял им столько времени, сколько ночь тянется в жатву, а нам обоим — сколько летом длится день.

Зинько засмеялся.

— Моя голубка! Вот как нам удастся отвоевать эту землю, тогда все будет хорошо. Моя родная!

Она громко засмеялась, осыпая его лицо и голову дождем цветов, сорванных только что в низине на лугу.

— Сегодня ты недолго будешь у Грицька? — спросила.

— Нет, не долго.

— Смотри же! Не сиди до полуночи! У-у! Я из-за тебя только цветы свои разбросала!

— Видишь, вот брат и сестрица: это брат на сестре женился... Боже, какой грех! А потом, когда расспросили, кто они, так брат и говорит:

Ходім, сестро, горою,  
Разсіємось травою:  
Ой ти будеш синій цвіт...  
Будуть дівки квітки рвать,  
Нас з тобою споминать...

... Я говорю, а они, может, и слышат меня!..

— Разве цветы слышат? — спросил, смеясь, Зинько. — Ведь они неживые.

— Сказал, неживые!.. А почему, если груши и яблоки не плодоносят, дедушка берет топор в сочельник, подходит к дереву и грозит: «Если не будешь родить, срублю и брошу в печь, а пепел по ветру развею!» Так оно испугается — и родит.

— Это же сказка. Вот попробуй-ка, обратись к этому дубу, пусть он скажет, поймет тебя или нет.

— А может быть, и поймет. Береза хвасталась своей корой, да и говорит дубу: «Давай меняться!» А дуб ей в ответ: «Не хочу: меня только кора на свете и держит».

— Так они еще и разговаривают?

— Ясно! Деревья между собой говорят. Был один человек, который умел понимать разговор зверей, птиц, трав... Бывало, идет он, а они, травы, между собой и переговариваются: «Я,— говорит одна,— от того». А другая: «А я от этого...» — «Я от головной боли...» — «Я от любви...» Так и разговаривают... больше всего

ночью. Травка к травке склоняется, травка с травкой говорит... У-ух! Удивительно и сграшно, как подумаешь!

Она вздрогнула.

— Почему тебе страшно?

— Оно не то, чтобы было страшно... а так... как вот на пасху все люди и батюшка стоят перед церковью, перед закрытой дверью и восклицают: «Христос воскрес!» А оттуда, словно с того света: «Воистину воскрес!» Да и открывается дверь... Ох!.. И удивительно, и страшно, и радостно!.. Каждая травка на свете жива... Вот ходишь и думаешь, что она точно камень, а она, оказывается, живая: и слышит, и понимает... И земля слышит, и трава слышит, и дерево слышит... а мы их не слышим... Может, и они нас не слышат, а только себя... И я среди них точно былинка, маленькая былиночка...

Она закрыла глаза и снова вздрогнула.

— Чего ты?

— Мне показалось, что я травка.

— Милая моя, все это сказки. На свете все не так, как ты думаешь.— И Зинько начал ей рассказывать о том, что он прочитал в книгах, в которых описывается жизнь растений.

Гаинка мечтательными глазами смотрела на него, слушала молча, и ей казалось, что она такая махонькая-махонькая травинка в этом огромном мире!.. Такая махонькая!.. Кто-то придет, сорвет ее, и ей будет больно-больно!.. Эх, эти былинки, цветочки, что растут, цветут посреди долины!

— Зинько, скажи, почему это: иногда петь совсем не хочется, а порой песня сама складывается.

— Что складывается?

— Песня... Вот, говорят, на море есть чудесные морские девы — они хорошо поют... Всплывают они на волны — красивые-красивые... А как запоют, море тотчас и утихнет... Слушает... А люди ходят вдоль берега и тоже прислушиваются к песням, да и сами поют... Так, говорят, и песни на свете появляются... А я вот дев морских и не слыхала, а песни складывать могу...

— А как это?

— Да... вот... Ну вот, гляжу на что-нибудь или вспоминаю о чем-то, а слова нанизываются и плывут... и складывается песня...

Она закрыла глаза и тихо начала петь:

Ой, билиночка до билиночки прихлялась,  
А до милого та милесенька пригорталась.  
Травка хилиться та синенькими квітоньками,  
Мила дивиться та ясенькими оченьками.  
У двох будемо, ой, билинонько, процвітати...  
У двох будемо, ой, милесенький, пробувати!..

Вот видишь, это о тебе и обо мне песня.

— Так ты еще и песни складываешь?

— Разве я ее складывала? Ведь она сама... Вот так начнет слово к слову... нанизываться, словно нить бус... а потом получается что-то...

Зиньку понравилось это. Он начал просить Гаинку, чтобы она еще что-нибудь спела. Но она вскочила на ноги и замахала руками.

— Нет, нет! Не хочу!.. Это тогда, когда само в голову придет...

— Гаинка! Гаинка! — послышался голос в саду. — Где ты?

— Мать зовет, — промолвила Гаинка и побежала в дом.

Зинько остался один. Было воскресенье, он отдыхал; лежал недвижно и глядел перед собой. Его хата и сад находились на холме, откуда было видно почти все село. Беленькие хатки с темными и желтыми соломенными крышами выглядывали, весело улыбаясь, из небольших садов, которые зеленели чуть ли не в каждом дворе, — точно нарядные девушки, вышедшие на улицу. У некоторых хат копошились крестьяне: одни суетились во дворах, другие медленно прохаживались по улице или сидели на завалинке и разговаривали.

Высоко поднимались огромные развесистые вербы; широко раскинув свои ветви над хатами и садами, они зеленели на фоне голубого неба. Их было так много, что они закрывали часть хат, и все село казалось садом-дубравой, посреди которой были построены крохотные жилища людей.

Приближается вечер. Солнце уже не жжет, а только нежно греет, ветер стих, ни один листочек не затрепещет.

Деревья стоят не шелохнутся, склоняясь над селом, словно задумались о чем-то. Все село погрузилось в

тихий праздничный покой — покой-отдых, такой дорогой для трудового крестьянина.

«Как чудесно! Какая тишина!.. — думал Зинько. — Как красиво вербы склонились, будто смотрят, что делается внизу, в этих хатах, на улицах, и тоже радуются, что люди отдыхают, что им отрадно и легко. Изумительные деревья — даже радостнее становится, когда они склоняются над тобой! И хорошо жить под сенью тихих верб, вдоволь потрудившись и отдохнув!»

— Зинько! Хочешь полдничать? — крикнула Гаинка из-за деревьев.

— Не хочу, я сейчас уйду.

Поднялся на ноги и глянул прямо перед собой.

Внизу за садом широко раскинулся большой зеленый луг, на котором узенькой тропкой извивалась река, то ярко поблескивая на солнце, то скрываясь под склонившимися вербами... Вон изогнулась коленом и скрылась, только камыши указывают ее путь — далеко-далеко протянулись они серо-зеленой стеной туда, вдаль, где на горизонте, словно туча, темнеет огромный лес. Широко и красиво, и любо глянуть!..

Однако надо идти!

Он поднял с земли и набросил на плечи свитку, взял брыль и пошел. Не заходя в дом, пересек подворье, вышел на улицу. Закрывая ворота, остановился на миг, оглядывая свою усадьбу.

Хорошая, большая усадьба! Еще отец построил здесь дом, а Зинько только кое-что пристроил. Рядом с огромным овином — большая кладовая, а дальше — хлевы и сарай; чуть подальше — хата, за которой простирался на взгорье их сад. Во всем дворе вдоль плетня зеленели деревья, хоть и не фруктовые. Многие из этих деревьев Зинько посадил еще при жизни отца и теперь глядел на них, восхищаясь плодами своего труда. А цветник возле хаты — это уже дело рук Гаинки. Столько цветов, что и ступить скоро негде будет. Не разрешает и близко телегой подъехать: останавливайся подальше! Королевский цвет, желтые ноготки, стелющийся барвинок с голубыми цветочками, возвышаются красные георгины, и синенькие вьюнки оплетают их... Вон звездочки краснеют, а вон куст роз... Чтобы не повредить Гаинкиных цветов, Зинько перед домом поставил низенькую, но красивую изгородь... У самого крыльца посадил хмель.

Хмель так буйно разросся, что закрыл крыльцо и пополз на хату... Ветки огромного клена и хмель так закрыли крышу, что хата казалась зеленой. Васюга говорил, что у Сивашей хата и ветвистая, и зеленая... и глазастая,— потому что у них большие окна...

Закрыв калитку, Зинько ушел в село...

Не сидела дома и Гаинка. Как только Зинько вышел из дома, она быстро надела юбку и побежала к бабе Мокрине, жившей на Завалиевке. Она была известной в селе знахаркой. Заболел ли кто, утратил ли что, или какой-нибудь девушке нужно приворожить любимого, заставить его полюбить — все шли к ней, к бабке Мокрине. Хотя она и старая, но проворная и отлично видит,— от нее не утаишься. А коль пришел к ней, не вздумай лгать, она сразу распознает ложь,— тогда уж ни за что не поможет. «Уходи, уходи! — скажет.— Я не хочу помогать тем, кто меня обманывает. Надобно правду говорить, я не люблю лжи. Упаси боже, ох как не люблю! Сама никогда не вру, пускай и мне никто не врет».

И если рассердится старуха за ложь, то ничем помочь не захочет, и не проси! Если кто-нибудь богат и ей много заплатит, тогда, может, и смилостивится...

Поэтому все, кто ходили к старухе Мокрине, всю правду ей выкладывали, будто на исповеди. И если она что говорила, то к каждому ее слову прислушивались; а уж верили ей — попу и то так не верили!..

И Гаинка ей тоже очень верила. Конечно, Зинько говорил, что бабка Мокрина ничего не смыслит, только дурачит людей...

Гаинка знала, что Зинько умный... очень умный!.. По ее мнению, во всем селе умнее его нет, ибо она сама видела, что Зинько с кем угодно может поговорить: с писарем так и с писарем, с попом так и с попом... и с паном... и с каждым. А как умно он говорит, даже страшно!.. И никто так хорошо книг не читает, как Зинько... Это верно, верно... Ну... ну а то, что он ворожеям и в существование ведьм не верит,— ошибается... Ох, и как ошибается!

Что и говорить! Ведь всему миру известно, что ведьмы коров доят, и даже из сохи молоко доят, и в трубу летают,— это каждому известно, хоть кого спроси!.. А разве мало людей видело, как они превращаются в собаку, в свинью или в копыу сена?.. Это

даже дядя Охрим видел и Петренко... А в Черноусе шел однажды один парень, а она — в виде огромной белой собаки... и положила ему лапы на плечи... Он схватил ее за лапы, притащил в хату, да и отрубил их... — ох боже, какой же он немилосердный!.. — и тогда отпустил... Вдруг утром посмотрел, а у вдовы-соседки пальцы надрублены... Да что и говорить!.. Ведь каждому известно!.. И о ворожеях известно, что они правду говорят и людям помогают!.. Нет, уж тут Зинько ошибается.

Да хотя он и ошибается, все же она боится признаться ему в том, что к старухе Мокрине ходит. Он бы ее высмеял и столько бы наговорил! Ой-ой-ой!.. Да и самой стыдно подумать!..

Стыдно?.. Нет, не стыдно... а так... как-то...

Ей и самой не очень-то хотелось... Вернее, раз хочется, а другой раз нет. Конечно, когда она увидит Катрю, свою подружку, как та ребенка ласкает и учит ходить, и ей тоже почему-то хочется ребенка учить ходить, — только своего ребенка, не чужого... И целовать его... такого маленького... Целовать его в щечки, в глазки, в носик, в ножки, ручки и прижимать к себе — сильно, сильно!.. А он размахивает ножками и ручонками...

Пручается рученьками,  
Всмѣхается оченьками,  
А озветься губоньками...  
Такий хорошенький...

А когда сильно плачет и запачкается, нужно его помыть и перепеленать, — ну, это уже нехорошо!..

Зиньку очень хочется иметь сына!.. «Хоть махонького», — говорит, улыбаясь. Махонького! Нет, она махонького не хочет: уж коль сын, так чтоб был красив!.. Но где она его возьмет, если нет?

А как ей хочется угодить мужу!.. Она стала расспрашивать у людей, а Катерина ей и посоветовала: «Пойди, говорит, к бабке Мокрине — пособит». — «А разве ты ходила?» — «Нет, мне не надо было... Люди говорят».

Ну что же, чтобы угодить Зиньку, нужно пойти... Хотя он, нехороший, наверное смеялся бы, если б узнал!.. Ох и смеялся бы!..

Да ничего! Знахарка сказала ей, что поможет. Она уже давала ей пить какое-то зелье и велела, когда кон-

чится, прийти,— еще даст. Вот теперь она и идет. Уж что будет, то будет! Тогда не Зинько будет над ней смеяться, а она над ним. «А что, скажет, не веришь ворожеям? А вот тебе и сын!..»

Чтобы сократить путь, Гаинка легко перескочила через плетень, только бусы забренчали, и пошла через огороды и сенокос. Закричала кукушка.

— Кукушка, кукушка! Сколько мне жить?

Остановилась и стала считать. Кукушка прокричала пять, десять раз — и так, без перерыва, до тридцати трех.

— Ой-ой-ой! Как много! Это хорошо! Ведь на свете хорошо жить!

А вот той, наверно, плохо было, что ее кукушкой сделали. Как же это случилось? Княжна влюбилась в казака. А князь не знал об этом, а если бы и узнал, то в темницу посадил бы дочь...

Ой, завдав би у темниченьку  
Свою дочку единиченьку.

Так они, бывало, встретятся в дубраве тайком, сядут под дубом, целуются да обнимаются... То смеются, радуясь своей любви, то плачут, сетуя на свою несчастную судьбу. А сами — как солнышко... А отец-князь брел по дубраве, словно черна туча... Он уже все знал!.. Казак, не предчувствуя беды, и говорит ей: «Ты моя кукушечка!» — и обнял ее. А князь в это время бросился к ним, да и крикнул: «Будь же ты навеки проклятой кукушкой!» Вот она крылышками взмахнула, да и улетела из рук казака... Летает теперь она птицей-сиротой и плачет... Боже, какая у нее несчастная судьба! Почему обо всем много песен поют, а про кукушку — нет? Вот хорошо было бы и про нее песню сложить!..

Не всі тії сади цвітуть,  
Що весною розвиваються,  
Не всі тії заміж йдуть,  
Що любляться та кохаються!  
Одна така та князівночка  
Та в козака закохалася,  
У гайочку та в зеленому  
Цілувалася-милувалася...

— Ой, боже мой! Что это я? — прервала себя Гаинка.— Не глупая ли я! Посреди чужой левады стою и

песню пою. Да и замешкалась как!.. Надо бежать поскорей!..

Она торопливо пересекла сенокос, подошла к журчащему ручейку. Это хлопцы, наверное, затащили куда-то мостки, что были положены здесь. Гаинка остановилась.

— Как же он весело журчит!.. Водичка, водичка святая! Скажи мне, хорошо ли тебе жить в твоей подземной хате? Откликнись!.. Молчит, не откликается... Наверное, я грешная, что вода не хочет со мной разговаривать.

Она сняла черевички и побрела через неглубокий, чистый, как слеза, ручеек, протекавший под густыми вербами и высокими тополями. Гордо поднимались вверх к небу тополя, а вербы, наклонясь над ручейком, задумчиво вглядывались в него.

— Ф-фу! Как засматриваются в воду на свою красоту! Словно дивчата... Краснвые-красивые!.. Довольно вам уже смотреться! — произнесла Гаинка, перейдя ручеек. Затем она надела черевички и пошла дальше.

Вскоре она уже шла по улице. Вот и хата бабки Мокрины видна.

Ой! Что-то она скажет Гаинке? Хорошо, если что-нибудь доброе, а если нет? А Зиньку непременно, непременно нужен сын! Ведь как же ему, бедному, без помощника? Непременно!..

## II

### ИСКУШЕНИЕ И ТРУД

Зинько шел к Грицьку Момоту.

Обычно товарищи собирались у Зинька, но их постигло неожиданное горе: Грицько вывихнул себе ногу и должен был сидеть дома. Это случилось так: Панас и Иван Момоты все время грозились собрать рожь с десятины земли, из-за которой они ссорились с Грицьком. Однако они не успели это сделать. Грицьку помогли товарищи: Зинько, Васюта, Карпо, да и сам Грицько как взялись вчетвером — так сразу рожь с поля и перелетела на ток Грицька; Панас только тогда узнал об этом, когда мальчишка соседа влетел в его дом и сказал ему. Он выбежал из хаты, схватил дубинку и помчался по улице ко двору Грицька. Прибежал, когда последние возы уже в ворота въезжали. Стал у ворот, поднял дубину.

— Назад! Назад!.. В мой двор везите!.. Моя рожь!.. Голову разобью!..

И стал размахивать дубинкой так, что к нему и впрямь страшно было подойти. Собрались люди, стали уговаривать его, а он все орал:

— Не подходи! Убью!.. Дубину на твоей собачьей спине переломая, чтоб ты и света божьего неувидел!..

И бросился с дубиной на Грицька. Они стали бегать вокруг возов: один не убежит, а другой не догонит. Вдруг Грицько споткнулся и упал. Панас подбежал, замахнулся дубиной... Все так и застыли: вот убьет! К счастью, Васюта подбежал сзади, схватил Панаса, да и повалил его наземь, а тут люди подоспели, отняли у него дубину и самого увели прочь. Он вырывался и кричал:

— Отпустите!.. Я им головы размозжу!.. Порешу их!.. Уничтожу!.. Пустите только!..

Затем и говорить даже не мог, только хрипел да от злости весь дрожал.

Тем временем возы въехали во двор, а Панаса люди отвели домой.

Падая, Грицько вывихнул себе ногу, и она долго у него болела, все не мог на нее стать.

Поэтому Зинько и пошел к нему.

Уже прошло три месяца с тех пор, как начались споры из-за земли, сданной переселенцами общине, а дело до сих пор еще не распутали. На следующий день после сельского схода Зинько узнал, что сам писарь вместе с десятником ходят по хатам к грамотным мужикам, отсутствовавшим на сходе, и принуждают их подписывать постановление общины. Дальний родственник Зинька, которого он однажды выручил из беды, служил в волости писаришкой. В благодарность за это тот переписал для Зинька постановление схода с подписями всех граждан. Среди этих подписей Зинько обнаружил несколько фамилий людей, которые давно уже не жили в селе, и даже одну фамилию давным-давно умершего... Кроме этого, за некоторых грамотных крестьян Рябченко расписался как за неграмотных. Зинько видел, что это уже мошенничество, но, зачем так сделали, вначале не понял. Не понимал и того, что вместо одного постановления написали три и что землю Денису продавали не всю сразу, а по частям, и даже не в один день. Зинько поехал в город и приобрел там себе книгу с законами.

Долго он перелистывал, искал, мало в чем разбираясь, но наконец все-таки докопался, почему именно так сделали в волости. Нужно было, чтобы обязательно две трети всей сельской общины согласились продать землю, а если такого количества не было, продавать ее нельзя. Поэтому и приписали они тех, кто выехали из села, и мертвого — чтобы больше было людей. А когда не хватило этих подписей, то приписали и грамотных, которые не хотели расписаться, а за них Рябченко поставил свою подпись, как за неграмотных. Теперь постановление, казалось, было законным, но это только казалось так тем, кто не знал, чьи там поставлены подписи. А то, что составили три решения о продаже земли, волостное начальство мудро придумало: если общиной продавался большой надел земли и за это выплачивалась значительная сумма денег, тогда надо было получать разрешение от министра в Петербурге. А если разбить ту же землю на три части, то сумма денег получалась небольшая, и решение о продаже ее утверждалось в губернии. Очевидно, Копаница вместе со своими друзьями не предполагал, что к этому можно в какой-то степени придаться, потому что, казалось им, они оформили все хорошо, по закону.

Зинько, разобравшись во всем сам, затем рассказал об этом и своим товарищам. Посоветовавшись, они решили подать жалобу начальнику, подробно изложив суть дела. Как умели, так и написали. Зинько сам отвез ее в город и лично подал начальнику. Тот расспросил обо всем, сказал, что дело разберет, и посоветовал Зиньку вместе с товарищами не беспокоиться и ждать ответа. После этого друзья узнали, что старшину вызывали в город к начальнику, а Дениса позже то ли вызывали, то ли он сам ездил туда. Как и что там происходило, Зинько об этом ничего не знал до тех пор, покуда благосклонно относившийся к нему писаришка украдкой дал ему копию письма, которое волость направила начальнику о Зиньке. В письме было написано, что Зинько неблагонадежный человек, что он вносит беспорядок в жизнь общины, возмущает молодежь против почтенных людей и все время подстрекает народ к непослушанию: не уважает начальство и будто бы часто говорит: «Наплевать мне на ваше начальство!» А оное неуважение к начальству, — сказано было в письме, — «не только в исказании

вышеупомянутых ругательств указывается, но даже и во многих других поступках ругательных и соблазнительных, о которых даже неудобно и поносно в служебном репорте выражать. Которая его жалоба на общественный приговор ни от чего, только от вышеупомянутой развратности и поносности проступков произошла».

Зинько, посоветовавшись с товарищами, осмелился поехать к начальнику, чтобы выяснить суть дела. Начальник принял и тут же набросился на него:

— Ты народ возмущаешь! Ты развратничаешь! Тебя под суд!

Начальник кричал долго и много, а Зинько все слушал. Когда же начальник устал, тогда Зинько и заговорил:

— Если под суд, ваше высокоблагородие, то и под суд, лишь бы было за что. А что, если, ваше высокоблагородие, под суд меня отдадите, а окажется, что старшина меня оклеветал?

— Как оклеветал? Разве он позволит клеветать? Он присяжный человек, он не может врать!

— Да и черноусовский старшина тоже был присяжным, а сослали его в Сибирь за кражу общественных денег,— спокойно ответил Зинько.

— Что? Как? — воскликнул было начальник — и тут же умолк, отвернулся и пробормотал: — Ну, это другое дело!..

— Лучше всего,— продолжал Зинько,— прошу ваше высокоблагородие — произведите следствие. Пускай все старые люди, пусть весь сельский сход скажет: правда ли то, что обо мне написано? Пусть докажут, когда и кому я говорил что-нибудь или делал плохое. Тогда и видно будет, в чем я виноват.

Начальник посмотрел на Зиньку, подумал...

— Ну, хорошо,— говорит,— я скоро буду у вас и все сделаю.

И действительно, вскоре он приехал в село. Собрал сход и стал расспрашивать у людей о Зиньке: не призывает ли он к непослушанию людей, и в чем это выражается, как он живет и что он за человек. Рябченко и Манойло начали было ругать Зиньку, но другие тут же оборвали их. Мужики теперь почувствовали, что поступили неправильно, продавая землю Денису, что Зинько был прав, и им было стыдно еще и наговаривать на

человека что-то плохое. Все отзывались о Зиньке хорошо, а Рябченко и Манойло хотя и бранили его, но ничего дурного о нем сказать не могли. На этом беседа и закончилась. Начальник уехал, ничего не сказав Зиньку.

Наши друзья думали, что теперь дело о продаже земли будет передано туда, куда нужно. Однако из города ничего не было слышно. Денис и старшина еще несколько раз ездили в город,—прилагали все усилия, лишь бы выиграть дело. Но что именно они там делали, Зинько и его друзья не могли узнать. По-видимому, отступить они не собирались.

Зинько медленно шел по улице и ломал голову над тем, что же ему делать. Времени для раздумий было достаточно, потому что он шел не сразу к Грицьку, а хотел вначале зайти к своему родственнику, писаришке, и расспросить у того, не известно ли ему что-нибудь по этому делу. Расспросил, но и тот ничего не знал. Теперь он возвращался из противоположного конца села снова на свою улицу, направляясь к Грицьку.

Вдруг услышал шум, пение, музыку. Прислушался.

«Это, наверное, свадьба у Хоменка»,—подумал он. Пройдя еще немного, увидел, что это и в самом деле свадьба. Во дворе и возле него собрались люди. Одни, столпившись в сторонке, наблюдали; другие сидели на завалинке у хаты. Тут же, на завалинке, сидели музыканты и изо всех сил играли. Две пары девушек и парней лихо отплясывали. За толпой людей Зинько видел только их головы и плечи, но вдруг люди расступились почему-то, и он увидел танцоров. Среди них сразу заметил высокую красивую женщину—это была Ивга, жена Грицька. И она, поворачиваясь, вдруг заметила его и, казалось, на миг остановилась.

Толпа пьяных людей вышла со двора и, покачиваясь, поплелась по улице. Чтобы обойти их, Зинько свернул к знакомому крестьянину во двор: оттуда можно было пройти через огород на луг, выйти к своей хате или на окраину села, к Грицьку. Во дворе встретил хозяина и, разговаривая, немного задержался с ним. Потом тот провел его через свой сад. Попрошавшись, Зинько перескочил через тын и, минуя огороды, пошел по лугу, по протоптанной людьми дорожке.

Шел склонив голову, задумавшись, не глядя по сторонам. Вдруг услышал:

— Зинько!

Огляделся — и увидел перед собой Ивгу.

Несколько верб, росших вокруг колодца, образовали укромное местечко, скрытое от человеческих глаз. Здесь проходила тропинка, на которой сейчас стояла Ивга. Высокая и стройная, хорошо одетая, с обилием блестящих бус и дукачей, она вся сияла яркими цветами на фоне серебристо-зеленых листьев вербы. Раскрасневшись от бега и от выпитого вина, она стояла перед ним румяная, часто дыша, так что ее тонкие ноздри раздувались, а грудь высоко поднималась под расстегнутой корсеткой. Она смотрела на него смелее, чем обычно, пожирая своим страстным, обольстительным взглядом.

— Зинько! — сказала она.

И Зинько почувствовал, что его будто обжег этот страстный взгляд.

— Что? — спросил.

— Ой, не отдышусь!.. Бежала... видела, что ты сюда пошел... Хотела встретить тебя...

— А что, у тебя ко мне дело есть? — спросил Зинько, чувствуя какую-то тревогу.

— Дело... О, да еще какое! — И она подошла к нему еще ближе. — Разве ты не видишь какое? Неужто слепой?..

Она умолкла на мгновение.

— Разве ты не видишь, как я страдаю по тебе?.. Что я днем и ночью только и мечтаю о тебе?.. Твои глаза, твои брови...

Она наклонилась к нему, произнося эти слова с безумной страстью, и от всего ее молодого, сильного тела повеяло на Зинька жгучим пламенем.

И вдруг она обняла его за шею, прижимаясь к нему грудью и вся дрожа, впилась в его губы своими губами... Он почувствовал, что у него туманится голова... но только на миг... А затем он обеими руками взял ее за плечи, оттолкнул от себя и воскликнул:

— Ивга! Ты что, с ума сошла? У тебя же муж!..

— Что мне муж? Я ненавижу его, а тебя люблю! — И она снова протянула к нему руки.

Однако он резко отстранил ее в сторону и, обходя, произнес:

— Грешно тебе, Ивга, так говорить! Я этого не допущу!

И он быстро пошел, скрываясь за вербами на лугу. А она, вся дрожа, глядела ему вслед, протянув вперед руки.

— Зинько! — воскликнула. — Вернись!

Он даже не оглянулся.

Она постояла немного — как будто надеялась, что, может быть, он вернется. А потом сжала кулаки и, грозя, воскликнула:

— Ну, погоди ж ты! Я тебе...

В этот момент ей сдавило горло, и она, как стояла, так и повалилась на землю, прижав руки к груди...

Сжав зубы, стараясь сдерживаться, громко всхлипывала и вздрагивала всем телом...

Наконец стала успокаиваться, утихла...

Не одного мужчину она любила, но ни один так не ранил ее душу, как Зинько.

Вот и недавно — Микита Тонконоженко. Каким он казался ей красивым, пока она не увидела Зинька... А теперь ей Микита проходу не дает, напоминает о прежней их любви, а она уже терпеть его не может...

Она привыкла к тому, что кто ей ни приглянется, тот и ее. А вот он один не посмотрел на нее ласково, равнодушен к ней, — и, может, поэтому она и полюбила его так, как еще никого не любила.

Она не впервые пыталась осторожно обратить его внимание, заговаривала с ним, однако он словно не видит, словно не слышит, не понимает ее!..

А сегодня... Она и сама не знает, как это случилось... Она не могла сдержаться, ее всю охватило безумное желание броситься к нему и целовать... целовать... как только увидела его там, на улице... И вот теперь...

Неужто его сильно очаровала эта пигалица Гаинка и он не видит, что она, Ивга, красивее, интереснее ее? Или он боится жены? Нет, он не из трусливых... Значит, любит ее!..

Она снова застонала, стиснув зубы...

Если любит, что с ним поделаешь!

Неужто забыть его? Неужто не добьется своего?

Если она не очаровала его своими глазами, то очарует чем-то иным. Есть же зелье... Она пойдет к бабке Мокрине — та даст ей... даст такое, что если он выпьет, то сразу от Гаинки отвернется и придет к ней, к Ивге. Он будет бегать за ней так же, как другие бегают... Вот

тогда уж не оттолкнет ее, как оттолкнул сегодня! Тогда уж она будет властвовать над ним!..

И чем больше она задумывалась над этим, тем более убеждалась, что ей следовало пойти к бабке Мокрине. А раз Зинько бывает у них в доме, то легко будет дать ему выпить или съесть зелье...

Эта мысль успокоила ее.

Поднялась, отряхнула платье. Затем подошла к колодцу и умылась холодной водой, чтобы не было видно, что она плакала. Немного прихорошилась и пошла. Уходя от колодца, увидела вдали какого-то мужчину, идущего по дороге. Показалось ей, что это был Рябченко. Но она не задумывалась над этим. Перескочила через тын и снова пошла на свадьбу.

Зинько пришел к Грицьку, когда все уже собрались; Грицько лежал на полотах с вывихнутой ногой, а на скамье сидели Карпо и Васюта. Они тотчас же начали говорить о деле Дениса.

— А видели? — спрашивал Карпо. — Денис уже начал пахать переселенческую землю.

— Неужто?

— Сам видел. То выжидал — боялся, наверное, — а теперь уже осмелел.

— Значит, он уверен, что выиграл, — сказал Зинько. — Если бы он был не уверен, не пахал бы.

— Ого-го! Он теперь, съездив в город, так задрал морду, что и ухватом не достанешь! — сказал Васюта. — Только надо заставить его снова ее опустить.

— Проучить их надо, — произнес Карпо, — хорошо проучить, потому что они совсем рассобачились, словно те псы.

— Да, проучишь их! — ответил Грицько. — Если у них этот проклятый Рябченко такой премудрый, что и сквозь решето пролезет.

— Ну и человек! — качнул головой Васюта. — Должен был бы черт вылупиться, а петухи запели — уродился человек. Так и подкапывается, так и вертит, словно тот рогатый анциболот в чертовом логове.

— Васюта!.. — крикнул Карпо.

— Не буду!.. Ей-ей, не буду!.. Чтоб ему пусто было!..

Васюта умолк, сел и начал покручивать свои белесые усники.

— Говори, Зинько, как ты думаешь? — спросил Грицько.

— По-моему, — ответил Зинько, — нужно подождать до покрова: в этот день истекает срок его аренды. Если и тогда он не передаст землю общине, мы направим жалобу губернатору.

— А если и губернатор ничего не сделает? — спросил Карпо.

— Тогда дальше... в синод!.. — ответил Грицько. — Хоть царю!.. Пускай Зинько пишет!

Карпо, сидя в конце стола и опираясь на свою костлявую огромную руку, покачал головой.

— Нет, не так их надо проучить, не так!

— А как же?

— Говорите и делайте уж вы, а коль вам не повезет, тогда я свое слово скажу.

Стали говорить о жалобе и в конце концов договорились, что писать ее обязательно надо, она должна быть готова. Сразу после покрова, не теряя времени, необходимо направить ее в губернию.

После этого заговорил Грицько:

— Вот что, братцы: одолжил я у вас двадцать рублей... Спасибо вам за вашу доброту, вы очень меня выручили!.. Теперь я немного заработал, немного хлеба продал и могу вам возвратить долг.

Он вытащил кошелек, расшнуровал его, вынул оттуда два червонца и положил перед собой на полати.

— Большое спасибо вам, возьмите сами, а то я не могу подняться!.. Возьми, Васюта!

Тот взял деньги.

— Э, братец! — воскликнул Васюта. — Так не годится! Мы тебе давали большими и белыми, и сколько их было... что, пока я донес, у меня чуть спина не треснула! А ты даешь только два маленьких желтеньких кружочка! Я так не хочу.

— Бери, когда дают! — ответил, улыбаясь, Грицько.

— Нет, не хочу!

— Да и я не хочу! — отозвался Зинько. — У меня возникла мысль, — не знаю только, понравится ли она вам. У нас теперь, благодаренье богу, нет такой нужды в деньгах; хлеб уродил, так что жить можно. Наверное, можно и так обойтись, чтобы не брать сейчас вот эти двадцать рублей, а направить их на одно доброе дело.

— А ну-ну, на какое? — заинтересовались товарищи.

— Вот вы сами убедились,— продолжал Зинько, что эти деньги сделали благое дело: человеку помогли, и он почувствовал себя тверже, независимо, и уже не боится кулаков, отстаивает общинные интересы. Теперь-то у нас дела неплохи, да и люди к нам по-иному относятся. Ну а может так случиться, что нам понадобятся деньги и нужна будет помощь, как вот Грицьку. И было бы хорошо, если бы мы всегда могли помочь товарищу, чтобы он не ходил кланяться мироедам.

— Так что же? И поможем, коли в этом нужда будет,— сказал Карпо.

— То-то и оно: коли нужда будет! Вот потому давайте этих денег не брать, пускай они считаются нашими общими. Пусть каждый даст по пять рублей, и мы эти деньги положим в кассу в городе... Там есть такая сберегательная касса, и если в ней деньги лежат, то еще на них и проценты растут. Вот и на эти деньги будут расти проценты. А коль скоро кому-нибудь понадобятся деньги, пусть возьмет их все или сколько надо.

— Только пусть он и тот процент, что касса, платит: тогда деньги у нас будут не уменьшаться, а увеличиваться,— посоветовал Карпо.— Если деньги давать с процентами, то человек быстрее возвратит их.

— Нет,— ответил Зинько,— может быть, и не этот процент, а немного меньше.

Мысль эта всем очень понравилась. Грицько сказал, что он присоединится к ним. Сейчас у него денег нет, но он просит Зинька: пусть одолжит ему пять рублей из тех денег, что он ему возвратил, и положит за него в кассу. А как только он подзаработает, тотчас ему возвратит. Зинько согласился.

— Жаль только, что у нас денег немного: всего двадцать рублей,— сказал Зинько.

— Но где же нам взять больше,— произнес Карпо.

— Это верно,— согласился Зинько.— Нужно постараться, чтобы у нас товарищей было больше.

— О, у меня и сейчас есть такой товарищ,— воскликнул Васюта,— очень хороший человек, намного лучше меня! Дмитро Василенко. Он мне и родственником приходится... Как говорят: молодец хоть куда!.. Человек он ладный... а того, что с хвостом, не любит вспоминать... (Васюта подмигнул Карпу.) Он уже давно меня спраши-

вал, нельзя ли и ему прийти послушать, когда книги читаем, да я все забывал сказать, потому что у меня голова дырявая стала, как старое решето... И просил, чтобы читать его научили.

— Что ж;— произнес Карпо,— Дмитро и вправду человек хороший; он и на сходке нас поддерживал.

— Я тоже думаю, что его следует принять,— согласился Зинько.

— Он и деньги внесет в нашу кассу... Только скажу ему, сразу даст пять рублей,— уверял Васюта.

— А читать я его научу,— сказал Зинько.

— Да разве такой старый может научиться? — спросил Грицько.— Ведь ему же столько, сколько и мне, лет тридцать пять, а может, и больше.

— А почему не научиться? Лишь бы захотел!

Грицько немного подумал, а затем робко произнес:

— Может быть, тое... может быть, и я?.. Может, Зинько, ты и меня принял бы да сразу обоих и учил?

— С удовольствием! — обрадовался Зинько.— Надо, чтобы в нашей общине все были грамотными. Тогда мы не будем вслепую ходить, а пойдем с открытыми глазами в широкий мир лучшую долю искать.

У всех четверых товарищей на сердце стало радостно и легко. Они радовались тому, что так хорошо складываются у них дела, и дали друг другу слово никогда не расставаться, искренне поддерживать друг друга и в общине бороться за правду. А деньги поручили Зиньку отвезти в город и положить их в кассу.

Затем Грицько стал рассказывать о своем суде с братьями за ту несчастную десятину. Его дела складывались хорошо. Панас судился с ним. Всех троих братьев вызвали в суд. И старшина и судьи были склонны, чтобы отобрать у Грицька землю, потому что перед этим Панас хорошенько их угостил. Ну и что же? Грицько им говорит: «Если присудите отобрать у меня землю, буду жаловаться выше». Они повертелись, повертелись, да и сказали: «Мы не можем вас рассудить, подавайте повыше!» Да они рассудить-то могут, но не хотят. Им неудобно присудить землю Грицьку, получив взятку от его братьев, и в то же время они боятся, что Грицько будет жаловаться в высшие инстанции, если решение суда будет не в его пользу.

Грицько говорил правду. Копаница, впутавшись в неприятную историю с землей Дениса, не хотел пока что вмешиваться еще и в это дело,— поэтому хотя и получил хороший куш от Момотов, однако земли Грицька им не отдал. За это Момоты страшно разгневались и на него и на брата.

— Теперь они так злятся на меня, так злятся, что куда там! — рассказывал Грицько.

— Люди стали злыми и безжалостными,— промолвил Карпо.

— Такие собственными зубами все на свете перегрызут,— сказал Васюта.

— Что лютые, то правда,— произнес Зинько,— к тому же очень туго у нас с землей стало. Вот люди и ссорятся из-за каждого клочка.

— Да, туго! Ох-хо-хо как туго! И зачем это люди родятся? Уже, казалось бы, и достаточно! — раздумывал вслух Васюта.— А то скоро, наверное, недели будут такие же, как заячий хвост. Давайте-ка лучше почитаем что-нибудь, а то этими разговорами на меня тоску нагнали.

— Да нет, уже поздно,— ответил Карпо.

— Верно, поздновато,— согласился и Зинько.— Лучше уж в четверг, в праздник... Только знаете что, братцы... Надо, чтобы не только мы, одни мужики, приходили читать книги, но и наши жены. Потому что когда у меня читают, то моя жена слушает, а, скажем, Карпова Катерина нет. А когда у Карпа читаем, тогда моей жены нету.

— Ну, моя такая, что не пойдет...— махнул рукой Грицько.

Зинько вспомнил, что сегодня у него произошло с Ивгой, и подумал: «Хорошо будет, если не пойдет...»

— Да они в этом чтении ничего и не поймут, а ко всему прочему мы же и об общественных делах должны будем говорить,— ведь это уже их не касается! Женское дело — у печки,— говорил Карпо.

Хотя жена у него была очень умная и почтенная, однако он как-то свысока смотрел на женщин и говорил, что даже в священном писании сказано, что женщины всегда причина всех бед, и произнес: «Реку горчайшу па-че смерти жену,— благий перед лицом божьим взыметя от нея, а согрешая — будет от нея».

— Пускай и об этом слушают! — ответил ему Зинько.— Надо им тоже разбираться в общественных делах.

— Да... пускай!.. Будешь ходить? — спросил Карпо свою жену.

— А почему же? Буду! — ответила та зардевшись.

— По мне...

Вернувшись в тот вечер домой, Зинько долго рассказывал Гаинке, что они делали, о чем говорили на сходке у Грицька. А Гаинка рассказывала ему о своих новостях: не о бабке Мокрине, нет,— об этом она даже и не намекнула. Рассказала только о том, что была у матери и присутствовала при споре дедушки Дороша с сыном, с отцом Гаинки. Дедушка с пасеки наведаясь домой и пришел именно в то время, когда снова к ним пришла Марчиха, и уже не одна, а со взрослым сыном. Стали они просить, чтобы Остап возвратил им землю, которую взял у них за долг; говорили, что будут постепенно, частями, вносить ему деньги. Остап отказывался вернуть им землю, потому что покойный Марк вовремя не внес деньги, а поскольку он не уплатил долг, поэтому он, Остап, и должен получить землю Марка,— так и в расписке написано. Поскольку Марк не уплатил, значит, теперь земля принадлежит ему, Остапу. Нечего сейчас и говорить об этом!

— А они, бедные, плачут, слезы — как горох, да отцу в ноги падают, умоляют,— рассказывала Гаинка.— Отец только отворачивается от них. А дедушка слушал, слушал да вдруг побежал в свою комнату и тут же возвратился. «Не просите его,— крикнул.— Нате вам деньги, отдайте ему, а он вернет пусть вам расписку!» — да и дал Марчихе в руки деньги. Отец покраснел и: «Не вмешайтесь, батя, это не ваше дело!» Тогда дедушка побелел... побелел, как стена, да как закричит: «Отдай, я тебе говорю, отдай! Потому что я тебе...» Да так и не досказал, только задрожал всем телом... Тогда отец вытащил расписку и отдал, а деньги забрал. Марчиха с сыном, плача, благодарили дедушку, хотели ему руку поцеловать, а он только отмахнулся: «Идите, люди добрые, благодарите бога и обходите этот двор десятой улицей, потому что здесь живут не люди, а живодеры!..» — да и выбежал из хаты; а следом за ним и Марчиха с сыном... Тогда отец давай ругать дедушку!.. Господи! Как это тяжело слушать! Я поскорее убежала...

III  
КОЗНИ ВРАГОВ

Яхрем Семенович Рябченко, возвращаясь в воскресенье из Черноуса, не спеша брел по лугу. Смотрел па сельские сады и огороды, спускавшиеся от хат вниз, смотрел на вербы, росшие вокруг колодца. И вдруг он увидел, что из-за тех верб кто-то быстро вышел. У Рябченка было хорошее зрение: присмотревшись, он даже издали узнал, что это Зинько. Это его не удивило, поскольку там проходила тропинка и все люди, жившие в той стороне, где и Сивашенки, часто ходили по ней,— так было ближе, чем по улице. Он продолжал идти, о чем-то думая, и вдруг снова увидел, что от колодца, только уже с другой стороны, юркнула молодница, перепрыгнула через тын в огород Демченка и поднялась на пригорок. Он подошел ближе к колодцу, окруженному вербами, и сразу узнал Ивгу.

«А почему она тут была? — подумал.— Сидели там вдвоем, что ли? Определенно вдвоем. Потому что я не видел, чтобы она шла туда после него. Ха-ха-ха! Так вот оно что! А я и не понял, почему это наш праведник к Грицьку зачастил, да еще и деньги ему одалживает! Оказывается, жена его нужна ему!..»

Обрадовался Рябченко. Да и как тут не обрадоваться, ежели получалось, что Зинько не такой уж праведник, что он хотя и кричит о правде, а сам поступает, как и все грешные. «Видишь, где встречаются!.. Разве что натравить на него Микиту Тонконоженка с парнями? Тот ему даст! Тот сам за Ивгой приударяет, а теперь она ему изменила. Погоди ты, братец!..

А куда же этот братец пошел? Должно быть, не домой, потому что прошел мимо своего переуллка. Наверное, снова к Грицьку. Видишь, как мудро: с женой в одном месте, а с мужем — в другом. Наверное, там они собрались снова вместе и какие-то каверзы готовят против нас. Вот если бы подслушать их! И что они замышляют? Ну и проклятые люди! И чего они пристают? Вот хотя бы этот паршивый Зинько, он бы на шелковых подушках спал, если б присоединился к нам! Так нет! Не захотел, что-то иное задумал! Собрал вокруг себя компанию бедняков, а число их с каждым днем увеличивается. Сколько неприятностей принесли нам эти проклятые

горлохваты с переселенческой землей! Ну, тут кое-как утрясли дело... Так что же? Напишут жалобу куда-то выше (и как это он до сих пор не догадался?), и снова начнется трепка». Да разве только это? Всюду вмешиваются! Требуют, чтобы дважды на год ревизию проводили в волости! Если бы он еще один был, не вредил бы, а то, к сожалению, действуют сообща, да их все больше и больше становится. И может, когда-нибудь случится так, что и он, Рябченко, и его компания не сумеют уже руководить сельским сходом. Этого нельзя допустить, никак нельзя! Надо что-то предпринимать.

Что именно? Об этом он много думал... И даже каждый день думает!.. Думает, но ничего не придумает... Решил было написать донос на Зиньку, что он и такой и сякой... И все хорошо бы обошлось, если бы не начальник, который, вместо того чтобы поверить ему, решил еще и крестьян расспросить. Ну, все и лопнуло!

После этого старшина был у начальника. Так что же? «Я, говорит, знаю, что ты исправный у меня старшина, а приговоры все-таки не по форме. Если бы никто не жаловался, я бы не знал, когда ты их написал, так бы оно и пошло, а коль мужики пожаловались, я не могу этой жалобы скрыть, ибо они и выше могут жаловаться». Старшина начал ему говорить и то, и другое, что эта жалоба — «пустяк унимания, потому что писал ее такой ябедный и нестоящий человек развратный»; да что ты с ним поделаешь, если он говорит, что сельский сход о нем, о Зиньке, не так отзывается, и у него нет никаких доказательств! Ну, старшина все-таки сообразил, что ему сказать. «Погодите, говорит, ваше высокоблагородие, еще немного: мы вам доказательства о нем подберем такие, что первый сорт». — «А не врешь?» — «Буду стараться изо всех сил, ваше высокоблагородие». — «Ну смотри мне: еще немного подожду, а там уж как знаешь». — «Хорошо», — сказал старшина.

Да и в самом деле, надо бы эти доказательства выискать. Что бы это придумать? Разве сказать, что он в церковь не ходит? Так ходит... Или что-нибудь о начальстве плохое говорит? Так нужны будут свидетели... А они, вишь, какие: все кричали, а когда надо, сразу спрятались за спину общины!..

Эх, если бы можно было поссорить их между собой, это было бы лучше всего! Тогда бы и кружок их рас-

пался, и разлезлись бы они во все стороны, как рыжие мышцы. И силы их поубавились бы, ибо они страшны до тех пор, пока объединены, а в отдельности каждого из них легко можно съесть — ого! Разъединить их, проклятых!.. Но как? Каким образом?

Рябченко шел уже по улице, проходил мимо хаты своей родственницы, бабки Мокрины, знахарки. В это время из хаты вышла молодница, а следом за ней, проводя ее, и бабушка Мокрина. Проводила ее к воротам, попрощалась и снова вернулась в свою хату, а Гаинка,— это была она,— пошла по улице.

«Зачем это она к бабушке Мокрине ходит? — подумал Рябченко.— Наверное, гадает, что ли? Ох, и хитрая же эта бабушка Мокрина!.. Ох и умеет же она выманывать денежки! Но за что у нее выманывает? Что она ей врет?»

Рябченко подумал об этом просто так, без всякой задней мысли. И тут же остановился. Вдруг его осенило: «Да неужто? А что, если это правда? Вот бы штука была! Тогда Зинько определенно поссорился бы с Грицьком. Это была бы уже в их кружке одна ссора, да еще и не маленькая. А потом можно было бы сострять и вторую... хотя бы такую же... Нет, об этом следует подумать, хорошенько подумать!..»

И он пошел, весело улыбаясь, а через несколько дней, поздно вечером, постучал в окошко к старухе Мокрине.

— Откройте-ка, бабушка!

Старуха уже готовилась ко сну, но, услышав голос Яхрема, тотчас впустила его.

— Здравствуйте, бабушка!

— Здравствуй, сынок, здравствуй! Садись!

— Как вы поживаете, бабушка?

— Ох, и не спрашивайте! Старому — лишь бы день до вечера: все равно скоро помирать.

— Ну, вы, бабушка, еще такие, что хоть замуж выдай.

Старуха засмеялась, раскрыв широкий рот, полный здоровых желтых зубов. Она хотя и старая была, но еще крепкая и никогда не употребляла тех лекарств, которыми снабжала людей.

— А я к вам, бабушка, по делу.

— Говори, сынок.

— Хотите заработать рубль?

— А почему бы и нет?

— Так я вас буду спрашивать, а вы отвечайте. Если все будет так, как мне надо, тогда я вам скажу, как заработать.

— Спрашивай, сынок: что могу, то и скажу, а чего бог не велит — уж извини. Ведь у меня так бывает: что можно, а что и грешно говорить.

— Знаю, знаю, бабушка... Да это не грешно... А нука: зачем ходит к вам Гаинка Зинька?

Старуха недоверчиво посмотрела на Рябченка.

— А почему тебя интересуется Гаинка Зинька? — спросила.

— Вот еще! Я же говорил, что буду спрашивать, а вы отвечайте. А сейчас вы сами спрашиваете! Меня Гаинка Зинька меньше всего интересуется, а хочется лишь только узнать, зачем она ходит к вам. Не за тем ли, чтобы Зинька к себе приворожить?

Старуха засмеялась.

— Нет, не затем. Она в этом не нуждается. Если за этим кто и ходит, только не она.

— Так за этим к вам Ивга ходит?

— А ты откуда знаешь? — пристально посмотрела на него старуха.

— Мне многое известно... Значит, ходит?

— Бывает.

— Разве Зинько с ней не путается?

— Говорит, что нет.

— Гм... А я думал, что они уже того... Ну, да ничего! А знаете ли вы, бабушка, что они встречаются на лугу, в вербах у колодца?

— Нет, не знаю.

— Так я вам об этом говорю.

— А зачем мне знать?

— А когда к вам Гаинка снова придет?

— Я велела ей завтра вечером прийти.

— Так вы ей расскажите о том, что в вербах у колодца... О том, что к вам Ивга приходила, вы ей и никому ничего не рассказывайте, а про вербы обязательно скажите, — да так, чтобы она поверила, будто Зинько окончательно к Ивге привязался.

— Ну?..

— Ну за это и получите рубль.

— А зачем тебе это?

— Вот бабка! Вы и так стары, а еще старее хотите стать! Это надо мне! За это получите рубль. Ведь он вам пригодится.

— Хорошо, сынок.

— Ну а о Ганнке не слыхали: она инкем не интересуется? Ну, Васютой или кем-нибудь другим?

— Нет, не слыхала... Что не слышала, то не слышала,— и грешить не буду, нет!..

Старуха замотала головой,— очень уж ей не хотелось грешить.

— Ну, так знайте, что Васюта липнет к Ганнке, и она к нему. И надо сделать так, чтобы об этом узнал Зинько. Поняла, бабка?

Он прижмурил один глаз и, хитро улыбаясь, посмотрел на старуху.

— Да оно... не знаю, не грех ли только...— колебалась «праведная» бабка Мокрина.

— Нет, бабушка, какой тут грех? Это же вы не сами выдумали, а от людей услышали!.. А муж-то должен знать, что его жена делает... А жена тоже должна знать о своем муже.

— Так-то оно... да только...

— Грех? Да я вам еще один рубль прибавлю,— купите в церкви свечей и замолите этот грех.

— Ну, пусть будет по-вашему! — согласилась старуха.

— Вот и хорошо! Только это надо сделать так, бабушка, чтобы Зинько и Ганнка об этом узнали не от одного человека, а от людей... да и по всему селу, чтобы молва пошла...

— Знаю уж, знаю!

— Только молва дойдет до меня, тотчас же принесу вам два рубля.

— А не обманешь?

— Нет.

— Поклянись!

— Побей меня крест!

— Если все обойдется ладно, купишь мне еще и черный платок на ярмарке на покрова?

— Захотели еще платок? Видно, бабка, вы замуж собрались! Да уж ничего не поделаешь, куплю.

— А коли купишь, все исполнится, как задумал.

Довольным ушел Рябченко от старухи Мокрины.

Однако, будучи предусмотрительным человеком, он заглянул еще и к Захарку. Тот плохо чувствовал себя с похмелья, не мог даже головы поднять, бедняга. В хате, кроме него, никого не было.

— А хочешь, Захарко, опохмелиться?

— Ой!..

Рябченко дал ему злотый. Тот сразу хотел было бежать из хаты.

— Погоди, не беги! Вначале послушай, что я скажу!

То же самое, что и старухе Мокрине велел он ему. И пообещал: если он хорошо справится с этим делом, получит еще на полкварти. Этого можно было купить дешевле, чем старуху.

Рябченко, улыбаясь, шел домой и думал: «Ну-ну, увидим, миленькие, что теперь вы запоете!»

На следующий день вечером Гаинка снова пришла к бабке Мокрине: та должна была сварить ей зелье, вот Гаинка и пришла за ним.

— На тебе, дочь,— говорила старуха,— зелье, и пей его ежедневно по полрюмочки утром, натошак, так оно и поможет. Обязательно поможет, лишь бы только тебя муж любил.

— О бабушка, он меня любит! Очень любит!

— И хорошо, дочь, если любит,— говорила старуха, заворачивая в бумагу зелье и не глядя на Гаинку.— И хорошо, если любит! Я сама тоже думаю: все это сплетни, что в селе люди болтают.

— Люди болтают? — удивленно спросила Гаинка.— А о чем же они болтают?

— А ты разве не слышала?

— Ничегошеньки!

— Так, так, дочь... Это верно, что тот, кому нужно знать первому, узнает последним... Ах бедненькая ты моя пташечка!

Старуха уже завернула свой сверток, села на лавку и, подперев голову рукой, печально покачала ею, как бы сочувствуя Гаинке.

— Да ну же, говорите уж, бабушка, что там стряслось? — воскликнула Гаинка.

— Ах, не торопись, мое дитя, не торопись!.. — лстиво говорила старуха своим сладким голоском.— Потому что, может быть, узнаешь такое, что и знать бы не

хотела... Пусть бы оно сгнуло в камышах и болотах, пусть бы оно камнем село на дно в глубокой реке!..

— Бабушка!..— умоляла Ганька, прижав руки к груди.

— Да не знаю, как и сказать... Как-то оно немного неловко... Ну да уж я тебя, дочь, так люблю за твою почтительность и уважение к старикам, что не скрою от тебя... Разве ты не слыхала, моя беденькая, моя горлица сизокрылая, разве тебе никто не говорил, моя милая, что твой муж к Ивге ходит?

— К Ивге?.. Что это вы, бабушка! Да он к Грицьку ходит — они там читают, беседуют.

— Да-да, дочь, и читают и беседуют, и говорит он, что ходит к Грицьку, а там Ивга прямо ему на шею вешается.

— Это неправда! Неправда!.. Все это ложь!.. Я знаю, он не любит Ивгу, он мне сам об этом говорил!

Ганька говорила об этом с возмущением, гневно. Старуха тоже решила обидеться:

— Вот так здорово, дочка!.. Спасибо тебе!.. Меня, старуху, во лжи обвиняешь! Шестой десяток доживаю, отродясь мне даже старые люди такого не говорили, а теперь пришлось от ребенка услышать! Я ей как доброй, любя, а она...

Ганьке стало стыдно, что она так на старуху накричала. Краснея, она промолвила:

— Нет, бабушка... Я же не говорю этого... Я не о вас, а о людях, которые эту ложь распустили.

— А коли то была бы ложь, я тебе о ней не сказывала бы,— поучительным топом говорила бабка Мокрина.— Бабка Мокрина знает, что ложь, а что — нет. От бабки Мокрины ничего не утаишь,— она и не видя все знает. И с этим твой Зинько не мог утаиться. Он тебе говорит, что не любит Ивгу,— вот потому и говорит, чтобы лучше тебя обмануть, чтобы ты и не подумала... А ты не верь ему да проследи: как на него Ивга посматривает, а он на нее... Да присмотришься, так ли он любит тебя, как прежде, или нет... Вот что!.. Тогда и увидишь— правду бабка Мокрина говорила или нет...

— Ах, бабуня! Да не могу я этому поверить!..

Бедняжка даже не сказала, а произнесла это со стоном.

А старуха продолжала:

— Вот ты говоришь, что они к Грицьку читать и беседовать собираются. А на самом деле Зинько с Ивгой на лугу, в вербах у колодца встречаются... Люди видели, как они оттуда выходили...

#### IV

#### ИЗМЕННИК И ИЗМЕНИЦА

Гаинка уходила от знахарки убитая горем. Все перепуталось у нее в голове и душе. Она не верила, не могла поверить тому, что ей говорила бабка, ибо она Зиньку бесконечно верила... Разве он мог ей изменить? Разве он мог быть с ней таким ласковым — и в то же время равнодушным и думать о другой? Разве мог он смотреть ей в глаза, а видеть перед собой другие, чужие глаза? Разве мог он обнимать ее — и в то же время думать о другой?.. Ах, нет, нет, нет! Этого не может быть!.. Потому... потому... не может быть!.. Ибо если это верно, так как тогда жить?.. Нет, нет!.. Она этому не верит! Все это ложь, мерзкая ложь!..

Она этому не верит...

А почему у нее так тревожно на душе? Почему горькие мысли не покидают ее, жгут?

И тоже подумать: бабка Мокрина не лгунья. Да и с какой стати стала бы она ей, Гаинке, лгать? Зачем ей это? К чему ей? Не из пальца же она высосала то, о чем говорила! Что-то да есть, коль уж люди заговорили... Да и к тому же бабка Мокрина: это ведь верно, что она знает даже о том, чего не видела. Разве она не знахарка?

Говорит: «проследить!» А зачем ей следить? Разве Зинько стал не таким, каким был? Правда, он теперь озабоченный, порой печальный, но ведь это же из-за общественных дел...

Из-за общественных дел... А что, если нет? А что, если он печален, озабочен только потому, что живет с ней, а думает об Ивге? И думает, должно быть: «Почему Гаинка раньше не умерла,— тогда бы я на Ивге женился?»

И она почувствовала, как от этой мысли ее словно сгнем обдало, таким страшным, жгучим огнем, что она

чуть было не закричала. «Нет, нет! Не буду думать об этом! Это ужасно!»

Но когда Зинько в тот день пошел к Васюте, она подумала: «А что если не к Васюте он пошел, а к...»

И не опомнилась, как выбежала из хаты, со двора и быстро пошла в конец улицы, к хате Грицька. Вбежала во двор, заглянула в окно: Грицько и Ивга дома, Зинька нет. Она быстро побежала обратно! Ах, боже! Хорошо, что еще никто не заметил ее.

Дома она вместе с матерью уселась шить. Шила и не шила...

— Мама, я пойду воды принесу!

— Да ведь у нас есть вода.

— Но там немного, я еще принесу.

Вскочила, взяла ведра и выбежала из хаты на улицу.

Вот глупая! Зачем она выскочила? С ведрами опять побежит к хате Грицька, что ли? Наверное, она совсем потеряла голову из-за этих дум. Надо хоть воды набрать!

Брала она воду или нет,— не думала об этом, а смотрела вдоль улиц: не идет ли Зинько, и откуда — от Грицька или от Васюты?

Когда глядь — и впрямь он идет, и от Васюты!

Быстрее вбежала в хату. А когда вошел... ах, как она была рада ему! Ах, какая это все ложь, о чем ей говорила старуха! Гаинка хорошо видела по глазам Зинька. И она весело разговаривала с ним, смеялась так, словно это был и смех и плач, и смотрела в его добрые, ясные, правдивые глаза, которые никогда не обманывали! На его любимые уста, которые никогда, никогда не лгали ей!..

Прошло два-три дня. За это время слух о Зиньке и Ивге, а вместе с тем о Гаинке и Васюте широко разнесся по селу. Кумушки болтали языками так, что эхо разносилось по всем улицам.

Миките Тонконоженку сам Рябченко рассказал об этом. Ну и злился же парень! Да и как не злиться? Еще с весны Гаинка ранила его сердце. Он уже и на улице пытался затронуть ее, и ночью в сад Сивашей лазил,— все думал: а может быть, застанет Гаинку одну. Да куда там! Ничего не помогло! Думая о Гаинке, он с горя связался с Ивгой. Ну, эта такая, что с ней долго возиться не пришлось,— сама следом за ним бегала. Все

лето с ней провозится, и вдруг она стала от него убежать! Ему сначала невдомек — почему это: только теперь до него дошло, что Зинько ему на пути стал. Что же это такое? Зинько отбил у него Ивгу, а Васюта — Гаинку... Ах, они хамы! Ну, попадется ему когда-нибудь в руки Зинько! Он хорошо проучит его! Да и Васюту...

А Гаинка все больше и больше переживала. Однажды она пошла к своей подруге, Карповой Катерине.

— Что-то ты, Гаинка, так подурнела? Не больна ли?

— Нет... Я здорова...

— Так почему ты такая? Тебя что-то волнует?

— Нет... нет... меня ничего не волнует... Я...

И тут же заплакала... Даже Катерина испугалась — бросилась к ней, обняла, приласкала, как ребенка.

— Что с тобой? Упаси боже! В чем дело?

— Я... я... я не знаю... — отвечала, всхлипывая, Гаинка. — Про Зинька...

— Что про Зинька?

Катерина постепенно все выпытала у нее. Затем стала уговаривать:

— Не верь ты этому, Гаинка! Это все ложь, кто-то умышленно выдумывает, чтобы поссорить вас. Твой Зинько так любит тебя, что он даже следы твоих ног целовал бы. Да ведь он такой искренний, — он бы тебя не обманывал.

Эти слова, словно целительная и животворная вода, наполнили радостью бедное сердце Гаинки. Она слушала ровный, спокойный, ласковый голос Катерины, и ей становилось все легче и легче.

— Людям завидно, что вы так хорошо живете, — ну и болтают. Я это знаю. У меня однажды тоже так было, что и о Карпе моем слух распустили... Болело тогда у меня сердце. А потом оказалось, что все это ложь... Так я теперь знаю уже... Не верь этому!

И Катря, будучи немного старше Гаинки и серьезнее, гладила ее по лицу, а та, словно ребенок, прижималась к ней.

— Скажи, сестрица, — спрашивала Гаинка, глядя в спокойные глаза Катерины, — скажи: ты ничего не замечала?

— Да ничегошеньки! Ах, какая же ты недоверчивая! Ну, хочешь, я буду присматривать, следить за ними? — Вот увидишь, что ничегошеньки нет.

Повеселевшей вернулась Гаинка от Катерины домой. Веселой и дома была. Но ненадолго.

Встретила она свою куму Устину. Они были только вдвоем, и Устина тотчас поторопилась ей рассказать то, что говорила и бабка Мокрина. (Она слышала еще и о Васюте, но об этом рассказывала другим.) Гаинка рассердилась и стала упрекать куму в том, что она говорит глупости. Однако ее опять поразили эти слова:

— Не веришь? Так сама присмотришься и проследи!

Зачем ей следить, к чему ей присматриваться, если он во всем остался таким, как и прежде?

Но как только она вернулась домой, все спокойствие, с которым ушла от Катерины, словно развеялось, страшная тревога снова охватила ее, и она задрожала как в лихорадке.

А Зинько в это время ушел в волость — понес подать. По пути встретил родственника, Корнея Грабенка, — и тот туда же шел. Пошли вместе, разговорились.

— А что это, Зинько, я слышал, о твоём друге Васюте говорят? — сказал старик.

— А что говорят?

— Как он у тебя, верный друг? Ты его знаешь?

— Да, хорошо. Парень очень добрый, честный, достойный.

— Ну, это и хорошо! — сказал старик Корней. — Я, видишь, потому спрашиваю тебя, что о нём люди стали всякую чепуху плести.

— Эх, люди как люди: все что-нибудь да придумают! — махнул рукой Зинько. — Что же такое говорят? — спросил, желая узнать, потому что был уверен, что сторонники Дениса снова какой-то слух распустили.

— Да такое, что немного как-то неловко и говорить... Сказывают, что он к твоей жене дорожку утаптывает...

— Вот черт его знает, какую подлую ложь распускают! — возмутился Зинько.

— Да и я так думаю, что это ложь, — искренне сказал старик. — Ну, однако, предостеречь тебя хотел, потому что об этом бабы сплетничают. Ясное дело — ложь. Ну, а все-таки поглядывай иногда, потому что говорят, будто бы их где-то вместе видели... Кто оглядывается, тот не кается.

Зинько возвращался домой, совсем не думая об этом разговоре; вернётся — думал, но совсем не так. Он без-

гранично верил Васюте и Ганнке, но не мог понять: почему вдруг распустили эту ложь? Однако, придя домой и увидев Ганнку, несколько удивился: почему она какая-то... будто ее что-то тревожит?..

А Ганнка тоже смотрела на Зиньку и думала: «Таким его я еще никогда не видела... Что-то у него и взгляд какой-то... подозрительный... Да неужто? Ах, боже! Нет! Нет!..»

И опять эта страшная мысль словно огнем охватила ее.

Вечером они улеглись спать.

Прежде, бывало, во время жатвы или другой какой-нибудь тяжелой работы, несмотря на усталость, лягут в постель и без умолку говорят, перебивают друг друга; уже и спать пора, а они все говорят и говорят. А теперь каждый лежит молча и думает: «Почему этого прежде не было?..»

Наконец Ганнка не выдержала:

— А что ты сегодня в волости слышал?

— Да так... ничего... уплатил деньги, да и вернулся.

— А у Васюты не был?

— Нет, а зачем мне быть у него?

— Да разве я знаю? Ведь у вас дела... Да и давно ты уже у него не был...

— Давно? А вчера?

— Ах да! Он у нас давно не был...

— Как же он к нам придет, если я к нему хожу?

— Да... нет... Может быть, придет...

— А зачем тебе Васюта?

— Да так... Он такой хороший, веселый, разговорчивый...

Ганнка, запутавшись с этим Васютой, говорила, лишь бы что-нибудь сказать, а Зинько думал: «Почему это она вдруг его расхваливает?»

И сказал, лишь бы не молчать:

— Когда-нибудь придет...

Ганнка промолчала, а потом робко спросила:

— А к Грицьку часто ходишь?..

— Теперь чаще буду ходить, его надобно грамоте учить... А завтра вечером вдвоем пойдем, вместе читать будем.

От такого ответа у Ганнки заняло сердце. Хотела что-то сказать, но не смогла. Лежала, стиснув зубы,

и молчала. Делала вид, что спит. Зинько тоже лежал тихо. Долго они не спали, каждый занятый своими мыслями.

На следующий день Гаинка не находила покоя с раннего утра. Вокруг одного лишь кружатся и плетутся ее мысли: все думает о вечере, когда Зинько пойдет к Ивге... или, вернее, к Грицьку... Из-за этих мыслей не могла ничего делать. Стала топить печь,— дрова положила, а поджечь забыла; дрова не горели, а она поставила в печь горшки...

Даже мать засмеялась:

— Вот так штука! Новая мода пошла: не растопив печь, обед сварить.

Взяла горшок, чтобы помыть, а перед глазами — Ивга... вдвоем с Зиньком стоят у колодца под вербами... Задрожала вся, горшок выпал из рук и... разбился.

— Эх, жаль горшка! — с сожалением произнесла мать.

А Гаинка стояла над черепками и не знала, что делать...

Кое-как поставила горшки в печь. Взяла миску, чтобы помыть пшено, насыпала его туда и стала наливать воды... И ей вдруг показалось, что Ивга говорит: «Здравствуй, Зинько!» Миска упала на пол, вода разлилась, пшено вместе с черепками разлетелось в стороны.

— Да что с тобой, дочь? — подбежала к ней мать. — Не больна ли ты? Ах, как ты побледнела!..

— Я ничего, мама... Мне ничего... Не знаю, почему — руки задрожали...

А сама стояла бледная как полотно.

— Вот беда! — забеспокоилась мать. — Хотя бы Зинько быстрее возвращался!

— Нет, нет, мамочка! Не говорите ему ничего, ничего!.. Это я так... Это пустяки!.. Я здорова... Я сейчас примусь за работу... Только ничего не говорите Зиньку!..

Гаинка вместе с матерью принялась стряпать и кое-как сварила обед. Мать ничего не сказала Зиньку, но сама все время присматривалась к невестке. Та силилась не показывать виду Зиньку — словно ничего не случилось, словно она и ест, хотя в рот ей ничего не шло. Но вечером, когда пришла пора идти к Грицьку на чтение, почувствовала, что не может туда пойти, что не

сможет войти в эту хату, взглянуть на Ивгу... не усидит там... Сказала, что у-нее голова болит, и осталась дома. Зинько пошел один, а Гаинка думала: «Там Катря будет... она проследит... Она мне расскажет».

Пока Гаинка находилась в хате вместе с матерью, она гнала от себя всякие мысли. Но уж когда пошла спать — измаялась!..

Они с Зиньком спали в отдельной комнате. Гаинка очень любила эту светлую комнату, аккуратно побеленную, с цветами и голубями, нарисованными синей и красной краской на белой печи, с бумажными цветами возле икон, с портретами и рисунками, висевшими на стенах, с маленьким шкафом, с книгами и с кроватью, сделанными самим Зиньком, со старыми скамьями из липы. Уютно и хорошо было в этой комнате, где они вдвоем с Зиньком точно в гнездышке голуби ворковали!.. А теперь!..

Какой она сейчас кажется мрачной, неприветливой, неуютной, стены будто давят... Какие-то огромные длинные тени выглядывают по углам, — даже страшно. Как мрачно, неприветливо нависла печь, словно и она гневается. И боги, кажется, так мрачно смотрят с иконостаса своими выразительными белесыми глазами. Она не хочет, не желает на них смотреть!..

Она поскорее погасила лампу, чтобы не видеть эти тени. Сидела, опершись на стол, в темноте.

Зачем ей все это, если он ее не любит, если ушел к той!..

Она — как голубка покинутая... Некуда ей и полететь: ни к батюшке, ни к матушке, ибо не вернут они ей любимого мужа!..

А он там, а он все там!.. Как бесконечно долго!..

А может быть, это все ложь? Зачем она думает так плохо о нем... о своем муже!.. Это же грех!.. Нельзя подчиняться голосу сердца!.. Она ляжет, будет спать...

Она и в самом деле легла, закрыла глаза, старалась ни о чем не думать, уснуть. Но не могла: все прислушивалась, не идет ли.

Зашуршит мышь в сенях, а она уже думает, что он за ручку двери берется, и, затаив дыхание, прислушивается... Нет... не он!..

Кто-то шел по улице. Это, наверное, он. Прислушивается: топ-топ-топ... Вот напротив хаты... Ну, ну, пово-

рачивай в калитку!.. Уже берется за калитку... Нет, прошел... Пошел дальше!..

Не стучат ли в окно?

Вскочила, подбежала, отодвинула ставню.

— Зинько, это ты? — тихо спросила.

Никого не слышно, никто не откликается.

Снова легла.

Ах, боже! Как долго время идет!..

Нет, она знает, что делать: она будет читать молитвы... все, какие знает... И когда все перечитает, тогда он придет.

Начала читать с «Во имя»... читала медленно, четко произнося каждое слово... «Царю небесный», «Троицу», «Отче наш», «Богородицу» — все, все!.. Читала еще и «Воскресни бог», и «Верую», и «Помилуй»...

Перечитала все, а его нет и нет. Прочитала еще заповеди, прислушалась — не слышно... Ах, господи, она, кажется, в «Верую» пропустила некоторые слова!.. Поэтому так быстро и прочла их.

Она решила снова прочитать «Верую» от начала до конца. Прочитала все молитвы, какие знала... и те, которые слышала от матери, будучи маленькой, их даже в молитвенниках нет...

Вот он уже идет... Еще ничего не слышно, но нужно еще немного подождать, пока он подойдет ближе. «Если он сейчас придет, так он не ходит к Ивге, а если не придет...» — это она так задумала.

Она лежала, всматриваясь широко раскрытыми глазами в темноту, и дрожала, словно в лихорадке. Ни о чем не думала, только прислушивалась... Прислушивалась и трепетала.

Вокруг было тихо. Он не идет.

Тогда она заломила руки над головой и опустила их на подушку. Страшная, немая безнадежность сжала ей душу... Душа похолодела, застыла, как капля на морозе, умирала...

И вдруг услышала, что Зинько ключом открывает дверь в сени.

Она вздрогнула, поднялась и снова упала на кровать и, прижавшись к подушке, затаила дыхание.

Зинько тихо вошел в комнату, тихо снял свитку, разулся и лег.

— Ты еще не спишь, Гаинка?

— Нет...

— Я задержался, милая... Увлёклись чтением... А у тебя и до сих пор голова болит?

— Нет, уже лучше...

— Я и Грицька учил... Он очень хочет учиться читать.

Гаинка чувствовала, что должна что-то сказать, ответить мужу, но никак не могла разомкнуть свои уста. Однако все же пересилила себя:

— Хорошо, что хочет...

А думала совсем иначе: «Лучше бы он вовсе не брался за учебу». Однако она этого не сказала, а произнесла:

— Если он хочет научиться, так почему же не он к тебе ходит, а ты к нему?

Она напрягалась изо всех сил, чтобы не дрожать, чтобы говорить спокойно, но у нее не получалось — тряслась, как в лихорадке.

— Стесняется при посторонних, — ответил Зинько, — говорит, что ему лучше дома. Да и нога у него еще болит, трудно ходить.

— А жены... разве он не стесняется?

— Нет.

— Когда же вы занимались? Когда еще не все собрались?

— Да.

— А Катря была?

— Была.

— А она... там сидит, где и вы... занимаетесь?

— Кто, Катря?

— Нет, эта, Грицька...

— Когда как, бывает, что и нет.

Зинько подумал об Ивге. После его встречи с ней у колодца, ему не хотелось ходить к Грицьку, чтобы не видеться с ней, но дела вынуждали бывать у него в доме. Однако она сама стала избегать его, не смотрела на него. Он думал, что Ивга раскаялась, — не знал, что она изыскивает способ, как его зельем напоить.

— Не люблю я ее! — сказал он Гаинке.

— А почему не любишь?

— Потому, что пристает ко мне.

Гаинку словно что-то подбросило на постели, но она тут же заставила себя снова лечь и спросила:

— Как это — пристаёт?

— Теперь, вот эти дни, надо сказать — нет; а то такое подстроила...

И он чистосердечно рассказал Гаинке о встрече с Ивгой у колодца под вербами.

— Я уже решил,— продолжал Зинько,— если она и впредь будет приставать ко мне, скажу Грицьку... Или, может быть, лучше ему, бедняге, не говорить об этом? Как ты посоветуешь, милая?

И вдруг Зинько почувствовал, как она своими маленькими ручонками схватила его, начала дергать, трясти, щипать.

— Ах, Зиня, какой же ты хороший!.. Ах, как солнышко!..

И она обнимала, прижимала, целовала его.

— Ах, милый мой! Ах, муженек ты мой верный!

— Гаинка, голубушка! Какая ты хорошая!

— Я плохая! Я ничтожная! Я злая! Ты — как солнышко праведное, как зелененький барвинок, а я как... как... черная туча!..

— Почему ты себя так бранишь?

— Мне передавали, что ты к Ивге ходишь, а я...

— А ты поверила?

— Нет, не поверила, только... только грустно было, страшно, как в темной пропасти... Нет, я немножко... совсем капельку... поверила — так, с маковое зернышко!.. Ах, прости ты меня, мой дорогой, мой искренний, единственный, любимый!..

— Ну, так и я тебе расскажу, что мне о тебе наговорили.

Она так и вскочила:

— Обо мне?! Обо мне?!

— Что к тебе Васюта дорожку протаптывает.

— Васюта?.. Ха-ха-ха!..

— Молчи, глупая, а то мать услышит.

Гаинка хохотала так сильно, что действительно мать могла услышать, хотя и спала в другой комнате.

— Ах, не могу! Васюта!.. Ха-ха-ха!..

Едва успокоил ее.

— А ты поверил?

— Разве я дурак?

— Вот видишь! Вот видишь! — стала она ударять себя рукой по голове. — А эта голова — дурная, как пень, — поверила!.. Поверила!..

Он взял ее за руки, чтобы она не била себя.

— Гаинка, это кто-то хочет нас с тобой поссорить. Кто тебе сказал?

Она рассказала. Зинько подумал...

— Ты смотри, они хотели не только нас с тобой поссорить, но и всех наших товарищей настроить друг против друга... Погоди, погоди! А зачем ты ходила к бабке Мокрине?

Вот так проговорила! Ах, если бы сейчас не ночь — как бы она ему в глаза смотрела?!

Прижалась к нему, смутившись и свернувшись, как котенок.

— Я... я... я хотела... я думала...

И наконец во всем призналась Зиньку. Он смеялся и в то же время сердился. Хорошенько пробрал ее.

— Ну разве ты не видишь, что эта бабка лгунья? Ведь это она тебе наговорила об Ивге.

— Ну так что ж? Она рассказала мне о том, что от людей слышала, а лечить болезни она умеет...

Долго еще они не спали... На следующий день утром Гаинка проснулась первой. Тихонько, как птичка, соскочила с кровати и стала посреди комнаты. Солнечные золотистые лучи ласково смотрели в окно и освещали всю комнату. Боги с иконостаса ласково и приветливо улыбались Гаинке, улыбался и дед Шевченко в смушковой шапке; и стены, и печь, и скамьи — все блестело в золотых лучах и приветливо, ласково улыбалось ей... А она стояла, освещенная солнцем, раскрасневшаяся после сна, с лучистыми глазами; и ей было радостно, весело, светло — так светло, как вон там, в голубом небе, где переливались золотые теплые лучи...

— Зинько! Вставай! Мы проспали...

Мать даже удивилась, увидев Гаинку: вчера была больная, бледная, а сегодня так и сияет, румянец горит на ее лице...

После завтрака Гаинка сама отдала Зиньку бутылку с зельем, а он ее опорожнил и разбил. Ей, правда, было немного жаль: а может, все-таки пособило бы?

Потом она побежала к Катерине. Словно буря влетела она к ней в хату.

— Здравствуй, сестричка!

— Здравствуй! — ответила Катерина, стоя с засученными рукавами у печи.

— Спроси меня — зачем я к тебе прибежала?

— Разве я не знаю? Разузнать, не заметила ли я чего-нибудь. Ну, так скажу: я и присматривалась, и прислушивалась — ничего нет, все ложь!

— Ха-ха-ха! — захохотала Гаинка на всю хату, даже ребенок в колыбели вздрогнул, да и Катерина удивилась.

— Чего это ты?

— Вот и не отгадала! Мне уж незачем теперь ни присматриваться, ни прислушиваться... Ха-ха-ха!

— Да чего ты смеешься?

— Потому что мне весело и смешно... Ах!..

Она обняла Катерину и стала кружить ее по комнате так, что у той юбка поднялась.

— Да ты в своем уме? — смеялась уже и Катерина, вырываясь. — Говори уж, что стряслось?

Гаинка рассказала ей обо всем... и о Васюте...

Сплетни о Зиньке и Ивге, да о Гаинке и Васюте продолжали распространяться по селу еще какое-то время. Но ни Зинько, ни Гаинка уже не слышали их, даже не знали о них. К счастью, до Грицька они тоже не дошли: в дом к нему никто не осмелился зайти с ними, а сам он еще только начал по двору ковылять и никуда не ходил, потому что до сих пор еще болела нога. Постепенно все утихло.

Хотя бабка Мокрина и пьяница Захарко неплохо подработали, однако денежки Рябченка все же пропали ни за понюшку табаку. Он это сам теперь видел, злился и подумывал, какую бы новую каверзу устроить...

А компания Зинька за это время несколько увеличилась: к ним стал приходиться и Дмитро Василенко.

## V

### БРАТЯ

Панас Момот страшно злился. Ему казалось, что его сильно обидели тем, что отдали Грицьку десятину земли. Грицько был старшим, отец его отделил первого, отдал ему все, что полагалось, а то, что осталось у отца, должно было целиком принадлежать ему, Панасу, и младшему

брату Ивану. Они жили вместе с отцом, присматривали за ним до самой смерти и должны были разделить между собой оставшееся имущество. Очень несправедливо поступил отец, когда, умирая, велел отдать Грицьку эту десятину. Это вздор, что Грицьку тогда меньше было выделено земли! Уж сколько выделили, столько и выделили, и раз его отделили, значит, отделили: пользуйся тем, что у тебя есть, и чужого не трогай! Несправедливо поступил отец, что отписал эту десятину Грицьку; а еще большую несправедливость совершил сам Грицько, взяв ее.

Панас никак не мог примириться с тем, что земля досталась Грицьку. Он разными способами старался насолить ему и своего младшего брата Ивана натравлял на старшего. Больше всего злило Панаса, что ему не удалось собрать с этой десятины рожь Грицька. И в каких дураках оказался он, Панас, задумав вывезти рожь в ночь под вторник. В понедельник утром он увидел, что Грицько вместе со своими товарищами увозил последние копны! Если бы не их проклятая компания, то сам Грицько ни за что на свете не успел бы перевезти снопы, а теперь... И главное, теперь никак не подкопаешься к Грицьку. Сам он не хочет уступать, а старшина крутит: «Что ж, я не могу... не хочу отвечать... не по закону...»

«Не могу...» А взятку брать мог?.. «Не по закону!» А разве на законном основании чужую землю захватывать?

Ходил Панас и к Рябченку советоваться: тот такой хитрый, что самого дьявола обкрутить может. Сам родом из ада, за три мили видит! Но и тот калякает: «Если будешь судиться, вряд ли отсудишь, потому что закон на стороне Грицька. А ты повремени немного, пока забудется дело с покупкой Денисом земли,— тогда старшина пособит тебе».

Пособит! Все они пособляют! Когда надо было, чтобы он на сельском сходе за них голос подал, так они ему все обещали, а теперь довольствуйся обещаниями, советом: «повремени!» Хорошее дело! Да как ему времнить, если Грицько опять принялся сеять на этой десятине? И опять будет то же, что и было: посеет, а на следующий год хлеб соберет. А тогда уж и говорить нечего, что это их, Панаса и Ивана, нива! Скажут: ему отец отписал землю, он уже давно ее засеваet, почему орете, то да се... — Разве

он их не знает? «Повремени, пособим!» Черта с два они пособят! Не верит он им нисколько! Уж так обманули его, так обманули с судом, что дальше некуда!.. И впредь так же будет, и останется земля у Грицька, а они, младшие братья, фигу скушают!..

Ах, чтоб ему пусто было! Да разве допустит он, Панас, чтобы этот дурак Грицько так издевался над ним? Допустит, чтобы отродье Пвги хозяйничало на отцовской земле? Не дождутся дьявольские выродки! Он не допустит, чтобы Грицько одолел его. Никогда! Он что-то придумает, сообразит... Только что?..

Хоть бы Иван был порасторопней! Такой увалень, тряпка, размазня чертова!.. Иногда он и разозлится на Грицька: «Да я ему!.. Да я его!.. Вот беда-то!..» — и тут же остынет. Так-таки просто и скажет: «Да, может быть, мы, братец, оставили бы его в покое?» Оставили! Как это так оставить? Что же это — копейка или пятачок пропадает? Это же земля! Это ведь десятина земли! Где это видано, чтобы землю из рук выпускать? Да нынче каждый за землю и руками, и ногами, и зубами держится! Над каждым комком дрожит! А если людей прибавится, еще хуже будет. А у него, у Панаса, сыновья... Вот Иван этой осенью, наверное, женится, так и у него будут дети. Всем нужна земля! А где они ее возьмут, если и эту несчастную десятину уступят проклятым выродкам Грицька. Да еще хотя бы только его, а то еще и детям этой грязной вертихвостки, пройдохи Ивги! Дураками их назовут, коль они выпустят из своих рук такой кусок земли.

Никогда в жизни!

Но что делать? Грицько и разговаривать с ними не хочет. Судились с ним — не помогло. Ну, коль слова не помогают, тогда дубинка поможет. Ей-богу! Его надобно поймать да так отлупить, чтобы ребра сквозь кожу вылезли, тогда уж он не пойдет сеять на чужой земле. Но и тут препятствие. Сам этого не сделаешь, а разве дурака Ивана заставишь? А было бы хорошо.

Можно и так сделать. Поймать его где-нибудь одного и избивать до тех пор, пока не поклянется, съев комок земли, что уступит им эту десятину. Тогда можно быть спокойным: прежде всего будет бояться, чтобы его снова не побили, а потом: если он поклянется, съев ком земли, — то уж такой клятвы не посмеет нарушить и больше не будет зариться на эту землю. Так и надобно сделать,

другого выхода нет. И пусть Иван как хочет, а помочь Панасу в этом он должен. А не захочет, то вот что: Панас из-за него теряет полдесятины земли (потому что землю, которую они получили бы у Грицька, поделили бы поровну), — ну, пускай Иван уступит ему полдесятины, и тогда Панас оставит это дело. Только Иван не уступит, нет!.. Тогда должен поддержать его...

И Панас стал обхаживать Ивана.

В воскресенье в Черноусе был престольный праздник. Жена Грицька, Ивга, оставив сына у сестры, еще вечером ушла туда: у нее в Черноусе были родственники, и она собиралась заночевать у них. Дети Грицька очень упрашивали ее взять и их с собой. Еще бы! Этот праздник давно им грезился! Соседская девочка Прися там была и рассказала им много интересного: там бывает ярмарка, и на ней продают такие огромные пряники: золотые рыбки и больше-пребольшие лошади — хоть ешь, хоть верхом садись!.. И все с золотыми головами!.. Продают еще бусы и ленты; и вокруг церкви с хоругвями ходят. Ее сестра в Черноусе живет, и такими вкусными лепешками ее угощали!.. А еще продают рожки сладкие... и дудочки... Но мальчикам ничего другого и не нужно было, кроме лошадей с золотыми головами. Эти лошади им уже даже снились! А девочка мечтала о длинных лентах до самых пят и рожках... Она очень любила рожки! Ах, как они упрашивали мачеху, чтобы их взяла!.. Да где там!.. И когда она ушла, дети бросились к отцу: пускай он их отвезет к тетке: она добрая, она возьмет с собой на храмовой праздник. Тетка, сестра Грицька, и в самом деле была доброй женщиной. Увидев такую кучу детей, она вначале всплеснула руками, а потом все же посадила их на воз и вместе со своими детьми повезла на престольный праздник — пусть уж детвора позабавится. Семеро детей на радостях подняли страшный крик. Грицько оставил их ночевать у сестры, потому что на следующий день им нужно было рано уезжать. Дал каждому по две копейки, чтобы купили себе лошадок с золотыми головами, золотых рыбок, рожков, бубликов, бус, лент и иных сладостей и украшений, о которых мечтали бедные дети, когда слышали слова «престольный праздник» и «ярмарка».

Грицько вернувся додому один. Сделав кое-что по хозяйству, поужинав, но спать ложиться ему не хотелось. Сел за стол, задумався. В хате стояла тишина. Даже странно было Грицьку: всегда был полон дом детей, а сейчас вдруг стало тихо. Посидел немного, потом снял со стены и поставил на стол старую жестяную лампу, которая мерцала тусклым светом, и развернул книгу. Он уже благодаря Зиньку все буквы изучил, умел и по слогам читать, только как-то ему очень тяжело было прочесть все слово сразу и разобрать, что оно значит. Вот и сейчас — никак не мог он разобрать слово: «староста». Он произносит каждую букву в отдельности, а вместе не может. Долго думал, пока додумался: «старосты». Обрадовался и хотел еще раз прочитать, но тут же заметил, что в конце стоит *a*, а не *ы* — получается что *староста*. Опять задумався над этим словом; долго мудрствовал, пока все-таки прочел:

— Староста! Вот что! Староста — это тот, кто от жениха ходит сватать девушку. Хитро! Ну, дальше...

И снова принялся читать, с трудом разбирая каждое слово, даже пот выступил на лбу. Но он рад, ибо верил, что своего добьется: станет умнее, легче будет жить. Верил, что если научится читать книги, то узнает из них все, все, что ему нужно: и как по закону защитить себя от лиходеёв, и имеют ли право братья отбирать у него землю, и откуда мир появился, и что Христос говорил людям, и многое другое. Книга казалась ему великим и могучим источником всей, какая только существует в мире, науки, премудрости и правды...

Вдруг он услышал, будто кто-то ходит у него под окном. Прислушался — ничего не слышать. Он снова склонился над книгой, но еще не успел и слова прочитать, как дверь в сени тихонько открылась.

«Может, Зинько идет? — подумал Грицько. — Так нет, он говорил, что сегодня не придет».

Тихо открылась дверь в хату, и на пороге показался Панас. Грицько догадался, что второй, стоявший за ним в темноте, был Иван. Грицьку стало не по себе. Не говоря ни слова, они бросились к нему, схватили его и стали скручивать назад руки.

— Панас!.. Иван!.. Братья! Что же вы делаете?

Он пытался вырваться от них, но разве мог спра-

виться с двумя такими здоровыми мужиками. Молча и быстро они вытащили его из-за стола, скрутили назад руки и связали веревкой. Потом положили его на пол.

— Слушай! — произнес Панас, вытягивая из-под свитки топор.— Только завопишь, только закричишь, так этим топором я размозжу тебе голову. Понимаешь? Молчи же!

Ошеломленный, испуганный, Грицько молчал и только смотрел на них широко открытыми глазами.

— Закрывай окна! — велел Панас Ивану.

Один схватил свитку Грицька, второй — чумарку, рядом и закрыли три небольших окошка. Потом сели на скамью, а связанный Грицько лежал на полу посреди хаты.

— Послушай-ка,— обратился к нему Панас,— зачем мы к тебе пришли... Откажись от земли!

— Не откажусь,— ответил Грицько.

— Дослушай сначала! Откажись от земли, поклянись, что не будешь больше сеять на ней да перестанешь судиться с нами из-за нее и никому не скажешь, что мы были у тебя! Поклянись перед иконой и святой землей! Иван, сними икону!

Иван пошел и снял икону.

— Вот икона,— клянись! — сказал Панас.

— Пет, не буду клясться.

— Послушай, Грицько! — произнес Панас; он уже выходил из себя.— Послушай да подумай, о том, что я сейчас тебе скажу, хорошо подумай, чтобы потом не жалел. Если ты сейчас нам не дашь клятву — будем избивать тебя до тех пор, пока не покоришься. Подумай об этом, да только поживее, я долго ждать не собираюсь.

Он положил икону на стол, а сам сел на скамью. Иван стоял у порога, потупив голову. Грицько молчал, только тяжело дышал. Его страшно побледневшее лицо казалось мертвым.

— Ну? — наконец спросил Панас.

— Не поклянусь... — хриплым голосом, с трудом произнес Грицько.

— Нет, врешь! Поклянешься!.. — крикнул Панас, вскочил с места и бросился к Грицьку. Схватив веревку, которой были связаны у того руки, он поднял его на

ноги и сразу же толкнул, бросив на пол. Несчастный упал, но Панас снова поднял его и снова бросил. Тяжело ударившись о пол, Грицько застонал.

— Кудахчешь! — с ненавистью зарычал Панас и все время поднимал и бросал его, поднимал и бросал...

— Брат! — прохрипел несчастный.— Брат!..

Панас остановился.

— Ну?

— Смилуйся!..

— Дашь клятву?

— У меня дети маленькие..

— Дашь клятву?

— Брат! Ведь есть же на свете бог!.. Он все видит!..

Он покарает... Брат, смилуйся!..— На губах у него запеклась кровь.

— Дашь клятву?

— Нет.

— Так вот тебе!..

Панас схватил его за веревку и снова бросил. Грицько, падая, ударился головой об угол сундука и грохнулся на пол вниз лицом.

— Ну, ты, поворачивайся!..

Панас толкнул его ногой и перевернул на спину. Бездыханное тело вытянулось, голова опрокинулась назад.

— Ну, доволен? Говори теперь — что, надумал?

Грицько не откликнулся, лежал без движения.

Иван все время стоял, словно окаменев. Он не мог пошевелиться, двинуться, сказать слово. Его точно кто-то сковал, придавил. С трудом произнося слова, сказал:

— Он мертвый...

— Молчи, дурак! — оборвал Панас, а затем снова обратился к Грицьку: — Ну, ты, говорю тебе — не прикидывайся, а отвечай! Слышишь? А то я тебя подниму!

И он изо всех сил ударил его сапогом в бок. Грицько молчал.

— Вставай, говорю тебе! — неступленно крикнул Панас.— Вставай! Вставай! Вставай!..

И после каждого «вставай» он бил его изо всех сил сапогом в бок так, что тело передвигалось по хате, но не проявляло никаких признаков жизни. А Панаса охватывала злость, страшная злость на это бездыханное тело — за то, что оно не шевелится, не отзывается. Он не хотел

этому верить. Он хотел насильно заставить Грицька заговорить, развеять страх, который сковал его, Панаса. И он бил его, топтал ногами, не понимая уже сам, что делает, и хрипел:

— Вставай! Вставай! Вставай!

А Иван стоял у двери, дрожал так, что зуб на зуб не попадал. Он не мог сдвинуться с места, пошевелиться, только смотрел на брата безумными глазами.

— Вставай! Вставай! Вставай!

Но Грицько не вставал.

Наконец Панас остановился, обессиленный, тяжело дыша... Стоял, сжав кулаки, и смотрел на мертвого брата. Потом вдруг опомнился, наклонился к груди Грицька, приложил к ней ухо...

Грицько не дышал.

На голове, на виске, он заметил черное пятно — углубление от удара об острый угол окованного железом сундука.

Панас поднялся и сказал Ивану:

— Слушай, если ты хоть кому-нибудь словом обмолвишься, что мы здесь были, тебе будет то же, что и ему!

Хотел было уйти, но вернулся, сел на скамью и задумался. Наконец приказал Ивану:

— Пойди в сени, найди вожжи и перебрось их через перекладину.

Иван не двигался с места, продолжал стоять, весь дрожа.

— Ну, шалопай, чего торчишь? Иди, говорят тебе!

Иван вышел. Покуда Иван там возился, Панас развязал Грицька. Потом вытащил труп в сени, вынес туда лампу. Переброшенные через перекладину вожжи уже болтались посреди сеней. Панас с одного конца сделал петлю, взял под мышки тело Грицька, подтащил к веревке и надел петлю на шею трупа.

— Тащи!

Иван взялся за второй конец вожжей. Веревка потянулась через перекладину, труп поднял вверх голову. Панас поддержал его. Труп закачался над землей, вытянулся, руки повисли, голова наклонилась вперед.

— Я подержу его так, а ты по лестнице полезай на перекладину, завяжи там вожжи.

Панас держал труп, а Иван приставил лестницу,

полез на перекладину и завязал вожжи. Потом Панас отошел в сторону.

Труп раскачивался посреди сеней.

Панас взял за руку Ивана и, как ребенка, вывел из сеней.

Лампа, оставленная в углу, на кадке с водой, мигала тусклым светом, освещая сени, а в них — труп с вытянутыми руками.

Он еще медленно и ровно покачивался: ра-аз... ра-аз...

## VI

### КТО ВИНОВАТ?

В воскресенье утром Зинько собирался ехать на ярмарку в Черноус. Посмотрел — и не нашел мешка, который должен был захватить с собой. Стал искать и вдруг вспомнил, что еще на прошлой неделе его одолжил у него Грицько и до сих пор не вернул. Было еще рано, и Зинько пошел за мешком к Грицьку.

Открыв дверь в сени, он увидел, что посреди них висит человек, вытянув руки и наклонив вперед голову.

«Что такое?» — подумал Зинько, не понимая, что произошло.

Подойдя поближе, узнал Грицька и увидел у него на шее веревку.

«Грицько повесился!» — мелькнула мысль.

Он подбежал, чтобы спасти его, чтобы снять, — и прикоснулся к холодным рукам трупа... Помощь уже не нужна: Грицько был мертв.

Зинько выбежал из сеней и увидел, что во двор входит сосед Грицька, Юхим.

— Грицько повесился! — крикнул Зинько.

Тот или не расслышал, или не мог еще осмыслить случившегося, переспросил:

— Что ты говоришь?

— Грицько повесился, говорю.

Юхим остановился, пораженный этой вестью.

— Как это повесился? Почему?

— Не знаю... Мертвый висит в сенях.

— Да ну?

— Пойди погляди!

Они вдвоем подошли к сеням. Юхим заглянул.

— Вот несчастный! — произнес он, перекрестившись.— Пойдем быстрее в волость и скажем!

Юхим не захотел даже перешагнуть порог сеней. Они прикрыли дверь и тотчас направились в волость. Там находился только сторож. Послали его за урядником и старшиной. Урядник жил поблизости и вскоре прибежал. Пока они рассказывали ему, в чем дело, пришел и Копаница. Рассказали и тому. Старшина крикнул сторожу, чтобы тот бежал к писарю, а сам, злясь, что ему не придется поехать на ярмарку, направился с урядником, Зиньком, Юхимом и понятыми к дому Грицька.

Слух о несчастье разнесся по селу, тем более что люди видели, как волостное начальство вместе с другими крестьянами направилось к хате Грицька.

Осмотрев тело, урядник и старшина оставили возле него двух десятских, чтобы они никого не пускали в хату, а сами пошли в волость. Там уже был писарь, и они принялись писать сообщение о страшном происшествии следователю, становому и врачу. Вскоре двое почтальонов летели верхом в волость с этими сообщениями. Зиньку и Юхиму велели сидеть дома и дожидаться, пока их позвут на допрос.

В это время Рябченко ехал на ярмарку и проезжал мимо хаты Грицька. Он увидел во дворе толпу людей, больше всего там было женщин. Люди теснились к хате, но у дверей стояли два десятских с дубинками и никого не пускали туда.

«Что тут происходит?» — подумал Рябченко и приостановил лошадь.

— А послушай-ка, Иосиф,— обратился он к человеку, который выходил со двора.— Почему здесь столько народу?

— А ты разве не слыхал? Грицько повесился... Или повесили его... Кто его знает!..— ответил тот и пошел по улице.

— Что?..— спросил Рябченко.— Не сошел ли с ума, Иосиф?

Однако с воза слез, привязал лошадь к воротам и вошел во двор. Десятские не пустили его в сени, но он с порога увидел мертвого и заметил на рубахе кровь.

«Ну, это штука! — подумал, возвращаясь к своему возу.— Должно быть, не сам Грицько угробил себя,

я кто-то другой, раз есть кровь!.. Вот так штука! Пускай ярмарка подождет, а я загляну-ка в волость».

Подстегнул лошадь и быстро поехал. В волости находился только старшина. Урядник побежал в село — в надежде разузнать что-нибудь о происшествии, а писарь хотел хоть одним глазом посмотреть на ярмарку, куда придут господа,— поэтому и помчался поскорей домой. Копаница, злой, ходил по комнате и тоже собирался идти домой, хотя о ярмарке уже и не думал, потому что врач и следователь могли приехать очень скоро.

— А что, Григорий Павлович, видели? — спросил Рябченко, здороваясь.

— Да видел, видел,— чтоб его и того, кто это сделал, черти увидели, коль мне из-за них на ярмарке не придется побывать! Кто-то убил, а я отвечай! — сердито ответил Копаница.

— А разве не сам Грицько повесился? — спросил Рябченко.

— Где же сам, коль голова пробита! — ответил старшина.— Убил кто-то, а потом повесили, будто сам Грицько руки на себя наложил.

— Гм... Оно и мне так показалось... Так, говорите, очень надо на ярмарку?

— Да так надо, до зарезу надо! — сердился Копаница.

Но Рябченко не обращал на это внимания.

— Ну, с ярмаркой мы как-нибудь устроим... А тут такое дело, такое дело, что...

— Что, что? — спросил взбешенный Копаница.

— Что, может быть, из-за него и от двух ярмарок откажешься, не то что от одной,— сказал Рябченко.

— Почему же?

— А вот давайте разберемся! Как вы думаете, Григорий Павлович, кто бы это мог сделать?

— Гм... гм...— заерзал тот на стуле.— Черт его знает!.. В хате все цело, ничего не ограблено... Это не чужой человек, не вор какой-нибудь, а так... свой человек... кто-то из недругов Грицька.

— И я так думаю,— поддакивал Рябченко,— кто-то из недругов Грицька. Но кто же?

— А нечистый его знает! Разве угадаешь? И так подумаешь, и этак подумаешь... А впрочем... как бы не братья? Ведь они все время с ним ссорились...

— Что ссорились, то ссорились, но я их не подозреваю... Все-таки они ему братья. И они бы не сделали такого... Здесь надо искать чужого человека.

— Ну а какие же еще есть у Грицька враги? — рассуждал Копаница. — Кажется, никого и не было.

— А кто его знает?.. Разве мы за всем можем уследить? Может, и были... А скажите, кто первым увидел убитого Грицька?

— Да Зинько Сивашенко.

— Гм... И не по соседству живет, а первый увидел... Соседи еще не узнали, а он уже увидел...

— Да и Юхим же следом за ним, говорит — он во двор, а Зинько из сеней!

— Вот то-то же, что Зинько из сеней! А как вы думаете, Григорий Павлович... наверное, тот, кто первый увидел, больше всего и ведаёт об этом деле?

— То есть? Зинько? — удивился Копаница.

— А что же? Разве Зинько такой святой, что не может этого сделать?

— Да нет... На него нельзя подумать... Зачем ему это делать?

— Зачем? Ха! — засмеялся Рябченко. — Ну, скажем, так: ухаживает Зинько за Грицьковой молодой... Вы же об этом слыхали?

— Да, слыхал... Об этом все село болтает...

— Вот и говорю: ухаживает за Грицьковой молодой. Ну а шила в мешке не утаишь, уж если все село видело — увидел и Грицько.

— Ну?

— Ну и как вы думаете: очень ему понравилось, что его жена в гречку скачет? <sup>1</sup>

— Да нет... Так что же?

— Как это так что же? Разве вам этого мало?

— Да я не пойму, какое это имеет отношение к убийству?

— Вот те и на! Скажем так: полез Зинько тайком к Ивге, а наскочил на Грицька. «Ты чего?» — «Я — не я, я — так себе...» — «Ах, так ты к моей жене?.. Вот тебе!..» И стали драться!.. Ну разве Грицько может устоять против Зинька?! Да еще, может быть, они вдвоем с Ивгой на

---

<sup>1</sup> То же, что «рога наставлять».

него набросились... стукнули его так сильно, что тот и свалился.

Старшина удивленно смотрел на Рябченка и молчал. Наконец произнес:

— И впрямь что-то похоже... Ну а ежели не он?

— Ну так что? Если не он, не осудят... Посидит немного на царской квартире, да и выйдет. А пока будет сидеть, мы тем временем все свои дела порешим; и ему уже ничего не удастся, даже если вернется. Вам же следует подготовить доказательства. В этом-то суть...

Копаница даже с места вскочил.

— Ну и мудрец ты, Яхрем Семенович! Ох и мудрец!.. Вот это придумал!.. Да тут и месяц будешь думать, а до такого не додумаешься! Это верно, что ради такого дела можно на ярмарку и начихать. Ну как в воду смотрел! Именно, именно, именно так! Попался, голубчик, попался! Теперь не выкрутишься.

— Погодите-ка, Григорий Павлович, не очень-то радуйтесь! Потому что, понимаете, это мы с вами так говорим... А что об этом следователь скажет?

— Следователь? Да он молодой и глупый, ему все что угодно можно наговорить. Я ему такое подозрение накручу — увидите!.. А вы, Яхрем Семенович, тем временем пойдите да человека четыре подберите таких, чтобы они нас поддерживали; с ними и приходите в волость, когда следователь приедет.

— Хорошо! Только нужно следить за тем, чтобы никто из тех, кто их поддерживает, не выскочил свидетелем... Чтобы никто не проговорился о ссоре Грицька с братьями... Потому что если следователь об этом узнает, может подумать и на братьев. Надо бы их куда-нибудь подальше!..

— Уберем подальше,— ответил Копаница.— Это вы хорошо придумали; буду следить...

После обеда приехали следователь с доктором. Не останавливаясь у волостного управления, следователь приказал старшине везти их к хате Грицька. Старшина примостился на передке рядом с кучером, и все поехали туда, а урядник мелкой рысцой побежал следом за ними. Следователь не хотел ничего расспрашивать до тех пор, пока сам не увидит убитого. Он был слишком молод и слишком уверен в том, что сумеет распутать самое запутанное дело. Прежде всего нужно принять во внима-

ние «обстоятельства преступления». По-видимому, Грицько не сам повесился, а его уж мертвым повесили. Кровь на рубахе, пробитый висок, синяки на избитом теле говорили об этом. Видимо, происходила борьба, покойник боролся за свою жизнь с кем-то, кто был сильнее его, и тот его избил, изувечил. Кто это сделал? В доме ничего не взяли. Получается, что преступление совершил не вор, а такой человек, у которого убитый стоял поперек пути.

— Старшина!

— Издесь, ваше высокоблагородие!

— Что этот... Григорий Момот... как он, ладил с людьми? Не было ли у него каких-нибудь врагов или прочее?

— Кто его знает, ваше высокоблагородие. Как будто не слышно было...— каким-то неуверенным голосом ответил старшина.

«Врет! Сознательно врет! Стараются замять дело»,— подумал следователь, который исходил из принципа, что следователь никому не должен верить, кроме себя,— тогда скорее поймешь суть дела. И он сказал:

— Как же это так? Ведь у каждого человека есть враги, без этого нельзя. Если не тот или другой, так жена...

— Разве что из-за жены... Истинно, ваше высокоблагородие, что из-за жены... потому что жена... известно... она...

Копаница умышленно запнулся, словно не хотел выдавать, а следователь подумал: «Врешь, не увильнешь!»

— Ну, говори же! Чего замолчал? Кто с ним из-за жены враждовал?

— Да здесь один человек... Зинько Сивашенко...

— А почему они враждовали?

— Да как-то неловко и сказать, ваше высокоблагородие... Оно... так, видите...

— Не мнись, а говори прямо! — крикнул следователь.— Мне нужно всю правду говорить, как батюшке на исповеди!

— Так что же... ваше высокоблагородие, и сами видите... Что вам теперь говорить?.. Конечно, Зинько Сивашенко связался с женой Грицька Ивгой,—ну, из-за этого у них и вражда была... Об этом всему селу известно...

«Все же выдал! Вот их и нужно хватать!» — подумал, радуясь, следователь и громко добавил:

— Видишь, всему селу известно об этом, а ты хотел от меня скрыть!

— Простите, ваше высокоблагородие, я не догадался, что именно вам об этом нужно рассказать,— ответил Копаница, опуская глаза и покорно кланяясь.

— Не догадался! Вы все такие, что не догадываетесь, пока вас не прижмешь! Ну, смотри же, чтобы теперь мне только правду говорил. Сам Григорий Момот знал об этом?

— Вначале — нет, а потом уже, когда всему селу стало известно, то и он узнал... Ну, покойник сильно сердился на жену...

— Дальше?

— Часто ссорились... Потому что она с Зиньком гуляла... Это тот самый, который сегодня утром первым увидел убитого...

— Ага, так это тот самый! — сказал следователь; а услышав, что сосед Юхим встретил Зинька, когда тот выходил от убитого, подумал: «Ну, теперь все понятно: преступника всегда тянет туда, где он совершил преступление... И детей увели, чтобы не мешали».

Он продолжал допрашивать Копаницу и «все же заставил» его сказать, что он никого, кроме Зинька, не подозревает.

«Да, их необходимо немедленно взять. Да!..» — думал следователь и велел старшине привести к нему Зинька, Юхима, Ивгу и еще нескольких свидетелей, которых тут же подсказал ему «с неохотой» проворный Копаница. А тем временем доктор закончил свое дело, и они вдвоем направились в волость — допрашивать свидетелей.

Свидетели уже ждали их в волости. Ивга еще не пришла из Черноуса: ее никак не могли там найти.

«Дело ясное! — думал следователь, садясь за стол.— Одни из грубых сельских романов, и только. Ну, надо немножко взвинтить нервы герою этого романа, тогда легче будет его уличить. Допросим его в самом конце, «на закуску».

И он начал допрашивать Юхима.

Свидетелей подобрали таких, что лили воду на одну мельницу. Следователь все больше и больше убеждался в том, что он нисколько не ошибается. Наиболее важным было для него показание Рябченка, раскрывшего ряд

отдельных деталей, которые помогли создать ясную картину преступления и полностью изобличить Зиньку.

Следователь собирался допросить его даже после Ивги, но ее до сих пор не нашли. Пришлось приступить к допросу Зиньки.

— Зиновий Сиваш!

Зинько давно уже ждал своей очереди, стоя на крыльце волостного управления, и удивлялся, что всех уже допросили, а его так долго держат. Он обрадовался, когда наконец услышал свою фамилию. Вошел в волость, поклонился двум господам, сидевшим за столом, и стал у двери.

— Ты Зиновий Сиваш? — спросил следователь.

— Я.

— Подойди ближе.

Зинько подошел.

— Ближе, еще ближе! Вот сюда.

Зинько подошел еще ближе.

— Так, значит, ты Зиновий Сиваш... — еще раз сказал следователь протяжно, с ударением произнося эти слова и пристально глядя на Зиньку. — Так вот какой ты, Зиновий Сиваш. Скажи-ка мне: это ты первым увидел убитого?

— Я.

— И тебе известно, кто его убил?

Зинько удивленно посмотрел на него.

— Нет, не известно, — ответил.

— Ну, не известно так не известно. Хорошо! А расскажи-ка, как ты его увидел!

Зинько стал рассказывать. Следователь слушал и смотрел на него, не сводя с него глаз, и, казалось, как будто насмешливо улыбался. Зиньку стало не по себе от его пристального взгляда и непонятной улыбки. Это его обеспокоило, и беспокойство отразилось на лице.

«А, видишь! — думал, радуясь, следователь. — Он уже не может выдержать моего взгляда, уже начал путать. Погоди, голубчик, я тебя еще не так прижму».

— Так! — произнес он вслух, когда окончил Зинько свой рассказ. — Теперь вот что скажи: знал ли Грицько Момот до этой ночи, что ты ухаживал за его женой?

Зинько широко открытыми глазами посмотрел на следователя. Он вначале удивился, затем возмущился и гордо ответил:

— Это ложь! Его жена не интересовала меня, и никогда я к ней не ходил.

— Значит, не ходил? — насмешливо спросил следователь. — А вот сейчас ее приведут сюда, мы и спросим у нее — было у вас что-нибудь или нет. А сейчас я кое-что зачитаю тебе.

И он стал зачитывать Зиньку небольшие отрывки из показаний свидетелей:

— Терентий Тонконоженко показал, что ты с Ивгой Момотовой жил как муж с женой... Михайло Сучков... показал, что это было известно всему селу... Старшина Григорий Копаница — то же самое... Захарий Забегайко неоднократно видел, как ты ночью уходил из их хаты... Ефрем Рябченко — что видел вас и поймал на месте преступления на лугу в вербах... Ульяна Петренко — что видела вас в саду... Если хочешь, я тебе еще прочитаю, но достаточно и этого. Что ты на это скажешь?

— Это все подлая ложь!

— Ха-ха! Какой ты горячий. Ну, теперь-ка послушай, что я тебе скажу.

Следователь откинулся на спинку стула, пристально посмотрел Зиньку в глаза и произнес, отчеканивая каждое слово:

— Зиновий Сиваш! Расскажи, за что ты убил Григория Момота?

Уже по тому, как следователь вел себя с ним, Зинько понял, что тот не доверяет ему и, неизвестно почему, спрашивает не о деле, а об Ивге, но *этого* вопроса он никак не ожидал. Вопрос показался ему таким странным и нелепым, что поначалу даже испугал его. Он только широко раскрыл глаза и произнес:

— Как?

— Ты разве не слышишь? — с напускной строгостью сказал молодой следователь, чтобы подействовать на «преступника». — Я тебя спрашиваю, за что и как ты убил Григория Момота? Один или вместе с его женой?

Только теперь Зинько окончательно понял, что его оклеветали. У него даже дрожь пробежала по телу, но он ответил спокойно:

— Спросите, господин, того, кто это сделал, но не меня.

— А кто же это сделал?

— Не знаю.

— Так я знаю! — грозно крикнул следователь, поднимаясь. — Знаю и утверждаю: ты!

И чтобы сильнее поразить «преступника», он грозно повысил голос, да еще и пальцем показал на него.

— Ты убил его! И я тебе расскажу — как. Ты ночью пришел к его жене, думал, что застанешь ее одну, а встретил его. Вы поссорились, начали драться, и ты убил его. Затем повесил, чтобы подумали, что Момот сам повесился. Это все мне хорошо известно и без тебя, а сейчас я хочу выяснить только одно: ты один его убил или вдвоем с Ивгой Момот? Ну, говори — как? Один или вместе с ней? Ну!

Следователь стоял перед Зиньком, грозно сверля его своими глазами. Зинько слегка дрожащим голосом ответил:

— Ни я, ни она. Все это неправда, выдумка. А если кто-нибудь вам это и сказал, то он лжец! Напрасно вы, господин, обвиняете меня в этом... Я ни в чем не повинен. Ищите виновного в ином месте.

— Хорошо! Мы знаем, где искать, — произнес насмешливо следователь. — Урядник! Арестовать его и отослать в город!

Урядник подошел к Зиньку.

— Ваше высокоблагородие, — произнес Зинько, — за что вы глумитесь надо мной? Кто может доказать, что я совершил это страшное злодеяние? Никто не может, а вы меня арестовываете. Бог вас накажет за то, что вы хотите погубить невинного человека!..

— О, какой речистый! — сказал следователь. — Ничего! Посидишь немножко в остроге, там тебе язык укоротят! А о том, чтобы доказать, — не беспокойся: докажем! А куда будем искать этих доказательств, ты, голубчик, посидишь. Урядник! Уведи его.

— Люди добрые! — взмолился Зинько. — Клянусь богом, что я не виновен! Я напишу жалобу о том, что меня так оскорбили и опозорили!..

— Ну-ну, иди, не рассуждай! — Урядник схватил его за рукав и потащил из комнаты.

Следователь сел писать решение об аресте Зинька.

Пока все это совершалось в волости, Ганька занималась дома хозяйством и ничего об этом не знала. Она ожидала Зинька и удивлялась, почему он так долго не возвращается. Ей нужно было принести воды. Она взяла

ведра и побежала к колодцу. Подходя к нему, увидела группу женщин. Они о чем-то оживленно беседовали, а увидев ее, тотчас умолкли. Поскольку она все время думала о Зиньке, то не замедлила спросить их:

— Не были ли вы возле волости, не видели ли там моего мужа? Как ушел с утра, до сих пор нет.

Женщины как-то странно посмотрели на нее, затем переглянулись между собой. Гаинка удивилась.

— Почему это вы так смотрите на меня?

— Да она ничего не знает! — произнесла одна из женщин, а потом обратилась к Гаинке: — Так ты ничего и не знаешь, милая?

— А что я должна знать? — удивленно спросила Гаинка, оторопев.

— Ах, и несчастная же у тебя судьба, доченька! Несчастливая твоя судьба! — покачала головой и чуть ли не заголосила старуха. — Да уже увозят твоего Зиньку, увозят в город, в тюрьму!

— Зинька?.. В город, в тюрьму?.. Что вы говорите, бабушка?

— Правда, милая, правда! Уже и лошадей запрягли, увозят его... Следовательно сказал, что Зинько убил Грицька.

— Ложь! Это ложь! — воскликнула Гаинка.

Ведро упало на землю, и она опрометью побежала по улице.

Бежала к волости. «Уже и лошадей запрягли, увозят... увозят... — только эта мысль и вертелась у нее в голове, словно ударяла по ней молотом. — Не допустить!.. Не допустить, чтобы увезли!.. Хотя бы успеть!..»

Она бежала так, что люди пугались, увидев ее, но она этого не замечала.

Вот уже видна волость... вон крыльцо... вот телега у крыльца... люди... Зинька нет!..

Она увидела его, когда подбежала к крыльцу: его выводили из волости со связанными назад руками.

Гаинка бросилась к нему, прижалась, стала обнимать его. Ей сперло дыхание, она не могла ничего сказать. Наконец собралась с силами и произнесла:

— Что это? За что? Зиня, за что это?

— Говорят, что я Грицька убил... Везут... в острог...

— Неправда, неправда!.. Ты не убил Грицька, нет!

Я знаю, что не убил!.. За что же тебя? Так нельзя!.. Свя-  
зали... Нет, так нельзя. Я развяжу!..

И она стала развязывать ему руки.

— Прочь, молодница, не трогай! — сердито оттолкнул  
ее десятский.

Зинько стоял белый как мел, не в силах произнести  
слово. А она вырывалась из рук десятского и твердила  
таким же тихим, обессилевшим голосом, словно убеж-  
дала кого-то:

— Нельзя же так! Нельзя!.. Надо развязать!.. Отпус-  
тите меня!.. Я развяжу... Ему надо идти домой... Отпус-  
тите меня!

— Уведите ее прочь! — услышала Гаинка чей-то голос  
и увидела на крыльце какого-то господина. Поняла, что  
все это делается по его воле. Она вырывалась из рук  
десятского и подбежала к господину. Остановилась перед  
крыльцом и, глядя на господина снизу вверх, говорила:

— Паньчику, лебедушко мой! Вы же видите, Зинько  
не виноват!.. Вы знаете — он ведь не такой, чтобы мог  
это сделать!.. Отпустите его!.. Зачем вы его связали?

Она умоляла тихим голосом и, как ребенок, просила не  
наказывать его, простить.

— Твой Зинько человека убил, поэтому его и связали!  
— ответил господин.

— Это ложь!.. Грешно вам возводить напраслину на  
него! Вы так говорите, потому что не знаете Зинька... Он  
добрый... Он такой добрый!.. Он милосердный!.. Отпус-  
тите его!..

— Нельзя!.. Отойди! — приказал господин, процедив  
сквозь зубы: — Идиотская сцена!

Однако она не отошла. Она стала на колени, протя-  
нула руки к его ногам, смотрела на него взглядом, пол-  
ным безграничной мольбы и слез.

— Ох, отпустите же!.. Отпустите, паньчику!.. Я буду  
за вас богу молиться... Чтобы он вам счастье послал...  
Куда вы посмотрите, где вы слово скажете... Отпустите!..  
Отпустите!.. Отпустите!..

Она задыхалась, а руки, дрожа, сжимали эти неумо-  
лимые ноги. И вдруг услышала, что телега двинулась.  
Вскочила, огляделась... Зинько сидел уже в телеге.

— Прощай, Гаинка!.. Молись богу...

Телега двинулась... Она бросилась к нему, но чьи-то  
сильные руки схватили ее сзади, не пустили. Она смот-

рела вслед удалявшейся телеге, грохотавшей по улице... Доехала до поворота... свернула... В последний раз она увидела лицо Зинька... И он исчез.

— Ах!..— произнесла она тихо и упала на землю. Она уже ничего не слышала и не видела...

## VII

### ТЕПЕРЬ ИХ ВЛАСТЬ

Рябченко и его компания теперь получили полную свободу. Зинько уже два месяца находится в тюрьме, и похоже, что не выйдет оттуда. Оставшиеся его товарищи приуныли. А как же им не унывать? Ведь Зинько среди них был самым умным и самым грамотным; за его спиной все они чувствовали себя хорошо, а теперь, оставшись без него, они не могли справиться с делами. Главное — не стало у них того смелого, бодрого, надежного духа, который он умел вселять в них. Бывало, только слово скажет, и сразу хочется и работать, и добиваться чего-то, а сейчас некому было это слово сказать. Больше всего их угнетало то, почему нет среди них Зинька. Если бы он просто куда-то ушел или уехал, им не так было бы досадно. Но над Зиньком, как страшная туча, нависло обвинение... да еще такое!

Правда, товарищи не верили наговорам и высказывались об этом вслух. Больше всех защищал его Васюта. Он ездил в город, хотел навестить Зинька в тюрьме, ходил к следователю, упрашивал,— но его не пустили. Он начал было уверять следователя, что Зинько неповинен, однако тот и слушать его не захотел и вышел из кабинета. Васюта вернулся из города еще более опечаленный, но еще острее начал он спорить, ссориться с теми, кто обвинял Зинька,— а таких было много: Рябченко, Копаница, Тонконоженко и другие, им подобные, обвинявшие его потому, что им нужно было так, ибо одни ненавидели его лютой ненавистью; другие — потому что привыкли этим богачам во всем угождать да потакать. К тому же были и такие, которые всегда рады, если выяснится, что есть кто-то худший, чем они сами, и всегда у них виноват тот, кого обвиняют; и, наконец, больше было таких, что раз все говорят, то и они повторяют. И теперь нашлись такие женщины и мужчины, которые

видели, как Зинько ходил к Ивге, как целовал ее. Женщины больше всего поносили Ивгу. И ее в тот же день посадили в тюрьму, но не долго держали, потому что вскоре выяснилось и было доказано, что еще в субботу днем она ушла в село Черноус и там ночевала. И хотя ее выпустили из тюрьмы, положение ее было незавидное: она видела, что люди обходят ее, сторонятся, слышала, какие о ней сплетни распускают. А их распускали так, что вскоре о них все село знало со всеми подробностями — когда и где Ивга встречала Зиньку, как они вдвоем обманывали Грицька, как она забыла предупредить его, что на ночь уходит в село Черноус. А Зинько пришел к ней, да и наскочил на мужа. Как Грицько с ним ругался, а потом они начали драться, пока более сильный Сивашенко наконец не убил Грицька. Теперь все от мала до велика знали об этом. Ко всему прибавилось еще многое другое. Одни говорили, что у Сивашей вся семья такая: один конокрад, сослали его в Сибирь; второй вот человека убил, а третий — такой, что с живого шкуру сдирает. А о том, что именно Зинько боролся против живодера Дениса, уже и не вспоминали, словно этого и не было. Зато хорошо помнили, что Зинько всегда был не такой, как люди: все, что говорили почтенные хозяева, он считал глупостью, ложью, выдумкой; лишь то, что вычитал в книгах, он считал правдой. И о ведьмах — ложь, и о бесах — ложь; и водки не пей, и в сельской общине правды нет, — всегда говорит такое, что слушать не хочется. А в том, что убил он, не приходится сомневаться, по всему видно...

Да, по всему — именно это обеспокоило и встревожило его друзей. Они не верили, не хотели верить, но вокруг все только и говорили о Зиньке, были уверены... А это угнетающе действовало на их души, оставляло след в их сердцах, незаметный для них самих. Они не верили и не могли предполагать, что где-то глубоко, глубоко в душе, зарождался страшный вопрос: «А что, если правда?..»

Зинько был их вдохновителем, а теперь все село обливает его грязью, и частица этой грязи падает будто бы и на них, словно и они были никудышные, потому что слушались человека, который запятнал себя таким преступлением. Об этом им никто не говорил, но они чувствовали по тому, как относились к ним люди...

И все это страшно угнетало трех товарищей: Васюту, Карпа и Дмитра. Только трое их теперь и осталось. Они думали, что их группа из пяти человек скоро увеличится до десяти, затем до двадцати, а потом все будет увеличиваться, увеличиваться, пока их станет большинство в общине. А вот сейчас и этих пяти нет, осталось только трое... И эти трое ходили грустные, редко собирались вместе, а если и собирались, то об общественных делах уже не говорили. Не приходили они и на сельские сходки...

А общественные дела шли все хуже и хуже. О жалобе, которая была подана на Дениса, теперь уже никто и не вспоминал — о ней совсем забыли. Денис хозяйничал на этой земле как настоящий хозяин. А вся их компания, вместе с Вавиловым, взяла в аренду и землю Горянского. Теперь вся общественная земля оказалась в центре; вокруг лежала земля богачей, которые стали все больше и больше прижимать мужиков. Сразу же поднялись цены на аренду земли рубля на два. Вначале крестьяне не хотели брать по такой цене, подняли шум. Они долго держались и решили взять в аренду землю у других помещиков. А те, услышав, что кулаки села Дыблево повысили цену на землю, тоже набавили, хотя и не по два, а по рублю за десятину. А когда мужики подумали, что им придется возить за двадцать верст снопы с поля, совсем загрузили. Рассчитали, что навряд ли помещичья земля обойдется дешевле здешней. И сразу же кое-кто из мужиков взял в аренду землю Рябченка или его компаньонов, а увидев это, бросились и другие. И получилось так, что мужики, покричав немного, все-таки стали платить на два рубля больше за аренду десятины.

Это одно, но потом выяснилось другое. Кое-кому из крестьян уже в Филипповку пришлось одалживать деньги. Конечно, одалживали за отработку. Предполагали, что и отработка будет такой, как прежде, но оказалось, что нет: срок отработки увеличился почти в полтора раза. Опять некоторые мужики бросились в другие места искать денег. Но где их найдешь? Только у того, у кого они есть, — а все богатым одним миром мазаны. С деньгами получилось то же, что с землей: походили, походили, да и вернулись к своим, прежним хозяевам, принимая все их условия.

Все это возмущало крестьян, а те из них, что поумнее, стали уже понимать, почему Зинько вместе со своими товарищами был против того, чтобы продавать землю Денису. Теперь стало ясно, что предположения Зинька оправдались: после продажи земли сельская община оказалась в руках Денисовой компании, отрезав для себя все пути и дорожки к земле. Может быть, сейчас, если бы Зинько был в селе... но Зинько находился в тюрьме.

Горевали крестьяне села, а Рябченко и его компания радовались. Правда, и среди них было двое, которые чувствовали угрызения совести из-за того, что произошло с Зиньком. Это были Денис и отец Ганьки. Дениса мучило то, что один его брат был в Сибири, а второй готовился отправиться туда. И Остапу было неловко, что его зять оказался убийцей, каторжником. Но что случилось, того уж не изменишь. Не из-за него это свершилось, он тут ни при чем. Хотя и нехорошо, что родственник такой, но, если уж его забрали в тюрьму, почему бы и не воспользоваться его отсутствием? Вот они и пользовались, да и радовались, что теперь им в сельской общине стало вольготно и все проходило так, как они договаривались еще весной. Вместе с другими советовались о том, как им поступать и впредь, чтобы своих мужиков окончательно обуздать. Теперь они завели такой порядок: хотя каждый хозяйничал на своей земле в отдельности, однако цену на аренду земли и размер отработок определяли все вместе; они также собирались уменьшить оплату батракам, увеличить цену на пастбище и все остальное, за что мужикам приходилось им платить. Они заблаговременно устанавливали цены и были уверены, что теперь уже мужики Дыблева никогда не вырвутся из их лап,— будут сидеть, как рыба в неводе, да обрабатывать им безропотно барщину!

И мужики села почувствовали это... Среди недругов Зинька был только один человек, которого терзала мысль о его неволе и горячо желавший, чтобы Зинько поскорее освободился из тюрьмы. Это был Иван Момот.

После той страшной ночи, когда они вдвоем с Панасом замучили брата, парень не находил покоя. Да, замучил и он, а не один Панас. Вначале Иван пытался уверить себя в том, что он не виноват, что все это сделал Панас, но совесть подсказывала ему другое. Правда, Иван никогда так не враждовал с Грицьком, как Панас.

Но он подчинился Панасу, слушался его, делал все, как тот велел,— вот и случилось!..

Будь проклята, трижды проклята эта несчастная нива, из-за которой свершилось такое злодеяние. Пускай бы она век не родила, пускай бы она пропала, провалилась сквозь землю и его, Ивана, вместе с собой поглотила, лишь бы не мучиться так!

Поздно, поздно понял Иван, что ему не следовало слушаться Панаса, не надо было ссориться из-за земли — по закону она принадлежала Грицьку,— а главное — не надо было в ту ночь идти к Грицьку и помогать Панасу.

Ох, боже!.. Боже!.. Боже!..

«Молчи, а то и тебе будет то же, что и Грицьку!» — пригрозил ему Панас. Он говорит, что не собирался убивать Грицька, а только хотел напугать его, чтобы тот отказался от земли. Он, дескать, не виноват, что Грицько, ударившись о сундук, пробил себе голову и умер. Панас не хотел этого и потому не виноват. Но уж коль так случилось, не следует никому об этом говорить. А что Зинька взяли в тюрьму — пустяки: подержат, да и выпустят. А куда надобно молчать; ни словом, ни видом не показывать людям, чтобы им и в голову не могло прийти. И Панас был на похоронах, и Ивану велел с собой идти.

Для Ивана это было самое большое мучение. И если бы рядом с ним не стоял Панас, если бы он ежеминутно не чувствовал на себе его пронизывающего взгляда, то он, Иван, не выдержал бы: упал перед этим истерзанным трупом на колени и покаялся, рассказал бы людям всю правду.

А почему он этого не сделал? Побоялся наказания? Но есть ли наказание более тяжкое, чем душевные муки?

Погубил брата, осиротил его детей, погубил и другого человека — Зинька...

Иван не мог по ночам спать. Этот страшный труп с поникшей головой и вытянутыми руками, с раскрытым ртом преследовал его. Вставал перед ним, когда он оставался один в темноте. Он видел его перед собой, словно и впрямь тот висел здесь рядом. Парень вскакивал, садился на кровать и, обняв руками колени, смотрел на него, а в голове, словно удары молота, раздавались два слова: «Убийца брата! Убийца брата!..»

Только два слова!.. Боже! Только два слова, два слова, а почему они его так терзают, так жгут, что

хочется выбежать на середину села и крикнуть на весь мир: «Я убил брата!..»

И чуть только задремлет, как снова его что-то толкнет, и он вздрагивает — и снова перед ним возникают в тумане сени и посреди них — он, брат..

Однажды он молотил. Цепы ритмично ударяли по току: так-так-так! так-так-так!.. И вдруг вместо этого «так-так-так» Иван отчетливо услышал, как цепи ясно произносят: «Убил брата! Убил брата!» Он посмотрел на снопы, а там вместо них лежит мертвый Грицько. Он закричал, бросил цеп и убежал.

В ту же ночь Иван тайком вышел из дома и направился на кладбище. Точно вор, крадучись вдоль тына, перешел улицу, вышел за село. Луны не было, только звезды мигали на темном небе холодным, неприветливым блеском. При их свете Иван заметил уже первые ближайшие кресты на могилах. Подошел к кладбищу. Раньше он боялся ходить на кладбище ночью. Ему однажды пришлось побывать с парнями там, но тогда почему-то страшно было.. А сейчас шел один и не боялся. Его вело туда то, что страшнее всякого страха. Он блуждал среди могил и крестов, отыскивая небольшой дубовый крест. Холодные звезды на враждебном почерневшем небе освещали ему путь. Нашел могилу.

Вот под этой горкой земли лежит замученный Грицько.

— Грицько, братик! Слышишь ли ты меня?

Не откликается.

Он упал на землю, руками обнял могилу.

— Гриць, братец мой, слышишь ли ты меня? Откликнись! Погибаю, нет моей мочи!..

Иван бился головой о землю, целовал ее, умолял.

— Прости меня, мой братец, мой добрый советчик! Прости меня за то, что причинил тебе такие муки, твоих маленьких деток осиротил!.. Да если бы я знал, что так случится, я бы ушел на край света, чем быть свидетелем того, что произошло!.. Но моим страданиям нет конца!.. Тебе, братец, бог все грехи простит за такую смерть, а я буду мучиться и на этом и на том свете!.. Ты, братец, в раю вместе с богом будешь пребывать, а я в смоле кипеть!.. Прости ты меня, мой родненький, прости, потому что душа моя с телом расстается!.. Да прости же! Да помилуй меня!..

Слова обрывались, смешивались с рыданиями. Истер-

занная, измученная душа билась, словно пташка в когтях у кошки, билась в тисках этих неземных мучений.

Высокое и широкое небо простиралось над большой и огромной землей. А на ней, в темноте, у небольшого креста распластался маленький, мучимый совестью человек и молил для себя покоя.

— Да помилуй же!.. Да если бы ты сейчас был жив, я бы след твой целовал!.. Покарай как хочешь, только прости!.. Лучше бы я сам тут лежал, мне было бы легче!.. Как теперь я мучаюсь!.. Ох, нет конца этим мукам!.. Душа не выдержит... Погибнет... Братец!.. Гриць!..

Мольба оставалась без ответа. Молчала холодная земля, безмолствовало черное, мрачное небо. Холодно, враждебно блестели звезды.

Нигде — ни среди этого бескрайнего неба, ни на этой большой земле — не мог он найти себе покоя.

Рыдания прекратились, слова оборвались. Если не было покоя, одолевала усталость.

Наконец все утихло. Только обессиленное тело все еще лежало, уткнувшись головой в бугорок земли. Вокруг возвышались черные кресты, которые казались в темноте чудовищами с распростертыми руками. Стояли и молча пристально смотрели...

Поднялся, пошел...

Однако помогло. Придя домой, он впервые после той ужасной ночи уснул так крепко, что ничего не чувствовал и не слышал до тех пор, пока его не разбудили. На другой день даже сам удивился: был совсем спокоен. Грустный, но спокойный, не терзаемый угрызениями совести, как прежде. Прошел этот день, прошел другой, третий, неделя... Видение больше не появлялось, на душе печаль, но спокойно...

— Ой, братец! Неужели ты меня простил?

Так прошел месяц. Иван даже поправился. Спал хорошо, и работал как следует, только на Панаса не мог смотреть. Нанялся в экономию, чтобы не видеть его. Ничего, и там можно жить. Это его не волнует. Однажды, натрудившись и утомившись, он крепко спал, и вдруг почувствовал, что его будто подбросило: он услышал знакомый звук.

Поднялся, сел и прислушался: звук повторился! Вот точно так, как веревка по дереву скользит, если ее тянуть. Где это? Что это?

Стал напряженно прислушиваться и совсем отчетливо услышал, как веревка снова скользнула... и остановилась... А потом снова... Его охватила тревога, сердце сильно забилося. Откуда этот звук? Зачем? Ведь он очень хорошо знает, что именно такой, точно такой звук слышал, когда тянул веревку тогда, там... Вон-вон-вон-вон... Он уже видит: как в темноте появляется перекладина, и через нее переброшены вожжи... Дерг! Вожжи потянулись вверх, и на конце их закачалось что-то длинное, тяжелое... Грицько...

И он качался перед ним в темноте с опущенными руками... Иван понимал, что находится не в сенях Грицька, а в господской кухне, что вокруг него на полу спят люди, что здесь нет перекладины... А Грицько покачивался на ней тихо, покачивался мертвый... Иван отчетливо видел его в темноте... даже струйку крови, стекающую у него по бороде за воротник.

Иван не кричал, не вскакивал. Он только дрожал и смотрел, как Грицько тихо покачивался перед ним ра-аз... ра-аз... ра-аз...

И он понял, что снова его стала преследовать тень брата...

С той поры он мог спать только до полуночи. После полуночи скрипела веревка на перекладине, и он просыпался. Лежал и смотрел, как над ним качался Грицько: ра-аз... ра-аз... ра-аз... Он страшно осунулся, ходил бледный, как тень, с безумными, беспокойными, блестящими глазами. Днем видения его не преследовали... Только ночью, а днем — нет. Он стал бояться людей и избегать их. Ему казалось, что каждый знает, что каждый хочет спросить его: «А что, и в эту ночь приходил к тебе Грицько?» И этого вопроса он почему-то боялся еще больше, чем Грицька...

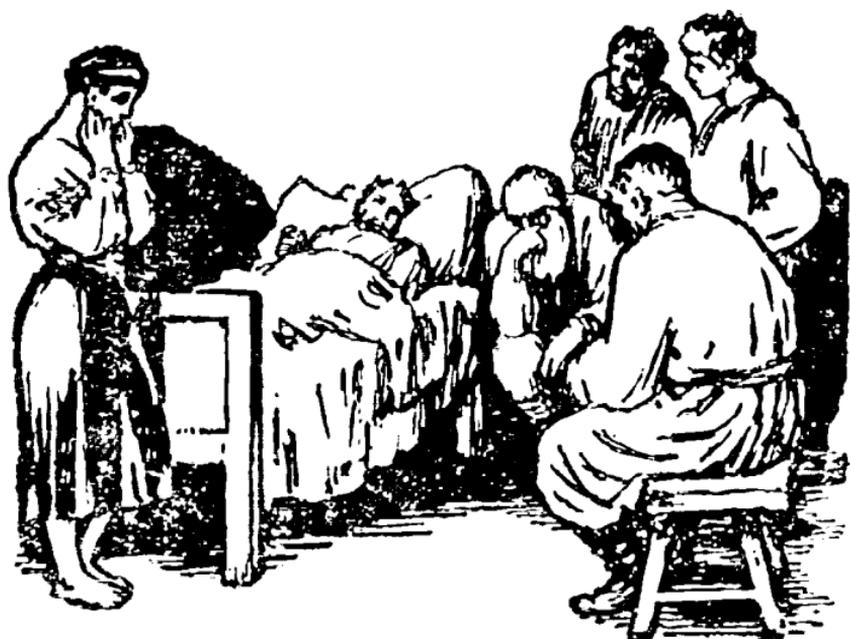
Он давно перестал молиться. Вначале пытался, но молитва не шла на душу... Все равно он знал, бог не примет молитву убийцы.

Он чувствовал, что дальше так не выдержит.

Что-то сделает... он должен что-то сделать.



Часть третья



Чому, кури, не пієте?  
Чому, люди, не чуєте?  
Турки село звоювали,  
Громадами людей гнали!  
*Народная песня*

## I ПЕЧАЛЬНЫЙ ДОМ

В тот страшный день, когда взяли Зинька, люди подняли с земли лежавшую без сознания Ганнку, понесли и уложили ее на крыльце волостного правления. Женщины брызгали на нее водой до тех пор, пока она не пришла в себя. Раскрыла глаза, медленно поднялась. Вначале она не понимала, что произошло, где она и что с ней. Сидела на скамье и смотрела потускневшими глазами на людей, окружавших ее. Постепенно сознание возвращалось к ней, и наконец она вспомнила все. Оглянулась вокруг — ни лошади с телегой, ни Зинька уже не было. Встала молча и сошла с крыльца.

— Ганнка, куда ты, погоди! — бросились за ней женщины.

Но она отстранила их рукой и быстро, хотя и пошатываясь, пошла домой. Она ничего не видела перед собой, только чувствовала, что ей необходимо как можно скорее добраться до своей хаты. И все-таки дошла, открыла дверь и стала на пороге. Старушка мать посмотрела на нее, перекрестилась. Перед ней стояла не Гаинка, а страшное бледное привидение.

— Боже! Доченька! Что с тобой?

Старуха бросилась к ней, однако она молча отстранила ее рукой, вошла в комнату и села за стол. Удивленная мать, не понимая, что с ней случилось, снова подошла.

— Доченька, Ганночка, скажи, что с тобой?

— Ничего, мама... Зинько в остроге...

— Как это в остроге? — ужаснулась мать. — Что ты говоришь, бог с тобой!

— Да, в остроге... люди сказали, что он убил Грицька. Вот его в острог и забрали...

Она говорила ровным тихим голосом, словно это было обычное дело, которое нисколько не трогало ее. Только ее безумные неподвижные глаза были устремлены в одну точку, и она сидела словно статуя, высеченная из белого мрамора.

Мать, услышав страшную весть, вначале онемела, а потом закричала, зарыдала...

— Не плачьте, мама, — тем же ровным, безразличным голосом произнесла Гаинка, — я уже плакала: не помогло, они взяли его.

— Кто же взял, доченька?

— Люди... господа... Они сказали, что он убил Грицька, и забрали его в острог.

— Да кто тебе это сказал? Разве можно такое сказать о Зиньке! Ах, боже мой, боже!.. Ах, горе нам, несчастным!.. Одного сына посадили, погубили... и второго теперь взяли!.. А что же я, бедная, на старости лет буду делать?..

И комната наполнилась тяжелой материнской скорбью. Мать рыдала, склонив свою старую седую голову на черные, худые, потрескавшиеся от тяжелой работы руки. А Гаинка сидела в конце стола выпрямившись, сидела неподвижно, и глаза ее не мигая смотрели в одну точку...

Надвигалась ночь. Солнце скрылось за горизонтом, оставило землю, и мрак теперь свободно мог рас-

крыть над ней свои широкие черные крылья. Последний луч испуганного света убежал следом за солнцем, наступила тьма, заполнявшая каждую пядь земли, покрывавшая степь черной пеленой, окутывая ею лес, наполняя глубокие овраги и долины.

И вот она вошла в их дом, остановилась в углах черным привидением, закрыла стены, наполнила комнату и окутала их — и ту, что на полу вздрагивала от рыданий, и ту, что неподвижно сидела у стола, — охватила их тела, пронзила их души...

— Мама! — послышался в темноте ровный голос. — Там тоже темно?..

— Где?

— В остроге... Там темно, нет света?..

Ровный голос умолк, а в другом углу послышалось еще более громкое рыдание...

Темная, мрачная ночь опустилась над миром...

. . . . .

Наступило хмурое, серое утро, падал косой холодный дождь. Он падал с набухших противных туч, нависших над землей и угнетавших ее своим мертвым широким взглядом. Окошки в маленькой хате плакали, большие капли слез одна за другой скатывались по ним и исчезали, чтобы уступить место новым...

Мать пошла в волость, чтобы расспросить о Зиньке.

— А что тебе, бабка, надобно? — крикнул Копаница, увидев ее возле порога.

Она сказала, зачем пришла, низко и покорно кланяясь.

— Что ты, бабка! Мы ничего не знаем об этом, — отвечал Копаница, развалившись в кресле за зеленым столом. — Следовательно велел отвезти его в острог, — мы и отвезли, а больше нам ничего не известно.

— Да он же не виноват!.. За что же его арестовали?..

— Не наше дело разбирать, виноват он или нет, и ты нам голову не морочь... Вот ты говоришь, что нет, а следовательно говорит, что виновен. Уж там суд разберет, что и как, — на то и суд.

— А когда же тот суд будет? — спрашивала бедняга.

— И этого я тебе не скажу. Когда захочет сам суд, тогда и будет. Пожелает завтра — будет завтра, а за-

хочет через два года — так и через два года. На то и суд.

— Да неужто придется ему там два года сидеть?

— По десять лет сидят, не то что по два. Что заработал, то и получит, а ты начальникам голову не морочь, говорю тебе, своими пустяками! Уходи домой, бабка!

Наклонив голову к земле, молча пошла несчастная мать. На следующий день она захворала. Вся горела, тело болело, лежала в постели, стоная, не в силах подняться. А Гаинка словно и не замечала этого: сидела, устремив взгляд в одну точку, и молчала.

— Гаиночка, дай мне воды!

Подала и снова села.

— Гаинка, ты бы печь истопила.

Она послушно внесла дров, затопила печь, стала возле нее и смотрела, как пламя охватывает дрова.

— Гаинка, а почему ты горшки не ставишь?

Гаинка принялась ставить горшки — пустые.

— Ох, беда мне с тобой! — стонала Параска. — Что мне теперь делать?

Как раз в это время пришла к ним Катерина, жена Карпа.

— Что это вы, бабушка, заболели?

— Да, я болею, а тут такая беда с Гаинкой случилась! — стала рассказывать старуха.

Гаинка слышала все, что о ней говорила, но никак на это не реагировала. Катерина обратилась к ней.

— Гаиночка, что с тобой, голубушка?

— Ничего!

— Ты кручинишься? Да не горюй так... Это люди напраслину на него возвели. Правды не скроешь. Зинько скоро вернется.

Молодица успокаивала подругу, а та молча слушала и ничего не понимала. Катерина, присмотревшись к ее неподвижному взгляду, даже испугалась.

«Вот горе! — подумала она. — Гаинка в беспамятстве! Она ничего не может делать... а мать больна...»

Катерина бросилась к печи:

— Вот подождите, я вам пособлю!

Она сделала то, что нужно было, поставила горшки в печь.

— Спасибо тебе, доченька, — поблагодарила Параска.

— Гаинка, смотри, чтобы суп не сбежал,— приказала Катерина,— я сейчас вернусь.

Побежала домой, рассказала обо всем Карпу, взяла ребенка и снова пришла к Сивашам. Она была там до тех пор, пока не приготовила обед и не убрала все в доме. Гаинка только сидела и смотрела, что она делает.

На следующий день, быстро справившись с делами дома, Катерина снова прибежала к ним.

— Плохо, что Гаинка только сидит и думает о своем горе,— рассуждала Катерина.— Пускай хоть что-нибудь делает,— за работой мысли будут рассеиваться.

И она стала заставлять ее сделать то или другое. Гаинка слушалась ее.

Две недели, пока старуха Параска была больна, Катерина ежедневно приходила к Сивашам, хлопотала по хозяйству, заглядывала к ним и вечером. Магь не знала, как и благодарить ее.

— Спасибо тебе, доченька! Какая ты добрая и хорошая. Если бы не ты, что бы мы делали, горемычные? Дай тебе боже жизнь долгую и счастливую за твою доброту!

— Ах, бабушка, что я такого сделаю, если забегу к вам на какую-то минутку! Да мне это и приятно,— веселее среди людей, а то все дома и дома!— отвечала Катерина, хотя ей порой было очень тяжело управляться с делами и здесь и дома, а веселья у Сивашей было столько, как на кладбище.— Лишь бы вы и Гаинка поскорее поправились, это самое важное.

И она хлопотала, бегала, помогала всегда так искренне и приветливо, словно для своего ребенка. Когда не стало у Сивашей денег, она заставила Васюту взять зерна, отвезти его в город и продать. За эти деньги купили, что нужно, еще и в волость уплатили подати.

Добрые люди помогали, жить можно было, но не могли они помочь человеческой душе, не могли утешить ее. Катерина старалась развлечь и мать и Гаинку. Матери как будто легче становилось от этих бесед, но Гаинка хотя и слушала, но, наверное, ничего не понимала.

Она не плакала, не тужила, не жаловалась. Она молчала. Выполняла все, что ей велели и постепенно привыкла делать все так, как следует: готовила обед, шила, подавала на стол, как всегда. Только совсем она не думала о том, что делает: делала все неосознанно. Вставала утром и думала: «Уже день». Вторая мысль: «Боже,

какой он долгий... хотя бы скорее вечер наступил!» Затем она делала то, что ей велели Катерина или мать. Скажут: «Готовь обед!» — готовит. «Шей!» — шьет. А если нечего делать, сядет возле стола одна и сидит выпрямившись, и смотрит в какую-нибудь одну точку. И думает только об одном: «Уже проходит день, вот уже и вечер...» Наступал вечер, наступала ночь... Порой, когда сильно уставала, спать ложилась, а иногда всю ночь не могла глаз сомкнуть и смотрела в темноту... смотрела и думала: «Вот уже и ночь наступила... Какая длинная!.. Вот проходит... вот уж и утро скоро наступит...»

А зачем ей эта ночь, это утро, этот день — не знала... Она очень хорошо понимала, что Зинько в тюрьме, что его будут судить, могут сослать в Сибирь... Понимала, что он не виноват... Знала, что им без него и жить нельзя... Да еще знала, что приходит день, а днем надо трудиться — накормить скотину, подмести хату, принести воды, пошить... Затем наступает ночь, и надо спать... Еще днем надо есть... Все это делала... Все это надо делать... До тех пор, пока придет тот день... суд...

Никуда она не ходила, не любила отвечать никому. Молча проходила мимо людей. С матерью она тоже не разговаривала, лишь отвечала на ее вопросы. Казалось, она окаменела.

Тяжелая скорбь, словно туча, нависла над хатой Зинька, наполнила ее. Казалось, здесь и стены затосковали, освещенные тусклым светом, падавшим в окна. Скорбь покоилась в каждом уголке, отражалась в померкнувших женских глазах, откликалась разбитым человеческим голосом. Две женщины, угнетенные безграничным горем, точно две тени, слонялись, передвигались, делали что-то, иногда обращались друг к другу, — видно было, что они живы. Но тем, кто заходил в эту хату, она казалась могилой...

Да и заходили сюда немногие. Вначале забегали любопытные кумушки: у людей такое горе, надо же посмотреть, что с ними, чтобы людям было что порассказать. Но Катерина не очень-то приветливо их встречала и ничего интересного для себя они не узнавали. Поэтому вскоре перестали заходить. Приходили Карпо и Васюта. Васюта однажды хотел своими шутками развеселить их, но в этом доме шутки его вызывали слезы и казались странными не только всем, но и ему самому, и он сразу

же умолкал. Навещала Гаинку Лукерья, ее мать, но отец ни разу не зашел. Часто заглядывал к ним дедушка Дорош. Он очень любил Гаинку и теперь тяжело переживал ее горе. Он смотрел на нее, покачивал головой, думал и говорил:

— К знахарю, надобно, вот что... только к хорошему, чтобы умел излечить.

И он стал уговаривать Гаинку поехать в село Чернух к Острогляду. Гаинка вначале не поняла, куда и зачем ехать, а поняв, ответила.

— Не хочу...

Уговаривал, уговаривал дедушка — не помогло. Пришлось оставить внучку в покое. Она говорила, что хочет пойти в город к господам, чтобы они пустили ее к Зиньку, но она не могла идти потому, что с трудом передвигалась даже по комнате.

А о Зиньке никаких вестей. Следовательно вызывал на допрос еще кое-кого из крестьян, — но они приносили старые вести: что Зинько все еще в остроге, дожидается суда.

Однажды под вечер Гаинка находилась в своем саду у реки, — она собиралась вытащить кадку, которая там замокала. Еще не дошла она к реке — услышала, что кто-то идет. Оглянулась и увидела Микиту Тонконоженка. Он остановился перед ней, улыбаясь:

— Здравствуй, Гаинка!

Чуть слышно произнесла: «Здравствуй», — и хотела было идти дальше, минуя его. Но он остановил ее.

— Я очень давно не видел тебя, Гаинка! А хотелось увидеть. Эх, ты же и молодичка — первый сорт! Что хороша, то хороша, — вот только плохо, что побледнела малость. Ну, не беда, — пройдет!.. Я соскучился по тебе, честное слово, соскучился!

Она молча слушала его, плохо понимая, о чем он говорит. А он думал, что ей приятно слушать и продолжал:

— Не поверишь? Так соскучился, что куда там!.. Я о тебе всегда думаю... Потому что такой молодницы у нас — ну просто нет, да и только! Эх, знаешь что, Гаинка! Ты хороша, да и я не плохой, — давай любовь заведем!

Он обнял ее и хотел было поцеловать. Она ударила его локтем в грудь так сильно, что он даже зашатался, вырвалась из его рук и мигом побежала домой. Быстро

проскочила через сад и оказалась возле хаты, тогда оглянулась — не гонится ли.

— Дочка, а где же кадка? — спросила мать, выходя из сада.

— Там... Я не взяла... — ответила Гаинка дрожа.

Мать хотела было спросить, почему она не взяла, но, когда посмотрела на ее лицо, увидела, что лучше было бы и не посылать ее за ней. Пошла сама.

Всю ночь Гаинка не могла уснуть. Ее лихорадило так, что зуб на зуб не попадал. А голова пылала как в огне. Она бредила, кричала что-то иступленно — о Миките... о Зиньке... плакала... проклинала то ли себя, то ли кого-то другого... Только перед рассветом она крепко уснула и спала до обеда. Мать не будила ее. Проснулась, поднялась...

— Уже день, мама?

— День, дочь.

— Это я так долго спала?

— Спи, лишь бы здорова была, доченька.

— Нет, я встану.

— Хорошо! Вот сейчас обедать будем! — сказала мать, радуясь, что Гаинка встала и разговаривает с ней: это было впервые с того дня, как забрали Зиньку.

— Нет, я не буду обедать, — ответила Гаинка. — Мне нужно к Зиньку пойти.

— Как это — к Зиньку? — тревожно спросила мать: ей казалось, что Гаинка все еще бредит. — Что ты говоришь, доченька? Как это ты пойдешь к Зиньку?

— Я пойду. Я хочу увидеть его.

— Да как же ты увидишь его? Ты ведь не знаешь, куда и идти?

— Я, мама, пойду в город. Приду к острогу, а как туда добраться, уж там узнаю. Я хочу его увидеть, хочу узнать, что с ним и как.

Мать заплакала. Она увидела, что Гаинка в здравом уме и говорит нормально.

— Пойди, доченька, пойди, мое дитя! Ты молода, ты сумеешь добиться. Только не ходи сегодня, ты еще больна. Сходи завтра.

— Нет, пойду сегодня.

— Уже поздно: пока дойдешь до города, то да се — вот, глядишь, уже и вечер. Надо с утра идти.

Гаинка послушалась мать, но не спала всю ночь —

мысли одолевали, ей хотелось как можно быстрее, быстрее пойти к нему, увидеть, навестить!..

«Боже мой! Что я наделала? — думала она. — Почему до сих пор я не пошла? Или окаменела, или онемела, что сидела дома? Мой милый там страдает, а я с места не сдвинулась!..»

Она не понимала, как это случилось, что она до вчерашнего дня, в самом деле, была как каменная. Только после того, как этот противный парень стал приставать к ней, она встрепенулась, и ее душа словно запылала. Ее жгло, терзало всю ночь... И теперь жжет! Ах, боже! Как долго тянется ночь. Хотя бы скорей, скорей утро!

Еще и рассвет не занимался, а она уже поднялась.

— Уже идешь, доченька?

— Иду, мама.

Зажгли лампу, она торопливо оделась.

— Ты позавтракай, доченька.

— Не хочу, мама, душа еды не приемлет.

— Так возьми с собой, — ведь весь день будешь в городе, есть захочется.

Мать заставила ее взять немножко еды и три рубля денег.

— Может быть, разрешат Зиньку оставить... Да и смотри, может, кому придется дать, без этого не обойдешься.

Перекрестилась Гаинка, поклонилась иконам и ушла. Мать хотела проводить ее за околицу, — не разрешила, сама пошла. Ей хотелось остаться одной.

Пошла по улице. Долгие ряды хат протянулись вдаль, исчезая в темноте. Хаты еще спали, надвинув на свои головы крыши. Стены едва белели из-под лохматых навесов, словно лица из-под огромнейших бровей, что свисали на закрытые глаза. И вдруг одна хата блеснула этими глазами, раскрыла их, и две полоски света легли поперек улицы, по которой шла Гаинка. Немного погодя тускло, словно зевая после сна, посмотрела на улицу и другая хата, затем третья. Пока одни хаты еще спали предутренним сном, другие просыпались уже, и каждая пересекала улицу полосами света. Гаинка торопливо переступала через яркие полосы, то озаряемая утренним светом, то опять погружаясь во мрак, который казался еще больше, — словно утраченная надежда после робкого проблеска луча. Во дворах заскрипели двери, воро-

та, кое-где затемнели фигуры людей. Село просыпалось, а Гаинке хотелось уйти от него подальше, как можно подальше и поскорее прийти в город, куда влекла ее сомнительная надежда, то вспыхивая, то угасая в ее душе.

Наконец она пересекла последнюю светлую полосу и нырнула в темноту. Скоро ли наступит рассвет? Посмотрела на небо: оно было безоблачно, предвещало хорошую погоду.

Она шла в темноте, хорошо зная дорогу. Пройдя с версту от села, увидела серевшую впереди дорогу с большими пыльными колдобинами. Справа, на фоне темного неба, отчетливо виднелся огромный черный лес, а перед ним, посреди поля, стояло высокое одинокое дерево.

«Это тот дуб, что стоит над оврагом», подумала Гаинка, глядя, как с ее приближением он все отчетливее и отчетливее вырисовывается, а горизонт становится все светлее и светлее. Спустя некоторое время какой-то серебристо-серый свет, казалось, начал поглощать мрак и он, перемешиваясь в нем, становился темно-пепельным, а затем пепельным и совсем светлым. Уже хорошо была видна трава, росшая вдоль дороги, усеянная тусклым серебристым жемчугом; направо вдоль леса клубился и плыл белый туман; стало сыро, прохладно. Гаинка пошла быстрее, чтобы согреться.

Вскоре слева на горизонте показалась красная полоса. Еще немного — и сноп красных лучей озарил небо. Туман на опушке леса поплыл быстрее, за клубился и стал редеть, бледнеть и исчезать. Серебристые жемчужинки, рассыпанные по траве, переливаясь, заблестели ярко-красным, синим, зеленым, золотым цветом...

Гаинка уже была далеко от села. Она шла быстро, словно ее что-то подталкивало, какая-то неведомая сила наполняла ее, — она будто бы и не шла — сами ноги несли ее. Она дойдет, увидит его — только об этом и думала. Что будет потом, она не знала. Но ей почему-то казалось, что потом будет что-то хорошее, прекрасное — такое, как вот эта сверкающая роса, как вот это праведное теплое солнышко, поднявшееся в небе, согревающее душу. А беда, а горе — оно, как вот этот туман, рассеется под лучами восходящего солнца...

Ганька пришла в город рано. Она не знала, где находится острог, поэтому вынуждена была расспрашивать у людей. Обратилась к какому-то горожанину.

— Острог? — Он удивленно посмотрел на нее и добавил: — А разве тебе хочется попасть туда?

— Я... нет... я...

— А зачем ты туда идешь?

— Я... мне... мне нужно...

Мещанин внимательнее стал присматриваться к ней.

— Ну? — спросил он.

А она, покраснев, стояла молча, не решаясь сказать, зачем ей надо туда.

— Да я вижу, ты идешь туда по такому делу, что и сказать нельзя! Ну, так спроси у кого-нибудь другого, коли так.

Повернулся и ушел, процедив: «Ишь грязнухи чертовы!»

Ганька пошла дальше. Увидела на улице солдата — полицейского с саблей.

«Спрошу у него, — подумала. — Уж он должен знать, и скажет».

Подошла, поклонилась и робко спросила:

— Скажите, спасибо вам, дяденька, где острог?

Полицейский приветливо посмотрел на нее.

— А зачем тебе?

— Там мой муж сидит... — промолвила дрожащим голосом Ганька, поняв, что должна сказать правду.

— Муж?.. Гм... А за что ж он там сидит?

— Ни за что...

— Как так, ни за что?.. Знаем вас таких! Обворовал или убил кого-нибудь, а ты — ни за что. Мошеники проклятые!

Полицейский ругался, потому что был сегодня сердит (ему от начальства нынче здорово влетело) и со злости выпил лишнюю рюмку. Теперь он хотел показать себя перед сельской женщиной важной персоной, чтобы она не подумала, что он тоже, как и она, выходец из села.

— Подлецы!.. Злодеи! Путному человеку из-за вас покоя нет!.. Шляются... Чего стала? Марш! Чтобы я тебя тут не видел! Шарлатаны! Бродяги!..

Испуганная Ганька уже далеко ушла от него, а он все еще продолжал ругаться.

«Боже мой! — подумала она. — Что же мне теперь делать? Да здесь такие люди, что у них и спросить нельзя... Но нет, надо узнать!.. Буду спрашивать до тех пор, пока разузнаю. Спрошу еще у какого-нибудь господина».

Навстречу ей шел какой-то господин с тросточкой в руках. Она окликнула его, но он даже не остановился. Она медленно пошла по улице, всматриваясь в лица: какое из них подобнее. Вскоре она увидела небольшого роста девочку в темном платье, с книгами в руках.

— Здравствуйте, барышня!

Белокурая барышня удивленно окинула ее взглядом. У нее были ласковые ясные глаза, и Гайнка не напрасно рассказала ей о своем горе. Барышня очень толково объяснила ей, куда идти, и она отыскала острог.

Высокие толстые стены, а за ними огромный каменный дом. Гайнку даже в озноб бросило, когда она посмотрела на него.

— Вот здесь мой милый погибает, как цветочек в подземелье!..

Возле огромных железных ворот стоял солдат. Она подошла к нему, поклонилась.

— Здравствуйте!

Он медленно повернул к ней голову, ничего не сказал и молча отвернулся.

— Я к вашей милости...

Солдат словно и не видел ее.

— Здесь, в тюрьме, мой муж сидит...

Он не слушал ее. Она вытащила двугривенный и положила ему в руку.

Он посмотрел на него, не спеша спрятал в карман, затем повернулся к ней и спросил:

— Ну?

— Ведь это острог?

— Ну?

— Здесь мой муж сидит... Зинько Сиваш...

— Ну?

— Разрешите мне повидаться с ним!

— Гм... Глупая баба!.. Проходи дальше, здесь так не пропускают.— И он отвернулся.

— А как же здесь пропускают? Скажите, пожалуйста!

Но солдат снова ей не ответил. Гайнка еще вытащила

серебряную монету. Спрятав и эту, он повернулся к ней.

— Твоего... Зинька, или как там его... судили уже или нет?

— Нет...

— Ну, так нужно разрешение от следователя, — тогда и пропустят.

— А может быть, вы меня и так пропустили бы? Вот бы уж я за вас бога молила!..

— Глупая баба! Говорят тебе: принеси разрешение от следователя... А теперь — марш! Не стой тут, нельзя!

— Да где же тот следователь живет — хоть бы мне сказали!..

— Это не мое дело!.. Уходи отсюда, потому что нельзя!.. Уходи, говорю тебе!..

Он закричал так, что Гаинка, испугавшись, тотчас убежала.

Шла по улице и думала. «Вот если бы послал мне бог снова такую барышню, чтобы рассказала, где тот следователь живет!»

Однако на сей раз ей повезло: какой-то добрый господин рассказал, как найти следователя. Немного блуждала, а все-таки нашла. На крыльце сидят люди, ждут. Подошла, поздоровалась. Люди стали спрашивать, зачем пришла, и она рассказала...

— Тут будет выбегать такой писаришка, вызывать нас... Кого, значит, следователь зовет, так он вызывает... Ты ему скажи о себе. А пока что посиди.

Она села. Вскоре выбежал и писаришка.

— Сидор Харченко!

Один мужчина поднялся и пошел в дом, а Гаинка обратилась к писаришке:

— Я к вашей милости...

— Что тебе?

— Мне надо мужа увидеть.

— Какого мужа?

— Моего... Зинька Сиваша, он в остроге...

— А! Ну хорошо... Посидите здесь, подождите!..

И она стала ждать. Долго ждала. Уже все люди ушли, только двое осталось, уже и солнце высоко поднялось и стало садиться, а она все дожидалась. Спрашивала и писаришку, когда выходил, но тот все время только и говорил:

— Подожди!..

— Знаешь что, молодлица?..— сказал один мужчина.— Я уж вижу, что из твоего дела ничего не выйдет: вот нас сейчас позовут, а потом писаришка выбежит, да и скажет: «Приходи завтра, следователю некогда сегодня!»

— Ох, боже мой! — испуганно произнесла Гаинка.— А что же я буду делать? Мне сегодня нужно!

— Да что делать? Всунь ему в руку полтинник — тогда скажет следователю о тебе, а тот и позовет. А иначе три дня будешь ходить, ничего не выходишь.

Гаинка послушалась его совета и сунула писаришке в руку полтинник... ее позвали к следователю.

— Что тебе?

Она низко, низко поклонилась ему.

— Паньчику, хочу мужа увидеть... Зинька Сиваша... пропустите!..

— Его нельзя видеть.

Она так и застыла от волнения.

— Нельзя видеть,— сказал следователь,— потому что он очень упрям, до сих пор не признается.

— Да как же он признается, господин? Он же не виноват!

— Рассказывай! Знаю я таких невинных! Наделал беды, да и не признается. Пусть признает себя виновным, тогда и разрешим ему свидание с родственниками, а теперь — ни в какую!

— Паньчику! Смилуйте! Помилуйте!..

— И не проси, и не моли!.. Уходи!

Следователь повернулся и ушел из комнаты.

Поздно вечером вернулась Гаинка домой. Вошла в хату, не раздеваясь села у стола и склонилась на него.

— Доченька, доченька! Что с тобой? — испугалась мать.— Что случилось? Видела ты Зинька?

— Не пустили, мама... говорят: не признается... Когда признается, что убил Грицька, тогда пустят...

— Да чтоб они и их дети счастья не знали, коль издеваются так над нами!

А Гаинка только стонала.

Так и текла горькая жизнь в доме Сиваша.

Остап все что-то думал. Однажды у него с Терешком Тонконоженком произошел такой разговор:

— А что, Остап, слышно о твоём зяте?

— Да это такой зять, что лучше б его у меня совсем не было.

— Ну а все-таки, что слышно о нем?

— Да ходят такие слухи, что не вернется.

— Ну, такое дело... А что же тогда будет с твоей дочерью? Ведь она вдовой останется...

— Да, останется...

— Знаешь, что я тебе скажу, Остап? Что, если бы нам сватами стать?

Остап посмотрел на Терешка.

— Как это?

— Да так: Гаинка твоя вдовой останется, а у меня Микита такой, что давно его женить надо, заставить хозяйничать, ибо вижу, что до тех пор, пока его не женю, толку с него не будет. А особенно—об этом я уж знаю—он равнодушен к Гаинке... Вот тогда бы мы вдвоем дела делали!..

Остап задумался.

— Нужно подождать суда.

— Значит, договорились! Выходит так?

— Пускай будет так.

— Вот это чудесно! Вот только одного боюсь: как бы она не пошла следом за ним.

— Ну да это чепуха! — ответил Остап.—Я не допущу.

— Как же ты не допустишь, если она пойдет к судьям, да сама и скажет?

— А и верно, может пойти, потому что плутовка так любит своего мудреца, что прямо-таки беда. Ну да ничего! Этому горю можно пособить. Я возьму ее жить к себе и никуда не пушу.

— Вот и чудесно!.. Смотрите же, сват, чтобы вы свое слово сдержали!

— Хорошо, сват, сдержу.

— А сватье... пока что ничего не говорите... А то, знаете, эти женщины... Как бы не испортили дело...

— Хорошо!

И новые сваты разошлись, довольные собой.

На следующий день, после того как Ганнка ходила в город, Остап вошел в дом Сивашей.

— Здравствуйте! Со вторником, будьте здоровы!

— Здравствуйте, сват! — ответила Параска, а Ганнка едва слышно отозвалась, сидя на кровати.

— Что это ты, Гаинка, больна, что ли?

— Да какое там у нас теперь здоровье! — ответила за нее старуха. — Вон вчера ходила она в город, хотела увидеть Зиньку, так не пустили... Садитесь, пожалуйста!

— Не пустили, говорит! Гм-гм... Нет, я садиться не буду, потому что зашел на минутку. Почему же не пустили?

— Эти ироды говорят, что когда он признается, что Грицька убил, тогда пустят.

— Гм... да... А я за тобой, Гаинка, пришел. Иди к нам, тебя мать зовет.

— Нет, я сейчас не пойду.

— Иди, потому что очень нужна!

Он взял ее за руку и поднял с кровати, как маленького ребенка.

— Одевайся!

— Да, может быть, вы ее, сват, сейчас не трогали бы? — сказала Параска.

— Нельзя... Очень нужна. Ну, уже оделась? Пошли!.. До свиданья! — Он взял ее за руку и вывел из хаты.

## II

### В ТЮРЬМЕ

Маленькие тусклые окна с железными решетками, вделанными в толстые стены. За этими решетками должно находиться голубое небо, но его отсюда не видно: напротив окошек вторая, такая же толстая и мрачная стена. Даже солнечные лучи как будто боятся этих решеток и заглядывают сюда только на одну минуту — тогда, когда солнце уже высоко-высоко поднимается в небе. И его золотой луч, как парус, покроем землю, находящуюся между двумя стенами, робко заглянет сквозь решетки, слегка улыбнется этим бледным лицам и, испугавшись, убежит прочь от этой темницы — туда, на безграничные просторы лазурного свободного неба.

Здесь нет неба, здесь низенький, запыленный, задымленный черный потолок. Грязные, тяжелые, сырые стены, у которых есть маленькие отверстия с решетками. И в этой каменной могиле серые люди с серыми, долго не видевшими света, бледными лицами. Одни лежат на больших сплошных нарах среди грязных лохмотьев,

другие сидят, играя в карты, а некоторые ходят без определенной цели из угла в угол.

Это преступники.

Среди них Зинько.

Если бы ему кто-нибудь раньше сказал, что он будет здесь,— он бы назвал того лжецом! А вот пришлось. Теперь он стал спокойнее, тише; но первые дни... о них даже страшно вспомнить.

Его связанные руки, этот позор перед всем обществом... Гаинка... ее безумно-безнадежный взгляд, протянутые к нему руки... Потом, когда его перевозили из одного участка полиции в другой... и наконец — эта темница. Он привык видеть бескрайнее голубое небо, широкие зеленые поля, леса с их прохладой, цветущие, благоухающие сады. А сейчас только толстые холодные стены, железные решетки и тяжелый смрад гнилой тюрьмы.

А люди... Боже!

Вон тот, высокий, с огромными крепкими руками, с большой черной бородой,— он убил двух людей, чтобы ограбить их!.. А этот белокурый паренек с маленькими усиками задушил своего собственного ребенка, прижитого с девушкой... Этот — поджег село... А вон тот старик, будучи пьяным, дубиной пробил своему соседу голову, и тот умер... И он, Зинько, единственный среди них ни в чем не повинный. Но никто ему не верит и не хотят верить, что он не виноват, лишь насмеются над ним... и его ждет такое же наказание, как их!.. За что? Где же правда на свете, если можно ни за что наказывать человека? Если одинаково терпят и вот этот чернявый, что смеясь рассказывает, как он топором разрубил голову,— и он, Зинько, который хотел только одного: чтобы людям жилось лучше. Хотел людям добра!.. Без всяких оснований его обвинили в страшном преступлении, опозорили, бросили в тюрьму, будут судить и карать!.. Почему тогда существует на свете такой строй, весь этот порядок, если позволено карать, мучить невинных? Ведь Зинько знает, что не только с ним так произошло,— он об этом и слышал и читал. А если так, зачем тогда людям нужны все эти суды, все эти начальники? Не лучше было бы, если бы их совсем не было и люди жили без них, сообща творили суд и наводили порядок?

Сообща! А разве община поступила с ним по совести? Почему она его, невинного, не защитила? Да нет, наоборот, еще больше опозорила!.. Разве она справедливо решала общественные дела? Нет... Денисы, Рябченки, Сучки — вот кому в ней вольготно и хорошо живется, а честному бедному человеку — нет!..

И в общине нет справедливости!.. А где же? Где? Может, не среди людей ее надо искать, а у бога? Так все говорят... Но ведь бог видит, какие дела творят в общине несправедливые люди, кулаки, — почему же он их не остановит? Ведь Зинько не виноват — почему же они об этом не сказали? почему?

Тяжкие мысли одолевали Зинька... Он страшился их, отгонял от себя, а они все сильнее и сильнее терзали его душу, жгли так, что даже разум мутился и он терял сознание.

Нет правды на свете! А если она порой где-нибудь и откликнется, то ей рот закрывают, душат, убивают.

И никто не добился того, чтобы она победила. А между тем, есть такая сила, которая может добиться этого! Или у этой силы правды нет? Или этой силы нет? Зачем же тогда люди живут, рождаются, смеются и плачут, умирают? Зачем?

Он не получал ответа, а голова его разрывалась от безумных мыслей.

Неизвестно, что стало бы с ним от этих дум, если бы не отрывали его от них на какое-то время допросы у следователя, где он должен был защищаться и жить вот с этими людьми, с которыми находился в одной камере. Больше всего — с этими людьми...

Ему вначале было страшно и противно жить с ними. Они казались ему людьми, отличными от него, совсем отличными, — потому что это были преступники, лихоеды. Ему казалось, что обычные люди находятся по одну сторону, а преступники — по другую; что у обычных людей все так, как и должно быть, а у преступников иначе: и справедливость у них не такая, и стремятся они не к тому, к чему все люди стремятся, да и душа у них не такая, а худшая — черная, враждебная, злая. С такими мыслями пришел Зинько в тюрьму, а когда он увидел эти лица, на которых были следы неволи, а порой и греха, когда увидел их одежду, всегда казавшуюся ему страшной, то он еще острее почувствовал, что

люди эти совсем не такие, что и они не могут быть такими. У них на руках кровь и на душе кровь. И они казались ему страшными. А еще страшнее показались они ему после одного события. Не успели его бросить в полутемную каменную яму, не успел он еще хорошо и осмотреться, его уже окружили со всех сторон. Любопытные смотрели на него, спрашивали, как звать, откуда, за что попал сюда...

— Ни за что попал, — ответил Зинько. — Кто-то убил человека, а меня обвинили.

— Эв-ва! А ты его разве не убивал?

— Если бы убил, то не говорил бы, что не виноват! — ответил Зинько.

— Фю-фю! — засвистел чернявый арестант. — Каждый, братец, следовательно говорит, что он не виноват, потому что никому не хочется в Сибирь идти, — а тут другое дело. Мы эти дела хорошо знаем, нас не обманешь.

— Я и не думаю вас обманывать.

— Вот шутник! — говорил все тот же арестант с большой черной бородой. — Я вот двоим топором головы разрубил, да и то не скрываю, а он одного задушил — и испугался. Х-ха-ха!

Чернявый арестант захохотал, его поддержал еще кто-то. Зинько сидел, то краснея, то бледнея. Он видел, что ему трудно убедить этих людей и напрасны его старания: привыкнув врать и скрывать свои еще не выявленные преступления, они и другим не верили. Зинько умолк, все эти люди казались ему теперь очень грубыми!..

Он жил среди них тихо, ни с кем не ссорился, но ни с кем и не дружил. Правда, и они его не трогали. Он был этому очень рад, сидел больше в темном уголку, занятый своими тяжкими думами... А арестанты жили своей жизнью — играли в карты и часто из-за них бранились, а то и дрались, рассказывали друг другу о своих приключениях, доставали где-то табак, водку и порой бывали пьяны. Как-то раз один арестант проиграл второму полквартиры. Раздобыли ее и решили выпить сообща — все те, кто играл тогда в карты. Среди них находился и Онисий — молоденький белокурый парень с серыми глазами, который задушил ребенка. Выпив две

рюмки, он немного опьянел и сидел нахмурившись, опустив руки.

— Чего загрустил? — толкнул его арестант, сидевший рядом. — Эх ты! Пить не умеешь!.. Уже опьянел!

— Я не пьян... — ответил каким-то плаксивым голосом парень.

— Ну а чего ж ты нюни распустил?

— Тоска... — ответил тем же голосом парень.

— Тоска! Ха-ха-ха! — захохотали пьяные арестанты. — По маме соскучился! Слышишь?

И они начали его дергать, толкать.

— Отстаньте!.. Душа у меня болит... Ох, тяжело мне!.. Ох, тяжело!..

Он схватился руками за голову и, покачивая ею, приговаривал:

— Ох, горюшко мое! Ох, несчастье мое!.. И что я теперь буду делать!.. А как оно кричало! А как оно кричало!..

— Что кричало, ты, плакса?

— Оно... как ангелочек... А я же его задушил... А я... Ох, боже!..

— Так зачем ты его задушил, слюняй? Если уж родили с девкой ребенка, то пускай бы он и жил, а то задушить решил! — говорил арестант, который поджег село.

— Да разве я хотел... Я и не думал этого делать... Я же... — парень запинаясь, всхлипывая.

— Так почему же ты на ней не женился? — спросил поджигатель.

Парень еще раз всхлипнул, помолчал, а потом ответил:

— Я бы и женился на ней... Да она батрачка и такая бедная, что у нее не дом, а настоящий хлев... А мой отец, богат на все село, говорит мне: «И не думай Химку сватать. Никогда этого не будет!» Мой отец такой, что как сказал, то уж так и будет. Я и знал, что отец не разрешит сватать, а все ходил... ходил... потому что тянуло... Ну, однажды был я на бахче... бахчу сторожил... Прибегает она ко мне: «Ой, Анисим, смерть за мной пришла!..» — «Чего ты?» — «Убежала из дому, потому что меня убьют, если увидят». А у нее отец был такой злой, что как разойдется, то и человека убьет, а мачеха еще подзадоривает его... Ну, в шалаше и родился

ребенок... Взяла его Химка, положила к себе на колени, завернула в передник. Лежит оно, посапывает, пищит от холода, а мы над ним рыдаем. Знаем, что Химке нельзя с ним домой являться. «Я,— говорит она,— пойду в город». — «Как же ты пойдешь туда без паспорта? Да кто же тебя возьмет с ребенком?» Как начала она тужить, как начала!.. У меня сердце прямо разрывается!.. А потом как начала меня проклинать!.. И жаль мне ее, и чувствую, что меня злость разбирает. «Замолчи, говорю, перестань проклинать! Разве мне легко?» А она: «Ты вот встал и пошел, да возьмешь себе другую, будешь с нею жить весь век в любви и согласии!.. А я должна буду под забором валяться!.. Так мне же — хоть с моста да в воду!.. Лучше бы солнце праведное не светило, коль ты погубил меня!.. Я просила тебя, умоляла, чтобы ты пожалел меня... А ты не послушался!.. Теперь бери его и делай с ним что хочешь!..» Да взяла этого ребенка и положила мне на колени, а сама продолжала свое!.. Рассердился я, вскипел, как схвачу этого ребенка, как трягну его! «Из-за тебя, говорю, проклятое, все это случилось!» Да и бросил его снова к ней... А он... бедненький... и не пикнул... и утих... Сидим, молчим, а оно лежит... и не шевельнется. Химка к нему: «Ох, боже! Ребенок мертвый!» — и снова в слезы!.. Это когда я его трянул, то и душу из него вытрянул. Сидим мы над ним и горюем. Горевали, горевали — чуть ли не до утра... а потом... зарыли его... вот так... вот и все...

— Ну а как же узнали?

— Собаки разгребли и выташили... Ой, боже мой!.. Боже мой!.. Вот лягу спать, а оно будто возле меня все время пищит...

Парень снова начал всхлипывать, из его огромных серых глаз катились слезы. Арестанты притихли. Вдруг чернявый сердито крикнул:

— Черт знает что! Слушают этого плаксу!.. Писцит! Писцит!.. Плюньте вы на него!.. Дольем остальное.

И, оставив парня в покое, принялись снова пить водку.

Но с тех пор чернявый проходу не давал Онисиму. Только заметит, что тот примостится где-нибудь в углу или просто умолкнет, и сразу начнет:

— А что? Писцит оно? А? Писцит?

У несчастного от этого напоминания перекашивалось лицо, на котором отражалось страшное мучение, серые глаза мутнели... А чернявый, не обращая на это внимания, продолжал издеваться над ним:

— Придуши его сильнее, чтобы не пищал!

Он сжимал стискивал зубы, даже извивался от боли.

Кое-кто из арестантов иногда говорил:

— Да не терзай его! Чего ты пристал к нему?

Но большинство заключенных равнодушно относилось к этому. Чернявого все боялись.

Однажды, когда он вот так издевался над парнем, Зинько не сдержался. Он подошел к чернявому и дрожащим голосом сказал:

— Не напоминай ему об этом!

— А тебе какое дело? Ты что за барин? — окрылся тот.

— Мне не нравится, что ты его мучишь. Оставь его в покое!..

— Вишь, какой милостивый! — захохотал чернявый. — Плевать мне на тебя! Хочу говорить — и буду говорить.

— Нет, не будешь говорить!.. — И Зинько почувствовал, что его голову словно огнем обожгло.

— А что же ты мне сделаешь, если я буду говорить? — насмешливо спросил чернявый.

— Сделаю так, что ты онемеешь!

— А пока это случится, я твою рожу превращу в настоящий портрет! Видишь? — И он поднес ему под нос огромный кулак. — Понюхай!

Арестанты притихли, повернувшись в сторону Зинька и чернявого. Тот был таким здоровым, что Зинько по сравнению с ним казался мальчиком. И так было видно, кто одолеет, если дело дойдет до драки.

— Убери свой кулак! — произнес Зинько голосом, звеневшим и дрожавшим, как струна.

— Понюхай! — И чернявый толкнул его кулаком в зубы.

Еще миг, и Зинько оттолкнул бы от себя нахала, и тогда неминуемо началась бы драка. Но вдруг кто-то так толкнул чернявого, что тот зашатался и отскочил в сторону. Перед ним стоял поджигатель.

— Ты чего толкаешься? — крикнул чернявый, бросаясь к нему с кулаками. Но не успел занести руку, как сам получил такой удар по уху, что голова его качнулась

в сторону и он, зашатавшись, чуть не упал на пол. Рас-  
свирепев и обезумев, он схватил тяжелую кружку, из  
которой арестанты пили воду, и бросился на поджигате-  
ля, но в тот же момент несколько арестантов подскочи-  
ли к нему сзади и свалили его.

— Пустите меня! Пустите меня!..— вырывался он.—  
Отпустите, я ему голову расшибу!.. Прочь!..

— А ну, а ну-ка расшиби! — говорил поджигатель,  
готовый в любую минуту сбить чернявого с ног, но и  
сам побледнел, как мел.— Или я тебе глотку заткну,  
чтобы ты больше не приставал к парню.

Тем временем арестанты отняли у чернявого кружку  
и, хотя он вырывался, увели его и посадили в дальний  
угол. Постепенно все утихло.

С той поры чернявый возненавидел и Зиньку, и пар-  
ня, и поджигателя, но больше не затрагивал их: чувст-  
вовал, что они сильнее. А Зинько тогда же вечером раз-  
говорился с поджигателем, и тот искренне рассказал  
ему о своем преступлении. Оно не показалось Зиньку  
особенно ужасным.

Давиду (так его звали) было всего девять лет, когда  
умер его отец, а вскоре и мать. Их было только двое,  
брат и сестра; их обоих общественные опекуны отдали  
внаймы. В отцовскую хату пустили какого-то человека,  
а землю отдали другому. Когда парень вырос и захотел  
жениться, он стал требовать возвращения своего добра,  
но ему возвратили только одни голые, разрушенные  
стены отцовской хаты. Весь скот куда-то уплыл, а тот  
человек, который когда-то получил их землю в аренду,  
теперь ее не возвращал. И начались споры, судебная  
волокига. Обидчик Давида спаивал сельских судей, да-  
вал, где нужно, взятки, и судьи выносили такое реше-  
ние, какое угодно было этому человеку. Судился, судил-  
ся Давид и, окончательно потеряв надежду вернуть свое  
добро, обругал старшину и судей. Старшина бросился  
избивать его, а Давид, защищаясь, ударил его. За это  
отсидел год в тюрьме. Выйдя из тюрьмы, не вернулся  
домой,— ходил на заработки до тех пор, пока однажды  
ему волость не задержала высылку паспорта. Его, как  
беспаспортного, «по этапу» отправили домой и привели  
в село под стражей. Оказалось, что в волости старшина  
(старый недруг Давида) с писарем завели такой поря-  
док, что кто не вышлет им трех рублей, тому они не

высылают паспорта. Но поскольку Давид не выслал этих грех рублей, его и привели в село по этапу. Он опять обругал старшину, а тот снова его избил и запер в холодную. Ночью Давид бежал и поджег хату старшины. Тогда еще несколько хат сгорело...

— Вот навеки и погиб! — сказал Давид. — Сошлют в Сибирь, да и конец! Вот сейчас ни за что не стал бы поджигать, бог с ним! А тогда мне до того обидно стало, что даже не помнил, что делал. Увидел, как пламя от хаты старшины перебросилось на другие хаты, и даже не жалел об этом, а радовался. «Поделом вам, — думал, — раз позволяете вот таким кулакам обижать людей! — Вот и получайте!..» Разозлился я тогда... А сейчас сожалею. Как вспомню, скольких людей я лишил жилья, скотины, — сердце болит... Веришь, иногда ночью как вспомню, — хоть волком вой, да и только!..

Зинько тоже рассказал Давиду о своем деле, он до сих пор никому об этом не рассказывал. Тот ему сразу поверил.

— Да у тебя получается так, как у меня! — сказал он.

От Давида узнал о деле Зинька и парень Онисим, а потом дед Клочко — тот, что соседу голову разбил. Этот тоже так в беду попал, что и опомниться не успел: напился пьяным, да и ударил соседа палкой по голове. Теперь он все вздыхал да молился ночью. Вскоре все арестанты узнали о преступлении Зинька. Большинство из них верили ему, другие молчали. Чернявый злился, но не трогал. За Зинька тотчас бы заступились и Давид, и Онисим, и Клочко, может быть, и еще кто-нибудь.

Думал теперь Зинько о своих тюремных товарищах немного иначе, чем прежде. Сейчас эти люди казались ему уже не такими страшными, а скорее несчастными. Ведь это правда! Ну взять хотя бы вот этого Онисима: и сам не хотел, а совершил преступление. Если бы он не был так расстроен, не тряс несчастное дитя, ничего бы не было. Такое, как с Онисимом, со всяким может произойти. А еще чаще может случиться такое, как с дедом Клочком. Разве в селах мало людей напивается допьяна, да еще как избивают друг друга! Подерутся, однако остаются живыми: а этому не повезло: ударил сгоряча и убил человека. Кто пьет водку, с тем всегда может такое произойти, — а разве много таких, что не пьют? Да и Давид... Хотя и очень плохо он поступил, что поджег, — но

его же довели до такого состояния! Зачем столько обижали, что человек уже стерпеть не смог? И ограбили, и в тюрьму бросили, и по этапу гоняли, а потом еще паспорта не дали! Человеку надо что-то есть, надо где-то работать, а его лишают всего... Понятно, человек и голову с горя может потерять... Вот и оказия!.. А если бы хорошо разобраться, почему тот или иной преступник совершил злодеяние, то, может быть, и о каждом можно было бы сказать: говорим о волке, однако следует сказать и в оправдание волка!..

И вспомнил Зицько еще одного преступника — своего родного брата Романа. До сих пор Зицько не вспоминал о нем... А теперь вспомнил... Нехорошо вел себя Роман, но ведь и он не был таким уж плохим... Пока жил дома, был хорошим, трудолюбивым парнем, а как ушел из дому и побыл среди плохих людей, так и свихнулся... А тут еще Денис масла в огонь подлил. Если бы Роман не сдружился с плохими людьми... Да! Если бы людей этих не было!.. Да чтобы и таких, как Денис, не было!.. Тогда бы и Роман был человеком, а сейчас... Он, Зицько, теперь хорошо понимает; а кто не знает этого да посмотрит на Романа, тому и покажется, что только он один и виноват.

Ко всему этому надо бы присмотреться: почему именно так происходит в мире?

Вот хотя бы взять этих людей: почему стали они такими? Мысли одолевали Зицька, он не находил себе покоя. И ничего другого придумать не мог, кроме того, что дед Клочко погиб из-за водки — это сейчас стало ясно. И много, много людей из-за водки погибают и свое добро, и тело, и душу губят. Надо, чтобы люди не пили водки, тогда этого не будет. Ну, и про Давида тоже можно сказать, из-за чего он погиб: из-за общественной несправедливости. Нужно, чтобы этой несправедливости не было, чтобы все делалось честно. Это так... А вот уж у Онисима, тут такое дело, что нелегко его распутать. Наверное, так нужно полагать, что все это случилось из-за мачехи: если бы она не была зловредной, то Химка не пошла бы с ребенком к Онисиму и ничего бы тогда не случилось... Нет, не совсем так. Бывает, что погибают дети и без мачехи... Здесь главное то, что отец Онисима из-за своего богатства не хотел брать в невестки бедную девушку. Словом, как видите, в богатстве причина

зла... А бывает, что и не из-за богатства не хотят ту или иную девушку... чтобы она была их невесткой.— Вот невзлюбят, да и только... Или сам парень бросает девушку, и она от стыда губит ребенка. Вот оно что: это делается от стыда. Только почему парню можно грешить и никто его за это не карает, а девушку все позорят, и она готова и ребенка утопить, и сама утопиться? Это несправедливо! Если бы и парней позорили, то они так легко не бросали бы девушек,— не было бы тогда такого горя. Получается, что здесь неравенство: к парню одно отношение, к девушке совсем иное. А следовало бы: чего нельзя девушке, того нельзя и парню. Потому что правда должна быть одна для всех.

Да, необходимо, чтобы правда была одинакова для всех... Чтобы несправедливости в обществе не было... Чтобы люди водки не пили. Все нужно, все нужно... а как же сделать, чтобы все эти требования выполнить? Если бы все люди согласились, что так лучше жить — без водки, без кривды,— тогда все было бы хорошо. Но дело в том, что люди не понимают этого. А если иногда придерживаются этого мнения, то во всяком случае не решительно.

Но все-таки придерживаются! А коль хорошо поймут да своими глазами увидят, что именно так лучше, то и поддержат на сходке. Получается, что следует людей склонять к этому — и словами и делами. А кто же это будет делать? Да, наверно, каждый, кто понимает, в чем тут загвоздка... Вот и он, Зинько...

Да разве может он что сделать? Людей много, а он один. Как это один? Вот у него уже есть товарищи... их будет больше и больше... Каждый из них будет трудиться до тех пор, пока крестьяне всего села не пойдут за ними... И вслед за одним селом — еще село, а за селами и дальше... И перед Зиньком предстала иная жизнь: такая, где все люди будут трезвыми, трудолюбивыми, умными, грамотными... Все плохие порядки отменят, создадут лучшие и будут жить так, как в евангелии сказано: любить ближнего своего, как самого себя... Тогда не будет горя, тогда эти обездоленные люди не будут сидеть в тюрьме, и он, Зинько... О боже, боже, боже!.. Он собирается привлечь мужиков на свою сторону, создать товарищество, а сам находится в неволе, в тюрьме, в разлуке с теми, кто для него дороже всего на свете!..

Мать!.. Ганпка!.. Что с ними? Как они живут, бедные? Ведь им некому пособить, да и некому их защитить!.. А люди злые, неумные — они еще издеваться будут над ними, беззащитными! «Муж твой убийца!», «Сын твой убийца!» — вот что станут говорить люди. А у них, несчастных, сердце будет замирать от этих слов. И за что все это? Какое право было у этих людей — у Копанницы, у Рябченка, у следователя — поломать, искалечить ему и всем им жизнь? Ох, ох, проклятые, проклятые мучители!.. И страшная ненависть, злость поднималась у Зинька на этих людей, — такая ненависть, что, казалось, вот сейчас бы пошел и отомстил бы им, сделал бы что-нибудь с ними!..

Но, успокоившись, он начинал думать иначе. Отомстил бы! Причинил бы людям зло, да и только. А делу не помог бы. А он давно думает над тем, чтобы люди делали добро, были правдивы и в делах и в помыслах своих... В каких же делах? Разве злых?

И он опять раздумывал о том, что людей надо наставлять на добрый путь. Вот такая работа будет угодна богу, но не мечь! Вот этим будет спасена человеческая душа! И он начинал молиться... Молил, чтобы бог дал ему силы перенести это горе, горячо и искренне клялся: как только выйдет из тюрьмы, будет заботиться о том, чтобы процветала правда среди людей. Да, надо заботиться об этом каждый день, всегда, — как люди заботятся о своих детях, о своем хозяйстве!..

Да, он будет заботиться... как только выйдет из тюрьмы.

Но выйдет ли?

Никакого облегчения, никакой даже малейшей надежды до сих пор у него нет! Следователь измывается над ним во время допросов, бранит, что он не признает себя виновным. Одна надежда, что суд справедливо разберется и освободит его. А если и суд не разберется? И он, звеня кандалами, пойдет туда, в Сибирь?.. Душа у него стыла от этой мысли. Силы ослабевали, его душило, прижимало к земле... Он порой часами не мог шевельнуться, лежа на грязных нарах вниз лицом... Не ел, не пил... Лишь бы не глядеть на людей, не слышать их... Умереть бы вот так лежа, чтобы сердце не болело.

Но не умирал... Только мрачная безнадежность заглядывала ему в душу своими серыми, бесцветными, непо-

движными, точно стеклянными, глазами... И смотрела на него, смотрела... а душа его никла, умирала.

Хотя бы к нему кто-нибудь пришел, навестил!.. А то словно все поумирали!.. Ни мать, ни Ганька, ни товарищи!.. Неужто забыли они о нем, что не могут прийти?..

Нет, нет! Не забыли. Здесь что-то не так... это или их не пускают, или они больны. Боже, боже! Кто им поможет, кто за ними присмотрит? Может быть, их уже и на свете нет?

Тяжелые, безнадёжные думы переплетались с воспоминаниями о прошлом, о любимых, дорогих сердцу людях. Словно на картине, возникала перед ним его жизнь на воле... Закрыв глаза, он представлял себя среди широкого поля. Весело и дружно идут сильные волю, плуг лемехами глубоко впивается в черную землю, отваливая жирные борозды, а Зинько идет за плугом, держась за ручки, и приятно ему вспахивать землю, чтобы бросить в нее золотое зерно... Бросает, сеет,— и вот уже всходы зеленеют, поднимаются вверх, выбрасывают колосья... Наливаются колосья, и растут, и склоняются тяжелой полнозернистой головой к земле. Звонит коса, ложится рожь...

— Ганька! Не отставай! — смеясь, покрикивает Зинько.

— Зинько, быстрее, а то я сейчас тебя за ноги поймаю! — отвечает Ганька, торопясь изо всех сил вязать снопы.

Он остановился поострить косу, оглянулся назад: лишь снопы лежат на ниве, нет ни одного несвязанного, а Ганька стоит, вытирает рукавом пот со лба... Лицо загорело, покраснело, сорочка в пыли, и эта пыль остается на лице Ганьки. Разрисованное лицо становится смешным, но оно такое милое, такое красивое!.. Ах, какая она прилежная и хорошая работница, его маленькая Ганька!

Пришла ночь, замигали звезды... В котелке варится ужин... Мать подбрасывает дрова, а Ганька стоит вся красная от пламени костра... С каким аппетитом ешь после тяжелой работы, а еще слаще спишь под звездным ясным небом на душистых снопах!.. Спит он и сквозь сон чувствует, как ее головушка отдыхает на его плече...

И тяжело работать, но и приятно отдыхать!.. Придет воскресенье — вот это настоящий праздник! И с радостью выйдешь в сад, посаженный, выращенный своими руками, посмотреть на плоды своего труда, посмотреть на свое село, что, задумавшись, раскинулось под тихими вербами... Или вместе с Гаинкой пойти на пасеку, где солнышко разбрасывает свои золотые лучи, да шумят золотистые пчелы, и цветы цветут, и разносится аромат, а она, Гаинка,— самый лучший цветок из цветков,— стоит, освещенная золотыми лучами, и смеется так, словно серебряные колокольчики звенят:

— А вот не поймашь!..

— А все-таки поймал!..— Вместе идут домой, а там уже их верные друзья поджидают — собрались для приятной беседы, чтобы почитать да посоветоваться об общественных делах...

А Гаинка через сад побежала к реке за водой, и оттуда доносится ее пение... Прямо до хаты долетает любимая песня, и он не может усидеть в комнате,— выскочил бы в сад и вдыхал бы сладкий аромат, глядел бы на небо, на котором мерцают звезды...

И вздрогнет он, поднимется,— а перед ним холодная тесная камера, а вокруг темная, враждебная ночь... Смрад и духота... Он кричал бы изо всех сил, головой бился бы о стены до тех пор, пока разбил бы их, чтобы ничего не знать, ничего не чувствовать, не мучиться...

— Гаинка!.. Мама!.. Где вы? Зачем оставили меня одного умирать, погибать в этих жутких стенах?..

### III

#### МРАЧНЫЕ ДНИ

Остап, уведя Гаинку из дома Зинька, медленно шел с ней по улице, расспрашивая о том, как она ходила в город и что там слышала. Она неохотно отвечала ему, потому что снова чувствовала себя такой угнетенной, обессиленной, как и в первые дни, до посещения города. Она даже не интересовалась тем, зачем ее мать звала, забыла об этом, а шла, куда ее вели.

Дома мать с радостью встретила ее. Лукерья была женщина добрая, но очень робкая, несмелая. Поэтому она во всем подчинялась мужу и все делала так, как он

велел. Гаинка была у нее самой старшей, и единственную дочь мать очень любила; любила она и зятя и ничего не знала о новых намерениях своего мужа. С тех пор как Зинька посадили в тюрьму, она не раз ходила к Сивашам, но не могла ни успокоить дочь, ни уговорить, чтобы та навестила их в отцовской хате. Поэтому она очень обрадовалась, увидев Гаинку. Радуюсь, она в то же время и печалилась, глядя на свою дочь, которая ходила и разговаривала, словно привидение. Она, казалось, и не жила совсем или жила не здесь, а где-то в ином мире. Привела она дочь к себе в комнату, поплакала над ее и своим горем...

А Остап почувствовал тревогу на душе: он немного боялся жены. Хотя она и привыкла слушаться его во всем, по, видите ли, теперь он задумал такое, что слишком задевало ее... Она очень любит дочь и благосклонна к Зиньку... Как бы она не помешала ему.

— А, чепуха! — отвечал сам себе Остап, прохаживаясь по двору. — Прикажу, так и будет, как я захочу! Нужно еще скотину Гаинки завтра перевести к себе... Нет, не завтра, — надо немного повременить с этим... Пока суд состоится, а то поднимут скандал — и Сивашиха, да и люди... Вот черт бы его побрал, как плохо, что надо и на это обращать внимание! Поступил бы так, как захотел, а то мудрствуй, изворачивайся! Черт знает что!

Остап был сердит. В последнее время все его раздражало. Недавно он поссорился с отцом из-за своей «кумерции» да из-за этого сляутился Зинька. Не нравится старику, что Зинька совсем забыли, не хлопотать о нем и так далее... Как же там хлопотать? Если не виноват, то суд оправдает, а коли виноват, так сам знал, что делал: раз заработал, пускай и получает сполна. Кому нужен этот Зинько! Не к этому идет!.. И так забот полон рот, а тут еще старик пристает! С одной горячей землей мороки сколько! Оно конечно, хлеба в этом году уродило много, ну и подешевел он очень: рассчитывал Остап, что он столько-то возьмет, а теперь, выходит, намного меньше. А тут беда за бедой. На его мельнице прорвало плотину, — пришлось восстанавливать: в десятку не уложишься! Вчера снова самый лучший вол пропал! Такой откормленный, доморощенный!.. Да еще если бы хоть сам пропал, а то задушился. Наверное, подлый Михайло привязал его, да и недосмотрел: веревка

обвилась вокруг шеи, вот скотина и задохлась. Избил бы он Михайла и прогнал бы его, не отдав заработанных денег, да разве этим делу поможешь? Михайловых денег каких-нибудь двенадцать рублей, а вол такой, что за него и пятьдесят мало взять. Ну, проклятый дьявольский народ! Нет того, чтобы за хозяйским добром присмотреть, им лишь бы жрать да спать, это им только подавай!.. На такой торг они и пешком...

Во двор вбежал батрак с кнутом.

— Ты чего это? — спросил Остап.

— Да беда, обломались.

— Что за напасть!.. Где?

— В овражке!

— А, чертового сына сыновья, проклятый разиня! Вы мне все телеги попортите, поломаете! — рычал Остап.

Это он послал их на свою мельницу пшеницу смолоть, а они, везя домой муку, телегу поломали! Пока батрак брал новое колесо, Остап сам пошел посмотреть, что там произошло. Пришел. Чтоб их нечистая сила взяла! Мало того, что они телегу сломали, да еще, чертовы лежебоки, так завязали мешки с мукой, что, когда воз накренился набок, один мешок, осунувшись, развязался, и мера или больше чистой добротной пшеничной муки в лужу высыпалась. Ну и задал же он им! А домой вернулся рассвирепевший, не зная, что делать.

Только вошел в хату, а Ганька уже собралась уходить.

— Куда это?

— Домой.

— Не выдумывай! Оставайся, теперь ты у нас будешь жить!

Ганька удивленно посмотрела на отца.

— Ну, чего ты на меня уставилась, как телушка на новые ворота? Твой Зинько уже не вернется, не будешь же ты там вечно жить — все равно придется к нам переходить. Ну вот и оставайся!

— Я не хочу!.. Прощайте!..

Она направилась к двери, но отец остановил ее, схватив за руку.

— Как это не хочешь, если я тебе велю? Разве я не твой отец? Чего ты там будешь сидеть? Забудь ты и думать о своем дураке! Будешь жить у нас, может, и лучшего найдешь.

— Ах, отпустите меня!..

— Да ты слышишь, что я тебе говорю? Зиньку твоему уже аминь, в Сибирь сошлют — вот что!

— И я.. туда пойду, куда Зинько..

— Тю, дурная!.. Говорят тебе... не кобенясь, живи у нас.

Она вырывалась из его рук.

— Отпустите, батя, отпустите!..

— Не пущу!

— Отпустите!..— кричала она.

— Не кричи и не вырывайся!

— Остап! Да что ты делаешь? Отпусти ее,— упрашивала мать.

— Отвяжись, не приставай!..— зарычал на нее Остап.— Я знаю, что делаю... А ты не вздумай убежать, потому что я тебя оттуда за волосы притащу.

— Ай,— воскликнула безумным голосом Гаинка и стала вырываться из рук отца, который удерживал ее.

Дверь из комнаты открылась, и высокая фигура, с белыми волосами, с длинной белой бородой, остановилась на пороге. Дедушка Дорош окинул взглядом комнату. Гаинка билась в руках отца, а ее мать, не смея ничего сделать, только всхлипывала.

— Что это ты делаешь? — мрачно спросил старик у сына.

— Заставляю эту дуреху жить у нас, а она убегает.

— Дедушка! — воскликнула Гаинка.— Спасите меня! Не хочу я здесь!.. Меня разлучают с Зиньком..

— Отпусти ее! — так же мрачно велел старик Остапу.

— Не вмешивайтесь, батя, не в свое дело! Уйдите с моих глаз! Если вам дают хлеб, так ешьте молча, а не то...

Дальше Остап уже ничего не мог сказать — рука старика схватила его за горло, сжала и оттолкнула так, что он зашатался, отпустив Гаинку. Та моментально выскочила из хаты.

Дедушка Дорош стоял бледный, пламенные глаза его грозно блестели, руки, сжатые в кулаки, дрожали.

— Ирод! — крикнул он на Остапа.— Не терзай ребенка!.. Не забывай, что я твой отец! Засадил бедного человека в острог, а теперь еще хотите с женой разлучить!.. Из-за денег, из-за барышей ничего не видите! Вам бы только деньги грести! Очи мои не хотят на

тебя глядеть! Нет в твоём сердце бога, одно лишь проклятое стяжательство... Жри один, кулак, лопни, обжирайся!.. Я не буду тебе мешать, уйду от тебя, потому что у меня уже нет мочи жить с тобой!.. Уйду!.. Но только знай: если ты тронешь Гаинку или что-нибудь будешь затевать против Зинька, то клянусь, не сойти мне с этого места, что вернусь домой и выгоню тебя, как собаку. Не забывай, что я еще здесь хозяин, и если захочу, то и во двор тебя сюда не пущу!..

Старик постоял немного, словно хотел еще что-то добавить, но ничего не сказал, схватил с вешалки шапку и вышел из хаты. Пораженный этой неожиданностью, Остап остолбенел. Лукерья, прислонившись к стене, тихо плакала...

А дедушка Дорош в это время уже шел по улице. Гнев его постепенно утихал, хотя тяжелые мысли не покидали его:

«Не дал спокойно дожить век!.. За что меня господь наказал таким сыном? Неужто я такой большой грешник? Наверное, это Страшный суд приближается, что такие живодеры верх взяли. И прежде попадались злые люди, но все-таки не было таких грабителей. А теперь ради барыша даже родного ребенка не пожалеют. Видите ли, ему зять не нравится, что не тянет за него руку,— вот и решил он его с женой разлучить. Такого еще никто не слышал! Не страшатся ни бога, ни людей...»

Старик подходил уже к хате Зинька. Остановился на минутку возле двора.

— Идти или не идти? Если войду, то уж не вернусь в свой дом... А он все-таки мне родной!.. И хозяйство и все... Да так и бросить?.. Да кто его знает, как еще тут будет!.. Говорят, что зять — не сын, а если уж нынче и дети такие, то...

Старик стало жаль оставлять тот дом, где он век прожил, где со своей старухой воспитал детей, жаль стало хозяйства, которое создал своим собственным трудом... Но подумал об Остапе, о частых ссорах, да и махнул рукой.

— Что бог даст!.. Зинько и Гаинка хорошие дети... Разве старуха?.. Ну, да что бог пошлет!..

Вошел в хату, Гаинка как вбежала одетая, так и легла на кровати, а старая Параска хлопотала возле нее.

— Здравствуйте,— промолвил старик.

— Здравствуйте! — ответила Параска. — Ох, сват, что это с Гаинкой сделалось? Пришла, как упала, так и слова не может сказать!.. — жаловалась она.

— Не удивительно, что не может сказать, — ответил дедушка, — если родной отец глумится над ней!

И он рассказал обо всем, что произошло.

— Вот горе! Такое еще и свет не видал!.. — воскликнула Параска. — Как же это так: живого мужа разлучать с женой?

— Вот и такое мы слышали! Ну, ничего!.. Ты, внучка, не бойся! Пока я жив, отец тебя не тронет, не заставит уйти из этой хаты.

Он подошел к Гаинке и стал гладить ее, как маленького ребенка по спине, по лицу своими старыми, морщинистыми руками. Гаинка поднялась, склонилась к нему и громко зарыдала... Впервые заплакала она с тех пор, как ее разлучили с Зиньком.

Дедушка сел рядом с ней и не мешал ей выплакаться. Плакала долго, затем постепенно утихла и уж только всхлипывала да вся вздрагивала.

— Вот и хорошо, что выплакалась, — сказал дедушка, все еще лаская ее. — Когда выплачешься, оно легче бывает. Слезы горе смывают, оно уменьшается после них, — вот поэтому и легче становится человеку. Плачь, моя пташечка, плачь сколько хочешь!..

И она плакала, только теперь уже совсем тихо.

А дедушка в это время говорил старухе Параске:

— Вот что, сваха, я вам скажу. Спросите меня, зачем я к вам пришел?

— Да чего бы не пришли, мы всегда рады вам, — ответила Параска. — Скажите.

— Рады! Еще, может быть, надоем, что и в шею придется старика выгонять, — шутил старик.

Параска даже вскрикнула:

— Что вы, не дай боже!.. Что это вы говорите?

— То, что слышите!.. Потому что я пришел к вам неспроста, а вот зачем: примите меня к себе жить.

— Как это — жить? — спросила, не понимая, Параска.

— Да так! Видите, хозяйина у вас теперь нет, так пока придет — у вас есть свободное место... вот вы меня на это свободное место... Хоть и не хозяином, а так — работником... Вот что!.. Потому что, если сказать вам

правду, я уже жить там не могу... Или самому нужно от сына уйти, или его выгнать, потому что не могу я на все это смотреть... Ну как мне на старости лет выгонять его да поднимать скандал?.. Он никогда не раскается — таким и останется... Уж лучше убегу от беды и найду тихое пристанище... Вот поэтому, если хотите, пусть эта хата и будет мне пристанищем!.. А? Или, может быть, не туда, а вон куда?

— Да боже мой!.. Мы с дорогой душой! — обрадовалась Параска.

— А ты, Гаинка, почему молчишь, ничего не говоришь? Может быть, не хочешь дедушку в хату пустить?

Гаинка снова прижалась к старику и прошептала:

— Дедушка... оставайтесь!..

— Ну и хорошо... Спасибо вам!.. Буду жить у вас... А когда вернется Зинько, то у него попрошусь..

— Ох, дедушка! Вернется ли?..

— Наверное, он уже не вернется! — сказала мать, вытирая слезы.

— Вот и нюни распустили!.. Вот уж не люблю!.. Ну, сказать, это малое, глупое! А мы же с вами, сваха, все-таки, спасибо богу, пожили уже!.. Нет, теперь у нас в хате должен быть новый порядок: забудьте и думать о том, что Зинько не вернется! Разве вы не знаете, что бог видит неповинных? Он возвратит его! Обнаружится, кто это сделал, — шила в мешке не утаишь! Хотя и не сразу, но все же обязательно обнаружится! Да и сам Зинько хлопец расторопный, он сумеет защититься.

И старик успокаивал опечаленных женщин, вселяя в них надежду, может быть совсем крохотную, по такую желанную для измученных душ; утешение, может быть сомнительное, но дорогое каждому страдающему сердцу. И они упивались этими словами, как мучимый жаждой человек упивается родниковой водой в знойный летний день...

На другой день Дорош забрал в родной хате кое-что из вещей, попрощался с невесткой, с внуками — только с сыном не захотел прощаться, — украдкой смахнул слезу со старческих глаз, да и поселился навсегда у Сивашей. Вместе с ним пришла в этот дом и надежда — правда, небольшая, но все же она давала возможность с большей радостью смотреть на окружающий мир, чем смотрели до сих пор бедные женщины.

Слух о том, что старик Дорош ушел от сына, поселился у внучки, быстро разнесся по селу. Многие люди осуждали Остапа, только компаньоны защищали его. Побавиваясь людской молвы и немного отца, Остап больше не трогал Ганики.

«Нужно переждать, думал, а потом, после суда, уж я проявлю свою власть».

А Сиваши в это время стали жить потихоньку. Старик занимался хозяйством, наводил во всем порядок; Карпо и Васюта всегда с дорогой душой, с удовольствием слушали его, помогали... Было бы все хорошо, если бы не печаль.

Вначале, когда поселился у них старик, Ганике и матери стало хоть и не веселее, но все же спокойнее. Это спокойствие породила надежда, которую вселял в них дедушка Дорош. Обе женщины думали: «Вот уж скоро... вот, может быть, завтра, послезавтра вернется Зинько...» Ни завтра, ни послезавтра он не возвращался. «Ну так в воскресенье или в среду...» Проходило и воскресенье, и среда, а его все не было... Бедняжки ждали, выглядывали поминутно и каждый раз обманывались в своих надеждах, и вера в скорое возвращение Зиньки с каждым днем угасала... И постепенно душой матери овладевала безнадежная скорбь, и Ганика, словно капля на морозе, застывала, становилась такой же каменной, как и прежде. И снова медленно проходили длинные мрачные ночи, безнадежные дни... Так пришла хмурая осень, пришла снежная и холодная зима... Приближалось рождество...

Пришел и сочельник, которого так набожно и с такой радостью ожидал каждый в селе, потому что с этим вечером были связаны милые сердцу каждого воспоминания о чем-то святом, прекрасном, радужные надежды и тихое успокоение. И витает это тихое успокоение над всем селом, над всеми хатами, заглядывает в каждый дом, заглядывает в душу каждого своими ласковыми спокойными глазами,— такими ласковыми, как улыбка евангельского дитяти, и такими лучистыми, как вечерняя звезда, сияние которой в тот вечер с такой божественной надеждой ожидают все.

Да, всюду умиротворение — в каждой хате, в каждой душе... Только в хату Сивашей оно не заглянуло, только в ней оно не улыбнулось ни одному человеку.

Дождались и там вечерней звезды... Давно в хате было убрано и побелено, давно уже мигала перед иконами восковая свеча, освещающая потемневшие лики святых, поблескивая на белых вышитых полотенцах, которыми когда-то Ганка украшала образа... В красном углу давно уже стояла па сене кутья, а застеленный белой скатертью стол дожидался ужина,— но ужинать никто не сел.

Старая мать неизвестно уж в какой раз переставляет на полке горшки и миски, то принесет что-то в хату, то унесет,— словно она еще не все сделала и у нее много дел. И дедушка Дорош тоже находил для себя работу, он вот уже в третий раз зачем-то навевался к волам, хотя их давно уже накормили; то ступу для пшена зачем-то принялся переставлять в сенях из одного угла в другой, то свитки и кожухи не так висят на жердинке, как нужно... И Ганка какую-то очень срочную работу нашла для себя: снимает с колышка и снова вешает полотенце, расправляет, чтобы видно было вышивку... Окна уже в третий раз принялась вытирать..

Они ждали, думали о том, как бы оттянуть время, лишь бы дождаться, когда послышится знакомая быстрая походка во дворе и заскрипит дверь...

Нет, никто не открывал ее...

Старик вышел еще раз из хаты, постоял, прислушался... вернулся, не спеша снял кожух, положил на кровать. Тогда тихим, покорным голосом обратился к женщинам:

— Давно уже взошла звезда... Время ужинать...

Последняя надежда угасла.

Молча сели за стол. Белые волосы и борода старика не были белее, чем лицо Ганки; а старое, потемневшее, как старинная картина, поблекшее от гряда, болезней и скорби лицо матери казалось еще чернее рядом с этим почти прозрачным и удивительно неподвижным лицом.

Дедушка Дорош взял дрожащей рукой рюмку и сказал:

— Дай, боже, дожить до следующего года, встретить сочельник в добром здравии всем... всем — чтоб... А теперь — дай, боже, доброго здоровья тому, кто повинно страдает в неволе!.. Да будет...

Но не досказал старик — слезы сдавили ему горло.

Ганька громко зарыдала и выбежала из хаты. Мать, склонившись на стол, заголосила:

— Сыночек мой! Сыночек мой!

Рука старика с рюмкой опустилась на стол, белая голова склонилась, а обильные слезы катились со старческих глаз и падали на белую скатерть.

Но старик раньше всех овладел собой:

— Довольно, сваха, довольно! Плачем горю не пособим. Господь милосердный поможет ему, а не ваш плач. Будем ужинать, как закон велит, да его вспоминать, и ему легче будет, ибо и он нас вспоминает. Зовите, сваха, Ганьку!

Параска пошла звать Ганьку. Та стояла в сенях, прислонившись в уголке головой к стене, вздрагивая от рыданий...

— Ганька, доченька, пойдем в хату!

Она ничего не ответила. Мать взяла ее за руку и повела. Привела в хату, усадила за стол.

— Ганька, внучка любимая, не плачь! — говорил дедушка. — Поужинай, как закон велит...

— Не могу! — воскликнула Ганька, снова вскочила и побежала в другую комнату...

Долго в эту ночь бедная мать била поклоны перед потемневшими образами, и долго на кровати в другой комнате содрогалось от плача изнеможенное человеческое тело с истерзанной душой.

А темная холодная ночь молча слушала эти молитвы, эти рыдания... Равнодушная, угнетающая ночь.

Была еще одна душа — и она тяжело, безмерно мучилась в тот сочельник, — это Иван Момота.

Тело его исхудало, высохло, и ходил он, как привидение. С братом совсем не разговаривал, старался обходить его, когда встречался. Сколько раз он говорил себе: «Пойду признаюсь!...» Но не решался... Почему? И сам на это ответить не мог. Какой-то страх перед этим признанием сковывал его. Понимал, что коль скоро он перешагнет этот порог, тотчас должен будет отказаться от всех своих чаяний, потому что окончательно разрушит свою жизнь, перестанет быть свободным человеком, исчезнет со света и будет жить для того, чтобы отбывать наказание... И это останавливало его.

— Это не для меня. Так поступают люди набожные, честные, но не убийцы.

И он понял, что вся радость, какая есть в жизни, все, что есть в ней прекрасного, чистого,— *все не для него*, все это принадлежит неповишным, только неповишным. А у него на душе лежала страшная, жгучая тяжесть, и она разъедала, убивала его. Ах, как бы ему сбросить эту тяжесть!..

Чувствовал, что может избавиться от нее при одном условии: повинившись!

Теперь он уже не думал о том, что разрушит свою жизнь: он понял, что разрушил ее еще тогда, в ту ночь, когда они вдвоем с Панасом пошли к Грицьку. Ничто, даже раскаяние, не сможет возратить то, что загублено им... но жить так дальше было не в его силах...

И он решил раскаяться.

Именно в сочельник он и исчез из села. Он ушел в город.

В первый день рождества Ганка не пошла в церковь. Безмерное горе угнетало ее. Никогда оно еще не было таким тяжким. Она не могла молиться, не могла смотреть на людей, она уже все молитвы перечитала, все мольбы исчерпала, но ни одного слова у нее не было для людей.

Ее позвали обедать — не пошла. Не вышла из своей комнаты, лежала на кровати, молчаливая и неподвижная, не хотела отвечать даже дедушке и матери. Помутневшими глазами она смотрела куда-то и ничего не видела. Нет, видела.. там, где-то белые стены... из стенах портреты, картинки... иконы, полотенца... окна... шкаф... с книгами... Это было где-то далеко-далеко, словно по ту сторону большой реки, словно за какой-то стеклянной стеной... Оттуда и голоса доносились — дедушки, матери... А здесь, возле нее, никого и ничего не было — ни хаты, ни людей, ни голосов... Она была одна, такая одинокая, что даже не понимала, как можно быть не одной...

Зачем ее беспокоят, зачем разговаривают с ней? Она находится далеко от них и уже рядом с ними никогда... никогда... никогда не будет...

Она останется одна, все время одна... одна будет умирать, одна будет исчезать, пока не исчезнет, как Зинько,— был и нет! И уже никогда не будет... никогда... никогда.

И ей кажется, что ее душа уже начинает исчезать частями — тает, рассеивается, как туман, среди широких, безграничных просторов, как белое облачко на голубом небе; она распадается на кусочки... вот она тает... исчезает.... и несет ее...

А голубое небо начинает угасать, мрачнеть... постепенно угасает,— и за ним угасает и исчезает все: портреты на стенах... стены... стол... скамейки... вся хата... Ничего нет, все развеялось, исчезло, утонуло...

Только далеко-далеко кто-то плачет... Вот все сильнее и сильнее, ближе и ближе... о, как тяжело голосит, громко плачет, поет... Ах, это же на том свете плачут и голосят... Почему? Может быть, по ней, что она умерла?

Стало тихо... уже не голосят... ничего не видно, ничего не слышно, все исчезло...

И снова словно что-то зашумело и громко заголосило.

Она вскочила с кровати и стала посреди хаты. Вся задрожала. Что это?

Помогай біг, тобі, пане хазяїне!  
Святий вечір!  
Пане хазяїне, славний пахарю!  
Святий вечір!  
Застилай столи, клади пироги,  
Святий вечір!  
Будуть у тебе славні гості...  
Святий вечір!

Девушки поют колядки... Да ведь эту колядку она сама пела, колядуя вместе с Зиньком!.. Да ведь он же так пел, стоя рядом с ней. А где сейчас он? Где он?

А девушки продолжали петь о славном пахаре:

Не багато пожив, та й слави нажив:  
Білим залізом двір обгородив,  
Поставив ворота з широго злата,  
Помостив мости — все чавунні,  
Поставив стовпи — все золоті.  
Поклав же жердя все срібрянеє,  
Повішав коври все шовкові,  
А сам поїхав на горду війну...

Ах, боже ж мой, боже!.. Не на войну он уехал, не на войну!.. А ушел он в темную темницу, словно в сырую землю, в глубокую яму!..

Словно обезумевшая, бросилась через сени в другую комнату.

— Мама! — громко закричала. — Прекратите!.. Пускай не поют!..

Дверь тихо отворилась, у порога остановился человек в запорошенной снегом одежде, с небольшой черной бородой. Снимая шапку, он тихо сказал:

— Добрый вечер!

Все трое вздрогнули, услышав этот голос. Все трое — и дедушка, и мать, и Гаинка — замерли на мгновение, только на мгновение! И тут же Гаинка бросилась к нему, прижалась:

— Зинько!..

А девушки продолжали петь:

Да вертає ж він з гордої війни:  
Застукали мости все чавунні,  
Завзяли стовпи все золоті,  
Забряжчало жердя все срібняне,  
Замаяли коври все шовкові,  
Що люди кажуть: «Королевич іде!..»  
Матінка каже: «Мій синюк іде!..»

Нет, мать не говорила... Она только рыдала, прижавшись к нему так же, как и Гаинка, как и седой дедушка Дорощ...

#### IV

#### НОВЫЕ НАДЕЖДЫ

На второй день рождества в церкви было уже полно людей, когда Зинько с Гаинкой вошли туда. Постепенно протолпились они, вышли на середину и стали вдвоем.

— Посмотрите, Зинько!.. — послышался шепот.

— Где?

— Да вот он!

Люди оборачивались, смотрели, и вскоре шепот, словно шелест ветерка, пронесся по церкви.

— Зинько вернулся!.. Зинько!..

Все смотрели в ту сторону, где стояла эта счастливая пара. Зинько, хотя бледный и худой, но чисто выбритый, хорошо одетый, в добротном кожухе, стоял спокойный и серьезный. А на лице Гаинки светилась безмерная радость, безграничное счастье. Да и было от чего! Вчера — жена преступника; сегодня — жена честного, неповинно пострадавшего человека! И он, этот безгранично лю-

бимый, дорогой, стоит рядом с ней, и никогда, никогда она уже с ним не расстанется! Как же ей было не радоваться, если вся душа ее улыбалась и людям, которые окружали их, глядя на нее, и этой старенькой церкви, издавна родной ей, и этим солнечным лучам, которые узенькими полосами пробивались сквозь решетчатое окно, сверкая на позолоченном иконостасе, освещая потемневшие иконы... Ее уста не шептали молитву, она забыла перекреститься, но вся ее душа была наполнена радостно-божественным чувством безмерной благодарности...

Постепенно исчез шепот, снова стало тихо, до конца богослужения. А как только закончилось оно и люди ринулись из церкви — тут же, на крыльце, они окружили Зиньку и Ганьку. Здоровались с Зиньком, поздравляли, некоторые целовались с ним, расспрашивали, давно ли вернулся. Карпо от радости даже заплакал. Медленно продвигаясь в толпе, Зинько и Ганька вышли на улицу, а толпа людей шла следом за ними, и они должны были отвечать на все их вопросы, ибо они хотели узнать, что там было с Зиньком, как он освободился. Он и сам толком не знал: вчера от следователя пришло в тюрьму распоряжение, чтобы Зиньку освободили, потому что он не виноват, поскольку нашелся кто-то другой. Вот и все, что знал Зинько. Но людям очень хотелось разузнать: кто же другой? Стали догадываться, предполагать...

— Пропустите! Пропустите!..— вдруг услышал Зинько и увидел, что навстречу ему, расталкивая людей, без шапки, в одной чумарке бежал Васюта.

— Зинько!.. Братик!..— И бросился целовать его.

Люди стали подшучивать над ним смеясь:

— Тю! Так бежал, что шапку потерял!

— Да забыл взять ее, когда из хаты выбегал.

Васюта и в самом деле забыл ее взять. Вчера вечером никто не знал, что Зинько вернулся, а сегодня Васюта в церкви не был. Уже садился обедать, а как увидел в окно Зиньку — в чем сидел, в том и выбежал.

— Да ты пойдн оденься! — кричали ему люди.— Мороз большой!

Но Васюта и не думал уходить. Кто-то забежал к нему в хату и принес шапку и свитку.

С криком и шумом проводили Зиньку до его хаты.

Ганька радовалась, и казалось, что даже уши у нее смеялись.

Счастливым и веселым в этот день был обед в доме Сивашей. Все чувствовали себя так, словно у них крылья отросли. Ганька сияла, как звезда, расцветала, как роза. Старуха мать и не ела — все на сына глядела. А старик Дорош, улыбаясь своими молодыми глазами из-под белых кустистых бровей, говорил:

— Вот так штука! Все сели обедать, а никто не ест, только друг на друга смотрят. Что это за мода такая? И Филиппов пост, кажется, давно прошел, а вы все постничаєте.

— Ах, дедушка! — говорила Ганька и бралась за ложку, но тотчас же забывала о ней, разговаривая с Зиньком. Вчера она умирала: сегодня была полна жизни, — сияло ее разрумянившееся худое личико, а темные глаза светились, словно звездочки, с маленьких уст слетали слова за словами, звеня смехом и радостью...

Сразу же после обеда стали приходиться к ним люди. Первый прибежал Васюта, за ним Карпо и Дмитро с женами, затем Михайло; из родственников были: Лукерья — мать Ганьки, дедушка Корней Грабенко да еще трое. В комнате стало тесно, как в улье. Входя, все поздравляли Зиньку со счастливым возвращением.

Позже всех пришел Савка.

— Где ты был? — набросился на него Васюта. — Говорил, что сейчас придешь, а сам где-то зацепился за пень, да и простоял целый день ротозейничая.

— Да, стоял, — ответил Савка. — Глядел, как Панаса забирали.

— Как это забирали? Куда? Зачем?

— Приехали какие-то полицейские из города, да и забрали... Это он, вместе с Иваном, убил Грицька... Тот сам пошел в город, признался, а теперь и этого забрали...

— Вот оно что!.. Брат — брата!

Все умолкли на минуту... Потом вдруг заговорили... До чего дожили: брат брата убивает!.. И все из-за этой земли. Как дорого стала она обходиться людям! И почему до сих пор никто не догадался, что это сделал Панас? На него падали подозрения, но их пытались скрывать, отвлечь ложью о Зиньке и Ивге. Люди поверили этому, и о ссоре Панаса с братом забыли. Что дальше будет, если теперь уже такое из-за земли творится?

— Нечестивые на праведных войной идут. А что же праведным делать? — строго, мрачно произнес Карпо.

Если бы они могли знать, что делать! Зинько советовал им всей общиной брать в аренду землю у помещиков, а потом выкупить ее, — ведь и банк для этого существует. А самое главное — не допускать, чтобы общественная земля попала в чужие руки.

Старик Корней Грабенко не соглашался: как тут не допустишь, коль из рук рвут! Вот переселенческую вырвали. Поставил кому нужно магарыч — и аминь! Нужно стараться, чтобы люди водки не пили.. Ну, это уже Зинько бог знает, что выдумывает! Весь мир пьет, а мы хотим переделать его! Да инельзя без водки: напиваться не надо, а как закон велит — на свадьбе не выпить нельзя. Что? Зинько говорит, что и на свадьбе без водки можно обойтись! Ну, это уже чепуха. Это он уже хочет закон нарушить.

Демьян, тоже родственник Зинька, был не против того, чтобы бросить пить водку, но все равно это не поможет: заработки ничтожные, а всякой нужде в доме нет конца, — хоть и не будешь пить, все равно придется идти к богачам на поклон. Разве что складывать деньги, как Зинько советует, да создать такое товарищество, чтобы друг другу помогать, — это и впрямь было бы хорошо.

Однако Корней Грабенко с этим не соглашался. Правда, его не слушали, а соглашались с Зиньком, который рассказывал о товариществе, взаимопомощи. Грабенко ушел домой, а следом за ним еще двое родственников. Разошлись по домам и женщины, потому что им нужно было хозяйством заниматься. Кроме четырех человек из их товарищества, остались только Михайло, Савка и Демьян. Эти трое присоединились к ним и тут же внесли по пять рублей в общую кассу. Дедушка Дорощ сидел молча, а потом сказал:

— Слушал я вас, слушал, да и думаю: люди хотя и молодые, а поступают толково. Ей-ей, это по душе мне! Да вот не знаю: одних только молодых вы к себе принимаете или, может быть, и стариков, а?

— Да как же! Конечно и стариков! — зашумели вокруг. — Еще и рады будем, когда старики нам посоветуют.

— «Посоветуют!..» — улыбнулся старик.— Вы теперь такими мудрыми стали, что где уж нам, старикам, советовать!.. Ну а все же примите и меня в свою компанию!

— Да неужто, дедушка, и вы присоединяетесь к нам? — обрадовался Зицько.— Вот это хорошо!

Все очень обрадовались, а Васюта кричал на всю хату:

— Нас теперь восемь, восемь!

— Было бы девять, если бы бедный Грицько был жив! — произнес Дмитро.

— Да! — сказал Зицько.— Вечный покой его душе, а мы его, нашего любимого товарища, будем всегда вспоминать добрым словом.

— Будем! Будем! — отвечали товарищи.

Вспомнили здесь и о детях Грицька. Остались они без надлежащего присмотра. Ивга давно их бросила — ушла со своим сыном к родичам. Община назначила их опекуном Панаса Момота. Старшего мальчика он отдал внаймы, а двоих взяла сестра Грицька, добрая женщина. У нее самой куча детей и достатки небольшие; муж сердится, что чужих детей взяла. А сейчас, когда забрали Панаса в острог, а дети и скотина остались без опекуна, надо позаботиться о том, чтобы опекуном назначили доброго человека, да и следует помочь сиротам. Тем более что Грицько был их товарищем. Посоветовались и решили настоять перед общиной, чтобы опекуном назначили Зицька или кого-либо другого из их товарищества.

Затем стали они говорить о переселенческой земле. Решили написать новую жалобу, самому губернатору, и добиться того, чтобы как можно больше крестьян подписалось под ней,— может быть, это поможет.

— Теперь,— сказал Савка,— многие поддержат нас, поскольку все уже увидели, к чему стремится компания Дениса. Теперь многие поддержат...

Зицько тотчас написал жалобу, затем прочитал ее, и каждый добавлял, что считал нужным.

Под конец речь зашла о водке, все собравшиеся порешили, что никто из них не только пить, но даже держать в своем доме ее не будет.

Друзья разошлись поздно вечером. Дольше всех задержались Васюта и Карпо.

— Что ж, Карпо, пойдем домой,— сказал Васюта.— ты, наверное, спать хочешь: весь вечер сидел молча, надувшись, как филлин.

Карпо действительно все время сидел молчаливый и мрачный.

— Я спать не хочу,— ответил,— а грустно мне, что все так происходит...

— Вот те раз! — воскликнул Васюта.— Тут радоваться надо, а он грустит. И Зинько вернулся, и в нашем товариществе людей больше стало.

— Это хорошо, но вот беда: слабы мы и ничего с ними поделаться не можем.

— А я думаю так,— сказал Зинько,— если мы отвоюем у них переселенческую землю, тогда к нам многие присоединятся.

— Пока солнце взойдет, роса очи выест,— так же мрачно возразил Карпо.

— Ну, а что же, по-твоему, надо делать? — спросил Васюта.

— Подорвать их силы. У них вся сила в богатстве: надо пустить по ветру это богатство,— уменьшится их сила, тогда и нас не будут притеснять.

— Ты гляди, что придумал! А как же ты его пустишь по ветру? — спросил Васюта.

Карпо немного помолчал. Они остались только втроем, потому что и старик Дорош ушел спать.

— Смотрите же, браточки: что я сейчас буду говорить, чтобы осталось между нами,— произнес он после паузы.

— Да что это ты, Карпо, мудрствуешь сегодня? — засмеялся Зинько.— Мы уже и так договорились, чтобы то, о чем мы говорили, никто не знал.

— Говорю так потому, что только вам двоим и верю, а больше никто из нашего товарищества не должен знать об этом.

— Ну хорошо, хорошо, говори уже.

— Думал я, браточки, долго, много думал и надумал: не остается нам иного пути, как только поджечь их всех, чтобы вместе с дымом и богатство их развеялось.

— Карпо, что это ты? Опомнись!...— воскликнул Зинько.

Карпо, не отвечая, сел у стола, опершись головой на свою огромную мозолистую руку. Потупив глаза, молча

сидел; две глубокие морщины четко вырисовывались на его склоненном лбу. Наконец он заговорил каким-то резким, недружелюбным голосом, еще больше, чем обычно, растягивая слова:

— Почему это я должен опомниться? Ведь я верно говорю: не мне нужно опомниться, а вам,— пришло уж то время... И не упустите его,— потому что, если упустите, горе всем будет!.. Нет иного способа одолеть этих людей... Надобно их судить божьим судом, ибо людской суд в их руках. Разве вы ослепли, ничего не видите? Грицько защищал свое — они убили его; Зинько боролся за правду — они посадили его в тюрьму.

— Посадили, да не удержали! Вышел же? — ответил Зинько.

— Благодарение богу, что Иван признался, а если бы он молчал, может быть, и в Сибирь на каторгу пришлось бы идти. От них милосердия не жди. Пускай же их осудит божий суд, огонь осудит, ибо таких не грешно и со света сжить.

— Ого! — воскликнул Васюта.— Погляди, как наш набожный Карпо разгневался! Должно быть, он об этом в своих божественных книгах вычитал.

Карпо поднял голову, посмотрел на Васюту, и в самом деле гневный блеск сверкнул в его глазах.

— А ты, Васюта, если ничего не смыслишь, лучше не смейся. Ты в божественных книгах не разбираешься, а я тебе скажу, что, если бы прочитал тебе кое-что из них, сам еси увидел бы, что правду говорю, так как бог велит.

— Разве поджигать или убивать бог велит? — спросил Зинько.

— Нет, пускай он скажет, в каких это божественных книгах написано, чтобы так делать? — допытывался Васюта.

— Скажу! — ответил Карпо, снова опуская глаза.— Написано: «Рече господь Саваоф до Саула: пыне отомщу народу Амалика за все то, что сотворил он Израилю. И велел бог пойти и поразить Амалика и не пощадить его, убить всех. И мужчин, и женщин, и молодежь, даже младенцев; и уничтожить все их добро: и волов их, и овец, и верблюдов, и ослов, и виноградники... — все! Не послушался царь Саул: убил всех, а царя амалитского помиловал и не уничтожил самое лучшее их добро. Тогда пришел Самуил и рассек мечом этого царя, а бог за

этот грех отвернулся от царя Саула...» Вот видите, что велит бог убивать нечестивых и уничтожать их добро.

— А разве тебе, Карпо,— лукаво спросил Васюта,— бог сказал, чтобы ты их поджег или убил?

Зинько улыбнулся, но Карпо сидел нахмурившись.

— Нет,— произнес Зинько,— так нельзя. Христос уже после истории с Амаликом велел нам любить друг друга, а не убивать или поджигать. Злом добра не добьешься. Да что бы из этого получилось? Ведь их богатство не только в одной хате: у них есть земля, есть деньги в банках,— сгорит хата, они новую построят и снова начнут хозяйничать; а если не они, то их дети или другие... А ты только свою душу погубишь, еще и в Сибирь пойдешь,— что же тут хорошего?

— Ну а что же делать! — спросил Карпо.

— Вот то, что мы делаем. Будем бороться за свои права.

— Хорошо! Пускай будет пока так. Увидим, что из этого получится.

Карпо встал, попрощался и ушел, а следом за ним и Васюта.

Зинько видел, что Карпо не отказался от своих мыслей, а только затаил их, поскольку товарищи не поддерживают его. Зиньку не нравились эти мысли и несколько тревожили его. Вначале он удивлялся, как это такой хороший человек, как Карпо, мог до этого додуматься. Он был честным, очень справедливым человеком, он никого никогда даже на маковое зернышко не обманул, всегда поступал справедливо, как понимал, и того от людей требовал,— а сейчас вон что придумал! Но уж слишком возмутило Карпа человеческая несправедливость! Нет, надо заставить его отказаться от таких мыслей, ибо они могут привести к беде. А он избавится от них, когда люди отвоюют для общины переселенческую землю. Тогда и Карпо увидит, каким путем можно добиться своего.

И Зинько изо всех сил старался привлечь как можно больше людей, чтобы подписались под жалобой. Савка и впрямь не ошибся, что теперь люди, на собственной шкуре испытав беду, охотнее поддержат их. Не прошло и недели, как жалоба уже была у губернатора. В этот раз их товариществу повезло. Губернатор давно был зол на этого начальника и сразу же поручил расследо-

вать жалобу, поступившую от крестьян села Дыблево. Вскоре в их волость пришел приказ: прекратить дело о передаче земли и отобрать ее у Дениса.

Эта неожиданность так поразила Дениса и его компанию, словно гром среди ясного неба. Они не ожидали такого оборота дела, будучи уверены в том, что победили. Денис важничал и бахвалился, что «дал по роже свинье», — то есть Зиньку и его товарищам, а теперь вот какой конфуз получился! Стыдно даже в глаза людям взглянуть! Так было неловко, что Денис не пошел даже на сельский сход, созванный вскоре после этого события. Случилось так, что именно в этот день на сходке не было и троих его друзей: Копаницу неожиданно начальник вызвал в город, Рябченко лежал больной, а у Тонконоженка брат выдавал замуж дочь, и Терешко, хватив лишнего на свадьбе, спал теперь беспробудным сном. Поэтому сторонники Зиньки оказались сильнее на сходке, а когда Васюта завел речь о детях Грицька, то община легко согласилась и назначила опекуном над ними Зинька.

— Ну что, Карпо? — сказал Васюта, идя со сходки. — Вот видишь, не всё они нас, но и мы можем заставить их поджать хвост. Они потерпели неудачу с продажей земли, а теперь мы им поднесли такого тертого хрену, что у них долго в носу будет зудеть. Вот увидишь, мы и впредь им спуска не дадим, не позволим глумиться над нами.

— Не хвались, Васюта, — ответил спокойно Карпо, — человеку трудно предугадать, что будет...

— То есть — скажешь гоп, когда перепрыгнешь! Да уж как-нибудь перепрыгнем. А если порой и столкнут нас в овраг, то мы и оттуда выкарабкаемся. Да и сейчас мы не можем сказать «садись на дно», теперь-то наша взяла! Ах, как мне хочется поглумиться над этими проклятыми живодерами!

И Васюта все-таки не утерпел. Хотя над старыми кулаками ему не удалось поиздеваться, но, выйдя в тот вечер на гулянье, снова пристал к Миките Тонконоженку. Для этого вскоре и повод нашелся. В последнее время парни стали играть в карты; не только взрослые парни, но и подростки такими картежниками заделались, что, как только где соберутся, тотчас и начинают играть, конечно, на деньги. Микита в этом деле был заправилкой.

А однажды случилось так, что в один вечер он проиграл тридцать рублей. Двадцать отдал, а десять не хватило. У отца не посмел попросить, подобрал ключ к его сундуку, где хранились деньги. Как раз в это время вышел отец и застал его на месте преступления. Хотя отец и потворствовал сыну, однако за это сильно избил его. Васюта сразу же воспользовался этим случаем. Увидев на улице среди парней и девушек Микиту, крикнул:

— Эй, хлопцы и дивчата! Идите-ка сюда! Хочу вам сказку рассказать.

— Какую сказку, разве теперь сочельник, что ли?

— Ничего, что не сочельник, а вы послушайте.

Уселся он на бревне, уперся руками в колени и, глядя в землю, стал сочинять,— он был мастер на такие при сказки.

— Жил однажды человек Трондита, да была у него серая мужицкая свитка. Вот он и говорит: «Черт его знает что за одежда — нельзя есть хлеб лежа!..»

— Ха-ха-ха! — захохотали некоторые, поняв, в чей огород Васютка камешки бросает. Догадался, очевидно, и Микита, но вида не подавал. Стал напротив Васюты, подбоченился одной рукой, а второй держал папиросу, пуская дым и за каждым разом сплевывая сквозь зубы.

— «Так нельзя, говорит, есть хлеб лежа... хоть рваный пиджак, да с барского плеча. Потому что я сам барином стал, когда среди господ побывал; не будь я мужицкий сын, если не чистил господский навоз три года и один!»

— Ха-ха-ха! — снова раздался хохот. А Васюта, словно не замечая, что он кому-то досаждал, солидно продолжал:

— «Где бы мне хламиду такую достать, чтобы серую мужицкую свитку не надевать? То ли отца с матерью продать, то ли в их сундуках замки сорвать да в картишки отыграть?»

Все парни и девушки посмотрели в ту сторону, где стоял Микита, по его уже там не было: поняв, к чему клонится, он украдкой отошел и убежал.

— Микиты нет, Микита сбежал! — зашумели.

— Сбежал? Кто сбежал? — спросил Васюта, подымая голову.

— Микита сбежал от твоей сказки!

— От моей сказки? Да разве это о Миките? Это же

про Трондита! А вы и не поняли? Чтоб вам пусто было, какие же у вас куриные мозги! Уж если вы не умеете как следует понимать, то я не хочу дальше продолжать!..

И не продолжил, а когда возвращался домой один, услышал, как возле его уха пролетел камень: кто-то бросил в него из-за тына, да плохо прицелился. А потом донесся топот — кто-то убежал. Васюта сразу догадался, кто это так ласково встречает его и, остановившись, крикнул вслед:

— Ну и дурак же ты! Разве так целятся? Вернись-ка, я тебя научу — и зубов не соберешь, чтоб я сдох! Не соберешь, как рассыпанных бус!..

Однако Микита не вернулся.

Зинько тотчас же занялся опекунскими делами детей Грицька. Он пошел к сестре Грицька. Та была рада избавиться от племянников, потому что у нее и своих детей куча; да и сиротам у нее было не совсем хорошо, ибо у нее не хватало времени ухаживать за ними. Она посоветовала Зиньку привлечь их дальнюю родственницу. Зинько знал эту женщину, которую звали Килиной. Дети и муж у нее умерли, а братья — ее и мужа — отобрали у вдовы землю, хату и всю скотину. Бедная женщина служила по найму: то была она нянькой у господ, то просто работницей. Сейчас кончился срок ее службы. Зинько договорился с ней, что она будет жить в хате Грицька, смотреть за детьми, приучать их к труду, ухаживать за огородом и садом, и за это — до совершеннолетия детей — останется в их доме полной хозяйкой, да еще, кроме питания, получит небольшую плату. Зинько знал, что Килина была трудолюбивой, степенной и честной женщиной, ласково относилась к детям, и поэтому с чистой совестью отдал ей на воспитание сирот. Сама же Килина была очень рада, что какое-то время поживет самостоятельной хозяйкой, а не батрачкой, и старалась все делать так, чтобы хорошо было. Зинько вместе с Ганькой часто наведывались в дом Грицька. Старшего мальчика Зинько оставил у хозяйна, чтобы он отслужил свой срок, а потом взял его к себе, стал приучать к хозяйству и к книгам. Землю Грицька, до совершеннолетия мальчика, Зинько сдал в аренду и за счет этих денег одевал детей и оплачивал Килину.

Хотя Рябченко вместе со своими приспешниками и кричал, что Зинько плохой опекун, что только вред при-

чинит детям, но сейчас он вынужден был умолкнуть, потому что всем крестьянам было видно, что Зинько хорошо выполняет опекунские обязанности. Больше того: когда крестьяне увидели, что Зинько опекает так, как подобает, они стали с уважением относиться к нему, даже те, кто прежде поносил его и насмехался над ним, теперь порой хвалили его. Не сетовали на него и за то, что он не советовал водку пить, хотя сами, конечно, пили.

Дома у Зинька дела шли хорошо. Дедушка Дорощ так и остался жить у них. Со стариком отношения были хорошие, только с тестем натянутые: с тех пор как Зинько возвратился из тюрьмы, тот ни разу не заглянул к ним в дом. Зинько тоже очень обиделся, узнав о намерении Остапа разлучить его с Гаинкой. Вначале он был так возмущен, что решил навсегда порвать с ним. Но теща принялась уговаривать зятя помириться с тестем, и Зинько, рассудив, что он все же отец Гаинки, решил не ссориться с ним, хотя и не хотел ходить к нему, думая, что Остап в конце концов поймет, как велика его вина перед дочерью и зятем, и сам загладит эту вину. Однако Остап и не думал считать себя виновным перед детьми. Но поскольку он все-таки чувствовал себя неловко при встречах с Зиньком, то и старался избегать его. Если порой и встретятся на улице, притронутся к шапкам и скажут: «Здравствуйте!» — «Здравствуй!» и тут же поскорее разойдутся в разные стороны.

Прошло уже два месяца с тех пор, как Зинько возвратился из тюрьмы домой. Вскоре вступило в силу и решение об отмене продажи переселенческой земли. Постановление сельского схода отменили, землю у Дениса отобрали. И Копаница и Денис поехали в город, чтобы как-то спасти дело, но ничего из этого не получилось. Одним лишь обрадовали их: сказали, что отменяется только решение этого сельского схода, но если община снова продаст землю Денису и решение будет составлено так, как полагается, то тогда его не отменят.

Друзья Дениса, узнав об этом, тотчас собрались на совещание у Рябченка.

А крестьяне, получив возможность ездить через переселенческую землю, опять стали арендовать землю у помещика Добровольского, и теперь уже им не нужно было делать круг в тридцать верст и объезжать болото,

как прежде, когда земля находилась в руках Дениса. Таким образом, все планы компании Рябченка рушились, и сельская община ускользнула из их рук. Это уже было ясно: Зинька слушают больше, нежели их. Да говорят: «И на вас управу можно найти! Мы, говорят, этих старшину, старосту и писаря снимем, других поставим: Зинька и Карпа». А срок полномочий старшины и старосты закапчивался в этом году осенью. Если и впрямь тем удастся поставить во главе сельской общины своих людей, тогда все их дела пойдут прахом. Тогда что захотят, то и сделают с ними эти горлохваты. Конечно, не так-то легко свергнуть хотя бы Копаницу — он пользовался большой поддержкой здесь и в городе, но все-таки, как говорят, береженого и бог бережет...

С какой стороны ни посмотришь, а выходит, что нужно во что бы то ни стало эту землю удержать в своих руках. Но как? Сельский сход можно собрать хоть завтра, но что из этого? Нечего и думать, чтобы мужики теперь согласились на продажу земли. Особенно после того, когда к Зиньку присоединились еще некоторые крестьяне, рассчитавшись со своими долгами. Теперь и этих не так легко прижать, а дальше еще хуже будет.

И какая нечистая сила освободила этого Зинька из острога! Не велика беда, если бы его вместо Панаса сослали. В селе было бы тихо. И что придумал: чтобы люди водки не пили, чтобы магарычей не ставили! Разве можно согласиться с этим? Разве с трезвым что-нибудь сделаешь? Вот когда напонишь его, тогда хоть за шею бери, да и в ярмо. А то без магарычей!..

— Истинно, рассобачатся мужики из-за таких мерзавцев, как Зинько! — говорил Сучок. — «Я, болтает, подать уплатил, то, что полагается, отработал, никого не трогаю, водки не пью — что вы со мной сделаете?» И верно: что ты с ним, с подлецом, тогда сделаешь? Одно слово: «разврат»!

— Именно, именно, правда! — поддакивал Копаница. — Никакого тебе над ним следствия нет. Ты его в холодную, а он тебе кричит: «Какое ты имеешь право?» Значит, покажи ему, где твоя законная основания! Ах, сто чертей! Да если бы у меня полная законная основания, так я бы тебя, дьявольского выродка, на съедение свиньям выбросил бы, а не то что в холодную, хамлецкая ты морда!

— Вишь, законники пошли,— произнес Тонконоженко,— да праведники такие, что беда!

— А как на мое рассуждение,— сказал Сучок,— так проучить их, подлецов! Чтоб присмирели!

— Да как же их проучить? — спросил Копаница.

— Очень просто!.. Разве не знаете как? Позвать его в волость: «Зачем ето у тебя курица дохлая напротив двора на улице валяется?» — «Нет, не валяется». — «Как ты, мерзавец, смеешь мне говорить, когда я сам видел? Начальство запрещает, санитар приказывает, а ты что? Чтобы начальство нюхало? Да еще и поклеп на начальство возводишь!.. Мерзавец ты!.. Подлец!.. Негодяй!..» Ну, после такого наставления он уже не вытерпит, чтобы не сказать какое-нибудь грубое слово,— тогда ему дать по зубам, призвать десятских, да и всыпать горячих не жалея.

— Невозможно! — покачал головой Копаница.— Одно, что не грубят: ты хоть его и ругай, а он тебе ответит: «Господин старшина, вы не ругайтесь, потому что я на вас жалобу произнесу»; а к тому же, хотя и сделаешь что-нибудь, так он тогда такую катавасию с перцем поднимет, что будет хуже, чем с землей Дениса Филипповича. Нет, это не пойдет!

— А мне кажется,— отозвался Рябченко,— что Михаил Григорьевич все-таки верно говорит: их обязательно проучить следует. Если не всех, то хотя бы одного Зинька. Только осторожно надо это сделать.

— Ну а как же?

— Втихомолку, чтобы никто не видел, да и он не знал, кто его проучил. Чтобы знал, за что, да не знал — кто. Так ему и сказать: «Вот это тебе за то-то и за то», — а кто говорит, черту известно. Тогда и жаловаться ему не на кого, и бояться будет. Бить его нужно не до смерти — нет, а так хорошенько отлупить, чтобы немного полежал, да потом очухался.

— А как вы думаете? Оно и верно! — доказывал Тонконоженко.— Пока мы их не проучим, до тех пор никакого толку не будет. А когда одного да второго проучим — тогда они побоятся и смирененько будут сидеть.

— И не весьма важная штука,— рассказывал Рябченко.— Это можно так хитро проделать, что мое поштение!.. Только, чтобы Григорий Павлович разрешил, ибо без господина старшины тут никак не обойтись.

— Кто его знает,— ответил Копаница.— Коль хотите, непорядок это и даже буйство... Ну, ради такого дела,— засмеялся он,— можно и небольшое буйство сочинить.

— И чудесно! — воскликнул довольный Рябченко.— Через неделю, через две дело это и обтяпаем. Зинька уложим, а сами тем временем и сельскую общину вокруг пальца обведем.

— Ну, только знаешь, Яхрем Семенович, ты не очень-то! А то, чтоб так не случилось, как с Панасом.

— Тоже сказал! Разве я такой дурак, как Панас? Аккуратно все и сделаем, что ну! И проучим, и живой останется...

Друзья повеселели. Чарка быстрее переходила из рук в руки,— казалось, что водка слаще стала. Долго они еще выпивали и закусывали...

Прошло около недели.

Однажды Рябченко пришел в воскресенье в церковь, выстоял заутреню, а потом не захотел идти домой и снова приходить к обедне (потому что и впрямь ему далеко было), остался подождать в сторожке,— там обычно ожидали люди, пока зазвонят к обедне. Но в этот раз людей было мало: трое мужиков да Микита Тонконоженко. Сидели и разговаривали, а потом случилось так, что крестьяне ушли, а остались Рябченко и Микита.

«Вот и хорошо,— подумал Рябченко,— хотел было сам к нему пойти, да лучше здесь поговорить: пусть люди не знают, что я с ним заодно».

И он обратился к Миките.

— А что, Микита, не удалось тебе Гаинку взять? Зинько все-таки вернулся.

— Да чтоб он лопнул! — сердито крикнул Микита.

— Ну уж и женушка была бы у тебя хорошая! Одним словом — как куколка!

Микита только плюнул от злости.

— И все этот Зинько на пути у тебя становится,— продолжал Рябченко.— Вот и Ивгу тогда у тебя отбил.

— Подлец, одним словом! — выругался Микита.

— Все Васюту настраивает, чтобы тот издевался над тобой на улице.

— Негодяй! — Микита даже побелел от злости, вспомнив прибаутки о Трандите.

— Настоящий негодяй! И такой зловерный, что

всякому напакостит. Нынче такое задумал, что если выиграет дело, то нам всем хоть с сумой по селу иди.

— Да ну! — удивленно спросил Микита. — Неужто такое плохое дело?

— А ты как думал? Если у Дениса отберут землю, а мужики начнут арендовать у Добровольского, тогда, брат, и наша земля, что мы арендуем у Горянского, им не нужна будет. Мы тогда в трубу вылетим, потому что нечем будет даже Горянскому заплатить. А в контракте тысяча рублей неустойки — вот что! Опишут тогда, брат, нас всех, да и тебя с отцом.

— Вот так штука! — испуганно произнес Микита. — Выходит, из-за этого подлеца и нам всем пропадать?

— А что же ты сделаешь? Если бы его черт унес куда-нибудь хотя бы на месяц или два, так мы бы уже обтяпали дело и удержали бы переселенческую землю, а так — нет выхода: что ни начнем, что ни сделаем — он и подпортит, он и подпортит! Хотя бы заболел, что ли... Все бы как-нибудь справились... Эх, Микита, как погляжу я на нынешних парней, ничего они не стоят, да и только! Вот когда я был молодым, да разве я допустил бы, чтобы надо мной насмеялся какой-нибудь Зинько, как он над тобой? И Гайнку и Ивгу... Эх!..

— Ну а что бы вы сделали? — спросил, покраснев, Микита.

— Ха, не знал бы что! Собрал бы хороших трех-четырёх парней, да и проучил бы его хорошенько — вот что.

— А вы думаете, что я этого не могу? Вот возьму да и сделаю!

— Пока что ты только хвастаешься!..

— Как это я хвастаюсь? Вот возьму и могуминтально сделаю. Месяц будет лежать и не встанет — так угощу его!..

— Да неизвестно еще... Конечно, это было бы хорошо, да и не только тебе одному: пока Зинько встал бы на ноги, мы весь сельский сход повернули бы так, как нам нужно... А то опишут нас...

— Будь я первый подлец, если не сделаю!.. — воскликнул Микита.

— Да ты не кричи, это, брат, втихую нужно делать, — прервал его Рябченко и стал шепотом поучать, как и что нужно сделать, чтобы все обошлось шито-крыто.

В церкви ударил колокол.

— О, уже к обедне звонят! — сказал Рябченко, и они с Микитой перекрестились. — Надо идти... только ты, Микита, гляди! Понимаешь? Ни я тебе ничего не говорю, ни ты мне.

— Понимаю! Все будет в плипорцию и отжарим так, что мое вам поштенне, еще и сделайте одоление...

— Не забудь: по голове а-ни-ни-ни!.. Никак нельзя!..

— Пусть голова ему остается, а мы пониже хватим!

— Пойдем же в церковь!..

## V

### НАПАДЕНИЕ

Наступила весна.

Снег лежал только в оврагах и в тени, — сошел быстро, стекая журчащими ручейками. Среди оставшейся прошлогодней травы кое-где выглядывали голубые глазки подснежников, но земля еще лежала черной, дожидаясь, когда ясное солнышко согреет ее своими горячими лучами и оденет в пышный зеленый, цветистый мягкий наряд. Она лежала еще полусонной, вздыхая теплой грудью, и этот вздох поднимался вверх в виде легкого белесого пара. Он поднимался вверх, превращаясь в облако, закрывавшее небо и отделявшее солнце от земли. Так и молодая жена, думая о разлуке со своим мужем, горько плачет, и слезы ослепляют ее, и не видит она, что тот, кого так нетерпеливо ждет, уже возвратился, стоит рядом с ней — еще мгновение и одним сильным движением прижмет ее к своей груди, окружит ее сиянием своего солнечного взгляда, и они сольются в одном прекрасном, как мечта, поцелуе. Земля так соскучилась по солнцу, что забыла о том, что вскоре утонет в его золотистых лучах и эти туманные слезы развеются, растают от одного его яркого, лучистого взгляда.

А пока что темные тучи — теплые весенние тучи — плыли по небу. Землю окутала ночь. Нет луны; спали и звезды, спрятавшись за тучи. Тихое спокойствие царило всюду, такое могучее и радостное спокойствие, которое окружает землю перед новым весенним днем, полным солнечного сияния, блестящих красок, движения могучего труда...

Зинько, еще днем уйдя в село Черноус, возвращался домой поздно ночью. С улицы он направился через огород Карпа вниз, чтобы быстрее добраться домой, потому что задержался. Он шел по лугу, по обычной тропинке, мимо огородов. Вот уже близко и переулок, ведущий на холм. Подошел он к колодцу, окруженному вербами. Там было еще темнее.

Что-то зашуршало, и тотчас перед Зиньком появилась чья-то высокая черная фигура.

— Кто это? — остановившись, спросил он.

Огромная фигура взмахнула руками, и Зинько почувствовал, как что-то твердое больно ударило его в грудь, он даже пошатнулся. И в тот же момент его ударили в спину. Зинько бросился вперед и успел схватиться за дубинку, которой здоровый мужчина снова замахнулся на него. Вырвав дубинку, он отскочил в сторону.

— Не подходи! — закричал он, подняв дубинку.

— Какой страшный! — насмешливо произнес кто-то, как показалось Зиньку — знакомым голосом. — Вот это тебе за жалобу губернатору!

И трое с дубинками набросились на него. Зинько зацепил кого-то из них, но они снова одновременно набросились на него, выбили из его рук дубинку и стали бить по груди, по бокам, словно они цепями молотили сноп.

— Спасите! — крикнул Зинько и упал на землю, потеряв сознание.

Ганника в тот вечер долго ждала возвращения Зинька из Черноуса.

— Мама, почему это его до сих пор нет? — спрашивала она.

— Да, наверное, дочка, остался там ночевать: видит, что ночь темная, идти плохо — ну и остался.

— Нет, он говорил, что сегодня вернется.

Но мать и дедушка были уверены, что Зинько заночевал в Черноусе, и спокойно спали всю ночь. Ганника не могла уснуть; лежала и все время прислушивалась, не идет ли Зинько. Несколько раз ей слышались шаги, она вскакивала, подбегала к окну и всматривалась в темный двор — никого не было. Однажды ей послышалось даже, что как будто он ходит по двору, что-то делает. Она выбежала, тихонько окликнула, но никто

не отзывался. Возвратилась и лежала, прислушиваясь, не раздадутся ли знакомые шаги. Никогда такого еще не было, чтобы Зинько сказал «вернусь» — и не вернулся. Только однажды это было, когда его взяли в тюрьму. А теперь?..

Немой страх глядел на нее огромными, как мрак, глазами, сжимая ее в своих холодных объятиях.

Уже рассветало, когда ее, уставшую, одолел минутный сон.

Вдруг кто-то сильно застучал в окно, даже стекла зазвенели. Гаинка вскочила с кровати и остановилась посреди комнаты, не понимая, что случилось.

«Зинько!» — вдруг подумала и бросилась в сени открывать дверь.

Открыла — перед ней стояла соседка Стручиха.

— Несчастье! — воскликнула она.

— Какое? — спросила, онемев, Гаинка.

— Зинька твоего нашли на лугу... избитого...

Гаинка зашаталась и упала бы, если бы не ухватилась за дверной косяк.

Она увидела позади Стручихи, как во двор вошли трое людей, неся... кого-то... Струк и Васюта держали за плечи и за голову, а наймит Струка за ноги.

Гаинка видела, как они вошли во двор и потихоньку, ссторожно шли; она смотрела, не сводя с них глаз, окаменев, не в силах пошевелиться.

Они подошли ближе. Тело немного прогибалось; бесильно качаясь, свисала одна рука; голова с мертвенно бледным лицом откинута назад и лежала немного боком на Васютиной руке; у полуоткрытого рта, на лице и на белом воротнике сорочки застыла струйка крови.

Они подошли к хате. Стручиха отошла в сторону, а Гаинка стояла неподвижно и смотрела на них.

— Гаинка, дай дорогу, — промолвил Васюта.

— Ай! — крикнула она и, схватившись за сердце, тут же упала.

Стручиха бросилась в сени, схватила под руки Гаинку, оттащила ее от двери. Мужчины внесли Зиньку в хату.

Вскоре Васюта верхом поскакал в Черноус за врачом...

Зинько лежал в кровати. Он уже пришел в сознание, но был настолько истерзан, что не в силах был

говорить и лежал, закрыв глаза. Кровь на его лице смыли, но окровавленную сорочку не решились снять: она пристала к телу; сняли только чумарку. Ганнка сидела возле кровати в ногах у мужа и смотрела на него неподвижным взглядом. Ей казалось, что он уже умирает.

В соседней комнате мать, упав на колени перед иконами, молилась. Она умоляла не отнимать у нее последнюю надежду в жизни...

А во дворе Струк рассказывал дедушке, как он обнаружил Зинька на улице, как призвал на помощь ба трака и Васюту, шедших в это время по селу.

Только после обеда приехал врач. И то Васюте пришлось его долго уговаривать: все не хотел ехать, говорил, чтобы Зинька к нему привезли.

Войдя к больному, тотчас удалил обенх женщин, «чтобы не хныкали», оставил только дедушку и Васюту и стал осмагривать больного. Нужно было снять сорочку. Дедушка вместе с Васютой осторожно подняли Зинька, а врач начал снимать сорочку. Она вместе с кровью прилипла к телу. Врач стал отдирать ее. Зинько слегка застонал.

— Терпи! Не маленький! — буркнул врач.

Но когда он снял сорочку, то увидел, что было чего стонать: спица, грудь, плечи — в страшных кровоподтеках, опухшие, тело было избито так, что на нем образовались кровоточащие раны.

— Хорошо получил! — покачал головой врач. — Пьяный, наверное, с кем-нибудь подрался?

Больной молчал.

— Кто тебя избил? Слышишь?

— Не знаю... — простонал больной.

Врач еще раз осмотрел, приложил ухо к груди...

— Гм... внутри тоже сильно повредили... Нужно тебе ехать в Черноус, в больницу... Не буду же я к тебе ежедневно ездить!

— Не хочу... Я буду дома... — прошептал Зинько.

— «Не хочу, я буду дома!» — передразнил его врач. — Все вы боитесь больницы, как черта, а почему? Съедят тебя там, что ли? Да разве вам в эту глупую башку вдолбишь!.. Как знаешь!.. Это жена твоя здесь сидела? Позовите ее!

Васюта позвал. Вошла Ганнка.

— Ну, слушай!.. Да не кисни, терпеть не могу слез!— с раздражением произнес врач, хотя у онемевшей Ганники и слезинки не было на глазах.— Вот тебе лекарство...— И он стал рассказывать.

Ганника мало что разобрала из того, что он говорил по-русски, только последние слова хорошо поняла: чтобы ухаживала за ним, а то умрет.

Когда врач уходил, дедушка Дорош и Васюта остановили его в сенях.

— Скажите, господин,— спросил дедушка,— будет ли он жить? Только правду!

— Если выздоровеет, то будет,— ответил врач.

— Господин! — сказал Васюта,— что хотите возьмите, только вылечите его! — И слезы брызнули из глаз.

— Не реви!.. Что ты ему — брат или родственник какой-нибудь?

— Товарищ...

— Так почему ты плачешь? Я не бог!.. Напьются, подерутся, а ты их воскрешай!.. Дал же лекарство... Когда выйдет, снова приедешь.

Врач вышел из сеней и уселся в бричку.

— Трогай!

Зазвенел колокольчик.

Дедушка махнул рукой.

— Черт знает что! Ничем этот врач не поможет.

— Почему же не поможет? — спросил Васюта.

— Ну, да что смыслят эти врачи? Ничегошеньки! Вот только одно и умеют: как только попадетсЯ к ним в руки человек, сразу ему руку или ногу оттяпают, а то и совсем растребушат, беднягу... Разве я не знаю, зачем он хотел взять Зинька в больницу? Хотел посмотреть, как ему внутренности отбили. Дал бы чего-нибудь, чтобы тот помер, а тогда бы и стали потрошить. Резники, да и только!..

— Да погодите, дедушка, может быть, этот еще и не такой!

— Все они одинаковые!..

А Ганника в это время сидела возле больного. Он лежал неподвижно, с закрытыми глазами, хрипел, не откликался. Только иногда шепотом просил пить, и Ганника дрожащей рукой подавала ему воду. Поднимала ему голову, он на минутку прикасался своими сухими губами к кружке и снова лежал, как мертвый.

Приходили Карпо и Дмитро. Он ни слова не промолвил: да и они не беспокоили его...

. Наступила ночь. Ганька все время сидела возле кровати и смотрела на Зинька. При тусклом свете маленькой лампы его лицо казалось еще бледнее, совсем как у мертвеца. И таким мертвым теперь казался для Ганьки весь мир. Он жил, и она ощущала его только тогда, когда он разговаривал с ней.

Когда же он лежал вот так неподвижно, тогда и Ганьку сковывала какая-то неподвижность. Казалось, все тело отяжелело, застыло, не пошевелится. И вместе с телом застыла, онемела душа и откликается она только на движение Зинька, на его голос.

А в голове вертелась лишь одна мысль — слова врача: «Ухаживай, а то умрет».

Страшной была тюрьма, в которой сидел Зинько, но это было еще страшнее. Если бы Зинько даже сослали в Сибирь, он был бы жив; она последовала бы за ним, и они жили бы тогда вместе. Тюрьма возвратила бы ей Зинька. Смерть — не вернет.

«Ухаживай, а то умрет!» Она ухаживала. Следила за каждым его движением, прислушивалась к каждому его вздоху... Он еще дышит, шевелит губами, живет... Живет и она...

Так прошла ночь, прошел второй день. Вечером мать и дедушка хотели уложить ее спать. Она молча покачала головой и осталась сидеть у кровати.

Сидела всю ночь, не замечая ничего вокруг, только смотрела на Зинька, только прислушивалась к его тяжелому дыханию, вырывавшемуся из его полуоткрытого рта.

А он спал, и чем дальше, тем ровнее и спокойнее дышал.

К утру его дыхание сделалось таким ровным и тихим, что Ганьке показалось, будто он уже перестал дышать... Наклонившись над ним, долго прислушивалась...

Рассвело. Зинько пошевелился, раскрыл глаза и впервые громко позвал:

— Ганька!..

Он поднял руку, обнял ее за шею, наклонил к себе и сказал:

— Моя любимая...

Ганька вдруг громко зарыдала и выбежала.

Мать и дедушка Дорош испугались и бросились к Зиньку, думая, что он уже умер.

А Гайнка выбежала в соседнюю комнату, упала на колени перед иконами и зарыдала так, что чуть грудь не разорвалась. Но она почувствовала, что вместе с этим рыданием к ней возвращались силы, оживала душа, словно земля, скованная морозом, от солнечного тепла.

Он позвал ее!.. Он будет жить!.. Это она чувствовала — и оживала сама...

Дедушка нашел Гайнку и привел ее снова к Зиньку...

Гайнка намеревалась просидеть возле него всю ночь, но и сама не заметила, как уснула, склонившись на скамью, — уже четвертую ночь она не спала.

Мать и дедушка ухаживали за больным...

На следующий день ему стало легче, но только немного. Прошла неделя — Зинько все еще лежал. Тяжкие мысли нанизывались в его больной голове. За что? Что он плохого сделал людям? Он только отстаивал правду, а они опозорили его, бросили в тюрьму, теперь чуть было не убили, лишили здоровья. Есть ли правда на свете? Если уж сейчас они поступают так, то впредь может быть еще хуже: и совсем его убьют. Он будет бороться, к чему-то стремиться, а смерть сразу все уничтожит... Но добьются ли они чего-нибудь? Если у тех такая сила и ничего они не боятся... Эх, не лучше ли прекратить борьбу с ними, оставить все это и, если он останется в живых, жить себе тихонько, никого не затрагивая, чтобы и его оставили в покое?

Вот и с хозяйством — как быть? Тогда больше трех месяцев пропало, — в тюрьме сидел, а в доме от этого достатков не прибавилось, а уменьшилось. А сейчас? Неизвестно, сколько ему еще придется лежать. А ведь уже весна зеленая пришла, надо сеять и пахать. Кто же всем этим будет заниматься? Придется им в этом году без хлеба остаться!..

Как было хорошо, когда еще ничего этого не было. Зинько вспомнил тот день, когда он в прошлом году шел по полю на пасеку и смотрел на высокую пышную рожь, которая волнами переливалась перед ним. И Зинько ощутил аромат полевых цветов, на него будто повеяло теплым ветром и с непреодолимой силой потянуло в поле... Он поднялся, хотел встать, но острая боль пронизала его грудь, — упал на спину, на подушку...

— Земля моя родимая, ты же не вспаханная, не сеянная лежишь! Да кто тебя, моя звездочка, кто же тебя засеет рожью и пшеницей? Лежит твой работник, как бревно, не в силах рукой шевельнуть, не в силах стать ногой на тебя, моя родная земля!.. Сиротой ты останешься без присмотра, а мы — без хлеба святого.

И обильные слезы скатывались по его лицу...

Нужно ему об этом подумать — землю обрабатывать надо. Он просил дедушку, чтобы тот нанял работника и они вдвоем хотя кое-как обработали бы землю. Старик сказал: «Хорошо! Хорошо!» — а работника Зинько до сих пор не видел, — вот уже три дня прошло, а его все нет.

К вечеру Зинько почувствовал себя лучше, он уже мог сидеть на кровати, опираясь спиной на подушку. На столе мигала лампа, а возле нее, с шитьем в руках, сидела Гаинка. Зинько хорошо видел ее склонившееся над работой лицо, побледневшее от забот и бессонных ночей.

— Как ты осунулась, Гаиночка! — произнес Зинько.

— Молчи уж! Сам хорош! — шутила она, всматриваясь в изможденное лицо Зинька, которое казалось еще страшнее в темном углу. — Сам хорош: желтый, как воск, а худой, как щепка, да и глаза провалились, а под ними словно кто-то темной краской подмазал.

— Может быть, ты? — пошутил Зинько. — Ты ведь недавно подмазывала.

— Вот еще, будто мне делать нечего!.. Надо бы тебе к пасхе сорочку пошить, чтобы ты не был таким сердитым, как ветер, которому если мать даст грубую сорочку, то он распустит свои губы да от злости начнет так дуть, что даже деревья стонут... Погоди, вон кто-то идет!

В сенях и впрямь послышались шаги. Дверь открылась, и в комнату вошли Карпо и Васюта, а следом за ними дедушка Дорош.

— Здравствуй, брат! Еще не спишь? О, да ты уже сидишь. Наши в гору пошли, как говорит тот цыган!.. — пошутил Васюта.

— Сижу... Садитесь и вы!..

— Спасибо. Так тебе легче стало, Зинько? — спросил Карпо.

— Легче...

— Дай боже, чтобы ты быстрее выздоровел! Тогда можно будет сразу подать в суд на тех, кто тебя избил.

Зинько махнул рукой:

— Стоит ли думать об этом!.. Хотя бы выздороветь!.. Да и на кого я буду жаловаться? Разве я знаю, кто это сделал? Я же никого из них не узнал.

— Урядник обязан найти!.. А если он не найдет, надо будет в город жалобу написать. Нельзя потворствовать этим безбожным лиходеям. Не послушались вы тогда меня, а я верно говорил — их надо беспощадно карать, если бы даже и пришлось кому-нибудь из них поплатиться жизнью, — это они заработали своими грешными делами.

— Довольно, Карпо, оставим этот разговор! — упрямился Зинько. Ему тяжело было говорить.

— И впрямь, не стоит говорить, Карпо! — сказал Васюта. — Давай лучше поговорим о том, зачем пришли. Ведь мы к тебе по делу.

— Говорите.

— Давай-ка нам зерно!

— Какое зерно? Зачем?

— Как зачем? А еще хозяин! Чтобы сеять — для чего же еще?

— А где же вы будете сеять?

— На твоей ниве. Мы вчера и сегодня пахали.

— Как это?

— Разве ты не знаешь, как пахут? Взялись руками за рукоятки плуга — да и гей-цобэ, серый!.. Карпо и Дмитро, да с Савкой и Михайло-помогаило, да вот этот Васюта, что говорит «тута», да вот этот дедушка Дорош, с которым мы держали совет, взялись пахать, да и вспахали, а ты, господин хозяин, теперь не ленись, позаботься о деле да где что сеять распорядись!

Зинько молча склонил голову, и слезы показались у него на глазах.

— Уже и раскис! А ну-ка веселей посмотри, хорошенько расскажи нам, что делать!

— Братья мои родные, спасибо вам за большую доброту! Пока жив буду — не забуду этого!.. И вам, и дедушке.

— Вот, посмотрите вы на него! — засмеялся Васюта. — Я ему про Фому, а он про Ерему! Ты ему о деле, о зерне, а он — о доброте! Да нам не нужно никакой доброты, нам твое зерно надобно!

— Вы, братья, словно вторично меня на свет

родили!..— говорил Зинько.— Мне сейчас с такими искренними друзьями легче и на солнце смотреть.

— А как же ты еще думал? — заговорил Карпо.— Ведь одно у нас товарищество, единым духом дышим, да разве можем оставить товарища в беде? Не надо б было тогда и товарищества создавать, если бы не помогали друг другу, заботясь только о себе.

— Верно, Зинько, хлопцы говорят! — откликнулся дедушка Дорош.— Вот так нужно по-человечески поступать, а не то что без всякого сожаления друг с друга три шкуры драть! И на старости веселее жить становится, видя таких людей, как вот эти хлопцы!

— Хлопцы да хлопцы! — воскликнул Васюта.— Что это за напасть такая, что все на хлопцев покрикиваете? Будто бы я все это делал даром, что ли? Ну нет! Вот пусть только поднимется, а меня к тому времени избьют,— потому что кто-то уже второй раз камнем в меня целился,— тогда уж он будет работать у меня, заставляю покряхтеть! Вот увидите!.. Я его запрягу!..

Все засмеялись, а Васюта важно сидел и пощипывал свои белесые усики.

— Хорошие вы мои! — говорил Зинько, глядя на них блестящими от слез глазами.— Пускай вам так бог поможет, как вы мне помогли! Если бы вы знали!.. Вы мне, кажется, даже душу оживили!.. Вот клянусь: пока жив буду, никогда с вами не расстанусь!.. Будем делать свое дело, как бог велит,— пусть даже и убьют нас! Мы не отступим... Дай бог!

— Никогда в жизни не отступим! — произнес Карпо, сильным, спокойным голосом.

Все сразу умолкли, только их глаза блестели, выражая общие их мысли. А Ганька почувствовала, как ее бросило в дрожь,— и ей сделалось так не по себе и страшно, как в церкви перед исповедью. Несколько минут стояла тишина, пока не заговорил дедушка Дорош:

— Даст бог, все будет хорошо! Может быть, ничего страшного и не будет, не все же терпеть обиды! Дай боже, чтобы дальше легче и веселее нам жилось!

— Вот святые слова! — воскликнул Васюта.— Дай, боже, жить веселей!

И после этого всем как-то стало веселее, и они еще долго беседовали.

Зинько долго не мог уснуть в эту ночь. Мысли роились у него в голове. Ругал себя: разве не согрешил он, думая отказаться от всего, оставить их дело! А ведь друзья не оставили его! Он прежде всего подумал о себе, а не о борьбе за правду. И праведных людей забыл — они шли на всякие мучения, они переносили невероятные пытки, их сжигали на кострах...

Его только избивали, а они умирали, но от своих убеждений не отказывались. Знали, что хотя они и умрут, но после их смерти другие продолжат их дело, поведут по правильному пути... Разве может восторжествовать правда, если каждый будет отказываться бороться за нее! И как это он странно собирался жить, никого не беспокоя, чтобы и его не трогали! Разве несправедливость существует только потому, что с ней борются? Она сама затрагивает человека, насаждает на него, старается лишить его сил. Как бы ты ни прятался, как бы ни уходил от нее — она все равно найдет тебя! Нет, так жить нельзя. Нужно бороться с несправедливостью, а потом — что бог даст!..

## VI

### ЛЕКАРСТВА

Зинько, казалось, выздоравливал, но очень медленно. Кашлял и жаловался, что болит грудь. Он потихоньку ходил по комнате, держась за стену или за печь; выходил на завалинку, садился и грелся на солнышке... Посидев немного, говорил, что ему стало тяжело, и снова ложился в постель. С трудом, постепенно возвращалось здоровье. Васюта ездил однажды в Черноус, привез еще лекарств, но они что-то совсем не помогали. Врач же больше не приезжал.

Дедушке Дорошу доктор очень не понравился. И не потому, что был неприветлив; ведь, по мнению старика, все господа одинаковы и никогда по-человечески, спокойно и ласково, слова не скажут, а все с криком да с грубостью, — потому и не удивительно, что и врач такой. А больше всего дедушке не нравилось то, что сколько он ни лечит Зиньку, а выздоравливает тот плохо. Разве так можно! Если так выздоравливать, то без лекарств скорее на ноги станешь. По мнению старика, все врачи такие. Никакой пользы от них нет, хотя бы их и совсем

не было. Ничего не смыслят, только людей калечат. Старик вспомнил, как однажды, в молодости, его избили... Лечил его тогда Герасим Савчук — вот это был знахарь! Сразу к ранам подорожник приложил, и дал выпить какое-то зелье... А через неделю был здоров, — вот как! А то лечит, лечит, вот уже третью неделю, а никакого облегчения нет. Это так Зинько и к осени не поправится.

Эх! Если бы Герасим Савчук был жив! Дед Дорош тотчас пошел бы к нему, попросил бы у него этого зелья, дал бы Зиньку, и давно бы уже человек ходил и работал. Да беда — умер Герасим! А теперь таких знахарей что-то не слышно. Кто бы теперь мог помочь? Панасенко? Э, нет! Бабка Мокрина? Где там ей!.. Далеко куцому до зайца! Да и Радько... Нет, таких нет!..

Разве... Вот разве глушковский Семенюк? Говорят, хорошо разбирается в зелье... Да старик и сам был у него однажды, — пособил... Может быть, у него и это зелье есть, что лечит избитых? Разве пойти к нему да спросить? Даст или не даст, а сходить можно.

Старик все думал о глушковском Семенюке. Слушал, как кашляет Зинько, смотрел, как тот с трудом переступает по комнате и видел, что неминуемо, если не к Семенюку, то еще к какому-нибудь знающему знахарю надо пойти.

Пришло воскресенье. Дедушка сказал, что пойдет к родственнику, а сам махнул в Глушковку и возвратился оттуда поздно вечером. На другой день вызвал Ганьку из комнаты, где лежал Зинько, и показал ей бутылку.

— Видишь, внучка, это?

— А что же это?

— Чтобы твой Зинько здоров был.

— Как это?

— Благодарю дедушку! В молодости и меня когда-то били, но я не хворал столько, как Зинько. Потому что меня лечил не испуганный лекарь, а известный по всю округу знахарь Герасим Савчук.

И старик подробно рассказал Ганьке о Герасиме Савчуке.

— Как дал он мне зелья, выпил я раз, второй и еще третий — встряхнулся, да и пошел.

— Может, вас, дедушка, не так сильно избили?

— Знаешь ты, не сильно!.. Может быть, еще сильнее,

чем Зинька!.. А если бы меня такой паршивый лекарь лечил, как его, то меня уже давно бы не было. Я вот глядел, глядел на него, да и думаю себе: раздобуду-ка я и для него такого зелья. Вот и раздобыл!

— Где же вы его раздобыли?

— Где раздобыл, да раздобыл. У Семенюка. Не такой знающий, как Герасим, а все-таки опытный человек. Только сказал ему, что мне нужно,— и сразу: «Знаю, говорит, знаю! Этим я многим людям пособлял». Я ему тогда о Герасиме: «Если бы, говорю, такого зелья, как у Герасима». — «Так это же оно и есть! — говорит. Я, говорит, у Герасима и научился». Так вот и налил бутылочку.

— Зинько не будет этого пить, дедушка.

— Разве я твоего Зинька не знаю. Такой мудрый, что знахарям и не верит. Знаю, что не будет пить. А мы сделаем так, что все-таки выпьет.

— А как вы сделаете?

— А вот так: когда Васюта принесет новое лекарство от врача, ты его не давай ему, а этого в рюмочку влей да скажи, что от врача, тогда он и выпьет.

— Ох, боюсь, дедушка!.. Чтобы не навредить!

— Какой там вред! Никакого! Семенюк говорил: сразу начнет поправляться. Вот сама увидишь! Когда поправится Зинько, тогда и расскажем ему, он еще благодарить нас будет.

И старик все убеждал Гаинку, но она не решалась. Если бы она была больной, то, не раздумывая, выпила бы все! А Зинько... Он всегда ей говорил, что лекарства знахарей — это чепуха; как же их ему давать?

Но потом другая мысль пришла ей в голову. Хорошо, если он и без этого поправится, а если нет? Лекарства, прописанные доктором, не очень помогают... Не только одному Зиньку, но и тем, кто лечится у врачей... Зинько говорил, будто бы это потому, что врачи не заботятся о людях, поэтому и делают так, лишь бы поскорее, а если бы они захотели, то могли бы очень хорошо помогать. Ну а если не хотят? Все равно не помогут. А уж если знахарь, тот пособит, и особенно эти лекарства: дедушка по себе хорошо знает, что они помогают. И мать об этом говорит. Конечно, Зинько не захотел бы их принимать... Ну а если ему не станет

легче и он умрет, тогда как? Не будет ли она виновна в том, что не дала ему зелья, которое вылечило бы его?

И она со страхом и тревогой присматривалась к Зиньку: как ему, легче ли становится? поправляется ли он? А он все хирел, все слабел. Проходил день, другой, третий — облегчения не было.

Четвертый день был очень солнечный, веселый. И Зинько, казалось, стал бодрее: сам, не держась даже, прошелся по комнате и вышел на улицу. Он сел на зава-линке, и рядом с ним Гаинка.

Солнце радостно улыбалось им с неба своей золотой улыбкой. Белые облака плыли по голубому морю, купаясь в солнечных лучах. Кое-где деревья, еще не про-снувшиеся после зимы, чернели своими голыми ветвями, но верба уже распустилась и тянулась к солнцу своими бледно-зелеными листьями. На бугорках и холмах густая трава поднимала вверх свои стебельки. На хате и на тынах весело чирикали воробьи, словно хотели ска-зать, что они знают, когда наступит весна. Со двора Сиваша, стоявшего на холме, было видно почти все село. На огородах сутились и копошились женщины, по улице ехали крестьяне с боронами и мешками зерна на возах. Зинько смотрел на все это, и на душе у него ста-новилось все печальнее и печальнее.

— Боже! Все оживает, все трудятся, только я, словно камень, лежу и пошевелинуться не в силах! — с горечью произнес он.

— Не горюй, Зиня,— успокаивала его Гаинка.— Вот скоро, скоро и ты будешь делать все — и дома и в поле... вот увидишь!..

Она ободряла его, а у самой сжималось сердце: а верно ли она говорит?

— Уже деревья распускаются,— говорил Зинько, глядя на свой сад,— а я этой весной ни одного деревца не посажу!

— Осенью или следующей весной посадишь, не го-рюй! Такой сад, Зиня, посадим, что как дубрава будет!.. А ты в нем как сокол порхать будешь.

— Да, буду летать! — с горечью произнес Зинько, глядя, как, блестя крыльями в лучах солнца, полетели вдаль легкие и вольные птицы. И он подумал: «Ах, как бы хотелось вот так легко и свободно жить!.. Распра-вить свои крылья, взяться за дело!»

Он повернулся — и у него сильно заболела грудь.

Им овладела безмерная печаль, скорбь по утраченной силе...

— Гаинка! Помоги мне войти в дом... Я не хочу тут сидеть.

Она помогла ему подняться, войти в дом, подойти к кровати. Он лег и закрыл глаза. Темные круги под глазами выделялись еще резче; лицо сделалось такое бледное, словно в нем и кровинки не было. Вначале он дышал тяжело, потом успокоился, дыхание становилось все ровнее... едва заметное... И Гаинке показалось, что она уже совсем не слышит Зинька, что на его бледном лице выступила смерть... и Зинько совсем как мертвец. Бросилась к нему, схватила за руку.

— Зинько?

Он вздрогнул, открыл глаза.

— Что с тобой, дорогая?

— Ничего, ничего... это я так... Я тебя разбудила... Спи, милый!

— Нет, я не буду спать...

И он опять закрыл глаза, лежал как мертвец.

«Нет, не поможет ему лекарство врача,— подумала Гаинка.— Нужно послушать дедушку, потому что... страшно, страшно и подумать!...»

И она решила.

В этот день вечером Васюта привез из Черноуса лекарство. Однако Гаинька вместо него поставила в комнате Зинька бутылочку, которую ей дал дедушка...

Однако она долго не решалась. Радовалась, что Зинько уснул с вечера и ему не нужно было давать лекарства. Но когда он проснулся и попросил лекарство, она должна была дать.

Когда она наливала зелье, у нее так дрожали руки, что бутылка стучала по большой рюмке. Налила и очень долго закрывала бутылку, даже Зинько спросил:

— Что ты там делаешь? Почему не даешь лекарства?

Тогда поднесла ему рюмку, он поднялся, взял и сразу выпил. А ее сковал холодный страх, и она не замечала, что он возвращает ей пустую рюмку. Наконец она взяла ее. Он снова лег, закрыл глаза и утих. Лежал спокойно.

У нее прошел страх, она стала успокаиваться. Однако спать не ложилась и не гасила лампу, а сидела на скамейке возле него. Он, кажется, спит.

Вдруг он открыл глаза, поднялся, схватившись рукой за горло:

— Ой!.. Дышать!.. Душит!..

Гаинка бросилась к нему:

— Зиня! Где душит! Что!

— В горле... В груди жжет... Дай воды!..

Она подала ему кружку с водой. Он выпил немножко и упал на подушку. Она стояла над ним и смотрела на него широко открытыми глазами. Он лежал спокойно некоторое время, а затем снова схватился за грудь.

— Воды!..

И тотчас его так свело, что он чуть было не упал с кровати... Гаинка подхватила его.

— Дедушка!.. Мама!.. Спасите!..— крикнула она не своим голосом.

Она закричала так страшно, что дедушка и мать сразу проснулись и вбежали в комнату.

— Что случилось?

— Зинько...

Они посмотрели — Зинько лежал у нее на руках, и на бледных его губах выступила кровь.

— Зинько! Сынок! Что с тобой? — спрашивала испуганная мать.

— Воды!..

Ему подали воды,— он с жадностью выпил. Затем, обессиленный, упал на подушки.

Но недолго он пролежал спокойно. Опять судороги свели его тело, и он забился на руках у матери, на губах снова появилась кровь. Дедушка бросился к нему с водой. Он припал губами к кружке и немного успокоился.

— Ой, боже, что же я наделала!..— безумно воскликнула Гаинка и упала на колени перед кроватью.— Ой, что же я, проклятая, наделала, я же тебя, Зинюк, отравила!..

Он открыл глаза, удивленно посмотрел на нее.

— Что ты сказала? — чуть слышно спросил он.

— Это же я тебе не лекарство дала, а зелье знахаря!

— Ты... зелье?.. Я же говорил...— простонал больной.

— Я думала, что оно пособит, я не знала, что такое горе... Я же...

— Дедушка! — произнес Зинько, — или сами... или бегите к Васюте, — пусть едет за врачом... сейчас...

Перепугавшийся старик, не говоря ни слова, выбежал из хады. Зинько лежал, закрыв глаза, и тяжело дышал. Гаинка стояла на коленях возле кровати, прижав руки к груди, и неподвижным взглядом смотрела на Зиньку. Он долго молчал. Наконец сказал:

— Мама... пусть... она уйдет... вы одни останьтесь со мной...

Гаинка поднялась и вышла из комнаты.

Она вышла в сени, направилась в кладовую и усе-лась в самом дальнем уголке. Она опустилась на пол и сидела так, в темноте, схватившись руками за голову, прислонившись к стене.

Она чувствовала, что умирает. Умирает, потому что Зинько умирал и прогнал ее от себя.

И поделом ей!

Враги убивали — не убили, а она убила, она своей предательской рукой ускорила его смерть.

Она понимала, что нет меры наказания за такое преступление.

Убийце, разбойнику есть наказание, а ей нет, потому что никто не совершил такого преступления, как она. Знала, что для нее теперь нет ничего на свете, остался только один мрак.

И она умирала во мраке ночи.

Она не могла пошевелинуться, не могла крикнуть, у нее не было сил, ее тело уже не жило, живая душа так сильно болела... Неутолимо, непомерно!..

Эта ночь, эта темень — угнетала ее душу, душила, уничтожала. А душа ее все чувствовала, все болела.

А там умирает Зинько. Она не смеет туда пойти.

Боже, боже! Зачем мне нужна эта неумирающая душа? Лучше бы она умерла! Только бы не чувствовать этих мучений, не переносить этих пыток!..

Хотя бы она кричать могла!.. Но у нее не было сил...

Старик вернулся от Васюты с плохими вестями. Именно в тот день, когда Васюта был в Черноусе, врач выехал на станцию к поезду: уехал на три дня в губернию, в город!

Помощи ожидать неоткуда. Зинько молча выслушал его.

А старик, стоя возле него, говорил:

— Зинько! Сынок! Прости меня!.. Это я загубил тебя!.. Это я добыл зелье у знахаря и велел Ганнке..

Говорил, всхлипывая и дрожа.

Всю ночь мать со стариком сидели возле больного. Время от времени тело его содрогалось, жгла жажда, и он пил, силясь утолить ее.

Перед рассветом сказал:

— У меня ноги отяжелели..

Мать прикоснулась к ногам,— они были холодные. Он понял это по ее взгляду.

— Может быть, холодные? Это уже смерть наступает.

— Сыночек мой! Не говори так! — простонала несчастная.

— А что же, мама, если это правда. Сегодня я умру.

В комнате наступила тишина.

Тусклый свет освещал бледное лицо больного и две убитые горем фигуры у его постели: мать сидела, старик Остап стоял, склонив голову.

Вдруг он опустился на колени и стал бить поклоны перед больным.

— Сынок, Зинько, прости меня!..

— Бог простит, дедушка... я на вас не гневаюсь... Только никому не говорите об этом, никому!.. И Ганнке прикажите, чтобы не говорила...

Старик, всхлипывая, поднялся на ноги.

— Сынок,— произнесла мать,— я приглашу священника,— может быть, бог пошлет облегчение тебе.

Больной помолчал немного, а затем тихо сказал:

— Хорошо... А вы, дедушка, пойдите позовите сюда всех моих товарищей, всех... А ко мне пришлите Ганнку...

Мать и дедушка вышли из комнаты, а спустя некоторое время туда вошла Ганнка. Она тихо остановилась у порога.

— Ганнка!.. Иди!.. Садись вот здесь... возле меня..

Она покорно подошла и села на кровати.

— Женушка моя, поцелуй меня! — попросил больной.

Она вскочила с кровати, повалилась на колени, обняла его ноги и молча стала их целовать.

— Встань, Гаинка!..

Она не поднималась, а только шептала, целуя его ноги:

— Ноженьки-мон... След бы ваш целовала, если бы вы ходили!.. Не ходите!.. Убила!.. Отравила!..

— Сядь здесь возле меня!.. Поцелуй меня в губы!.. Наклонилась к нему, целовала губы, глаза, руки.

— Нет, не ты, женушка моя верная, отравила меня... Ты хотела, чтобы я выздоровел, моя добрая... Любил я тебя на этом свете и на том буду любить... Как я тебя оставлю?.. Такая маленькая... Такая робкая... Да люди заклюют тебя. Как я покину тебя!..

Он плакал.

Он взял ее руки в свои, прижал их к груди и утих, изнеможенный. Она сидела, не смея пошевеливаться.

Отдохнув, он снова сказал:

— Живи с мамой, с дедушкой, не ходи к отцу: там тебя погубят... Никому не говори о зелье знахаря. Слышишь? Я тебе велю. И дедушке и маме велел... И сама забудь об этом... Не думай!.. Я все равно должен был умереть,— долго не протянул бы... Ничего, если немного раньше... Только жаль покидать тебя... Еще жаль: не сделал... Ох!..

Снова умолк.

У нее душа кричала от нестерпимой боли, но она не могла даже слова вымолвить.

В сенях послышались шаги. Это пришел священник... Отслужил...

Уже совсем рассвело, когда у кровати Зинька собрались все его товарищи.

— Поднимите меня!..— сказал больной.

Подняли, положили за спину подушки. Он сел.

— Уже грудь немсет... Пришло время умирать... Когда сидел в тюрьме, я дал клятву никогда не отречься от этого дела — всегда бороться за правду... Не суждено мне выполнить свою клятву... Коротким оказался мой век... Может быть, бог пошлет вам долгую жизнь... Пусть моя клятва будет вашей!..

— Клянемся!.. Клянемся, брат наш, наш верный товарищ!..

— Спасибо!.. Боритесь за правду!.. Тяжело жить без света!.. Где он!.. Где он!..— спрашивал больной, теряя сознание.— Если бы кто указал!..

Он умолк на мгновение, пришел в себя.

— У меня остаются старая мать, жена молодая — пусть они живут с дедушкой в этой хате... а вы, друзья, позаботьтесь о них!..

— Позаботимся!.. Не беспокойся!..

— Вас за это бог отблагодарит!.. Мама!.. Спасибо этим рученькам, которые носили, кормили меня!.. Тем ноженькам, которые ходили за мной!.. Прощайте, мама!..

Мать склонилась над ним, рыдая.

— Гаинка! Жена моя верная, дорогая моя, любимая, рай мой прекрасный!.. Прощай!

Она молча прильнула к нему, не в силах вымолвить слово.

Затем он попросился с дедушкой, с товарищами,— и каждому сказал слово на прощанье.

А они спрашивали:

— Говори, брат: может быть, еще что велишь?

— Ничего не веляю... только не забудьте моего завещания!..

— Не забудем!..

Зинько окинул взглядом комнату.

— Откройте окно!..

Открыли.

— Хотя бы солнышко вошло... как темно!..

Но солнце еще не всходило...

— Гаинка!..

Она бросилась к нему; он прижал ее голову к своей груди...

— Еще не вошло солнышко?

— Скоро взойдет,— ответил Карпо.

Он умолк на минутку, затем пошевелил устами:

— Проща...

Тихо вздохнул, не закончив слова, и голова его склонилась на грудь...

Рука сползла с шеи Гаинки...

## СОДЕРЖАНИЕ

*Максим Рыльский. Две повести Бориса Гринченка . . . 5*

### *В ТЕМНУЮ НОЧЬ.*

<i>Часть первая. Чужие люди . . . . .</i>	<i>11</i>
I . . . . .	13
II . . . . .	21
III . . . . .	33
IV . . . . .	49
<i>Часть вторая. В кругу своих друзей . . . . .</i>	<i>61</i>
I . . . . .	63
II . . . . .	74
III . . . . .	82
IV . . . . .	95
V . . . . .	107
<i>Часть третья. Левантина . . . . .</i>	<i>121</i>
I . . . . .	123
II . . . . .	129
III . . . . .	141
IV . . . . .	148
V . . . . .	160
VI . . . . .	165
<i>Эпилог . . . . .</i>	<i>174</i>

### *ПОД ТИХИМИ ВЕРБАМИ*

<i>Часть первая . . . . .</i>	<i>181</i>
I. Черная туча . . . . .	183
II. Зинько . . . . .	194
III. На пасеке . . . . .	202
IV. На улице . . . . .	216
V. Друзья Зинька . . . . .	223
VI. Сельский сход . . . . .	234
<i>Часть вторая . . . . .</i>	<i>247</i>
I. Ганька . . . . .	249

II. Испытание и труд . . . . .	259
III. Козни врагов . . . . .	272
IV. Изменник и изменница . . . . .	279
V. Братья . . . . .	290
VI. Кто виноват? . . . . .	298
VII. Теперь их власть . . . . .	310
<i>Часть третья . . . . .</i>	<i>319</i>
I. Печальный дом . . . . .	321
II. В тюрьме . . . . .	336
III. Мрачные дни . . . . .	349
IV. Новые надежды . . . . .	361
V. Нападение . . . . .	377
VI. Лекарства . . . . .	387

**БОРИС ГРИНЧЕНКО**

*В темную ночь. Под тихими вербами.*

\*

Редактор *Н. Шевелев*

Художественный редактор *Г. Кудрявцев*

Технический редактор *М. Позднякова*

Корректор *А. Стукова*

\*

Сдано в набор 4/V 1961 г.

Подписано к печати 22/VII 1961 г.

Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>—12,5 печ. л.—20,5 усл. печ. л.  
20,44 уч.-изд. л. Тир. 100.000. Зак. 865. Цена 66 коп.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

\*

Книжная фабрика им. Фрунзе  
Главполиграфиздата Министерства  
культуры УССР,  
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.